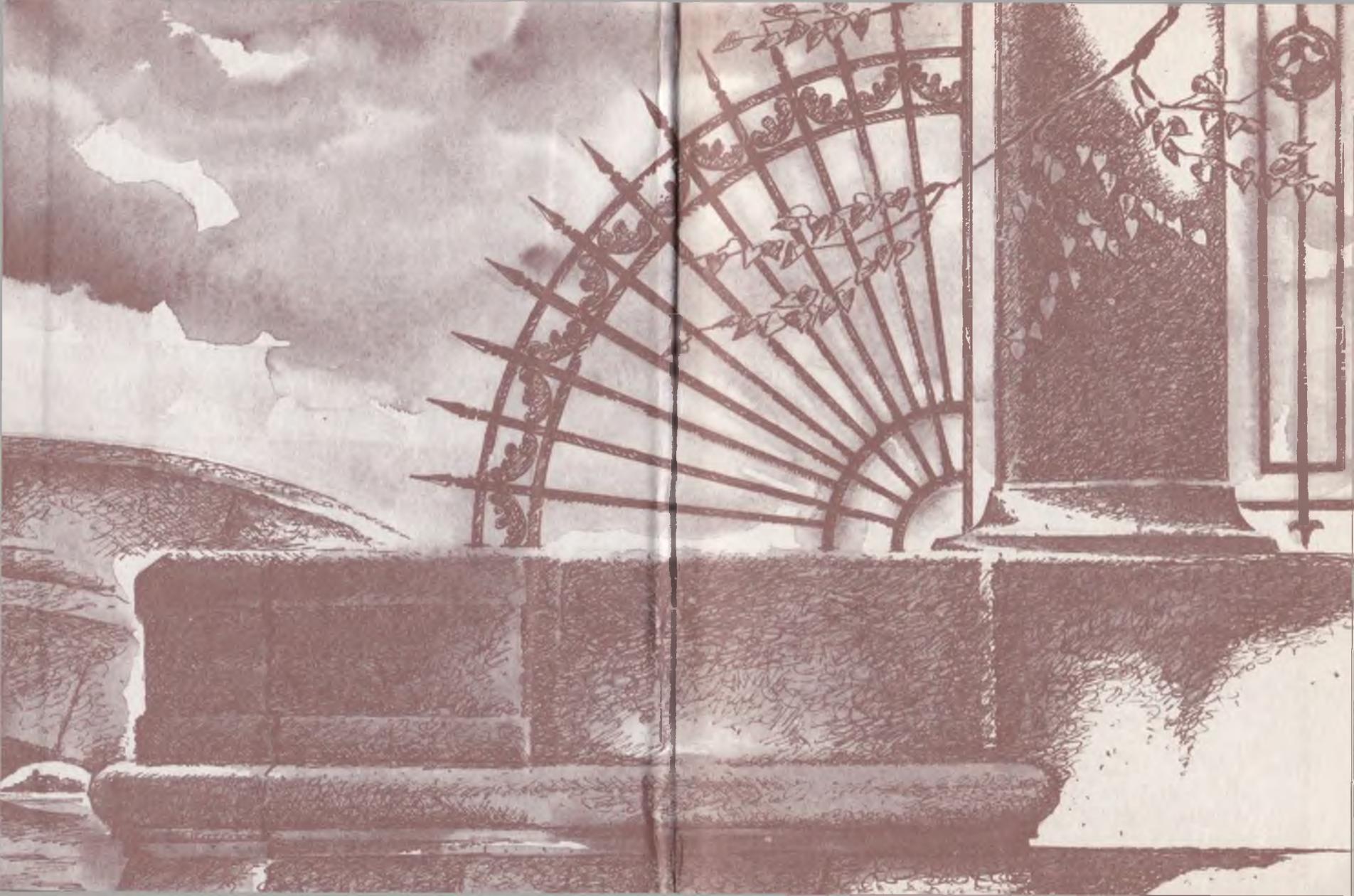




ИГОРЬ ТАРАСЕВИЧ

ПРИМИРЕНИЯ НЕТ



Scan Kreyder - 14.10.2018 - STERLITAMAK



ПЛАМЕННЫЕ РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ

ДМИТРИЙ ПИСАРЕВ



ИГОРЬ ТАРАСЕВИЧ
ПРИМИРЕНИЯ НЕТ

Повесть
о Дмитрие Писареве

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1990

Игорь Тарасевич — автор двух книг повестей и рассказов, четырех сборников стихов, пяти книг переводов, многочисленных статей и рецензий. Начав печататься в 70-е годы, будучи студентом Московского института инженеров транспорта, а затем — офицером Железнодорожных войск, корреспондентом газеты «Гудок», консультантом журнала «Студенческий меридиан», И. Тарасевич заочно окончил Литературный институт им. А. М. Горького.

«Примирения нет» — первое большое историческое произведение писателя. В нем рассказывается о революционном публицисте Дмитрие Писареве, пламенном пропагандисте свободы личности в пореформенной России XIX века, 150-летие со дня рождения которого отмечается в 1990 году. В книге использованы подлинные письма, мемуары, архивные материалы, а также произведения самого Д. И. Писарева.

Т $\frac{0503020300-021}{079(02) - 90}$ 146-90

ЧАСТЬ I

1

— Нет, сударь, нет, как хотите, а день будущей великой реформы, день освобождения крестьян от крепостной зависимости навсегда останется в глазах народа днем проявления величайшей заботы и любви русского монарха...

Кушелев вскочил с кресел, слабо взмахнул рукой, бант скособочился на крахмальной груди. В уголке графского рта выступила, пузырясь, слюна.

— ...днем милосердия, гуманности, зарею счастья!

Благосветлов тоже на всякий случай встал — произнесено было имя государя. «Эк его разбирает, — подумал, — чистый Манилов».

— Да!.. Сидите, дорогой Григорий Евлампиевич, бога, бога ради!

Благосветлов сел, косясь на китайскую вазу в половину человеческого роста, стоящую рядом, у холодного в эту июльскую пору камина. Ваза стоила денег, а он, Григорий Евлампиев, был неуклюж, знал это за собою. Не ознаменован бы знакомство с графом Кушелевым-Безбородко разбитием чего-либо. Правда, граф — миллионщик, не обеднеет.

Благосветлов ни капиталом, ни происхождением не мог похвастаться. Семья полкового священника в Ставрополе-Кавказском, в которой он появился на свет, перебивалась с хлеба на квас. К тому же еще в детстве

Григорий лишился родителей. Тут уж случилось — ни хлеба и ни кваса. Оставалось ему с братом одно — бурса. Однако не ужился. Характер у Григория Благодетеля выработался крутой. Пришло время — бурсу бросил и отца ректора послал ко всем чертям. Легко ли было, придя пешком в Петербург, окончить столичный университет кандидатом прав? Легко ли получить провинциалу место, скажем, преподавателя в Пажеском корпусе? Однако и тут не ужился. Лебезить перед сиятельными мальчишками не умел, пробовал говорить им о благе народном, а когда не встречал понимания, мог, поправляя под тяжеловесным подбородком дешевую галстучную булавку, брякнуть:

— У вас, милостивый государь, в верхнем этаже комнаты сдаются.

А кадетишки-то непривычные к такому обращению. Папаше жаловаться. А папаша... А иной папаша прямо государю вполне в состоянии донести: «Вольнодумец и грубиян». И вот — вышло высочайшее запрещение где бы то ни было преподавать. Дальше — эмиграция. Женева, Париж, Лондон, журнальная работа, нищета. Уроки. В Лондоне одно время учил дочь Герцена русской словесности. В начале 1859-го опубликовал в «Русском слове» статью «О значении Парижского университета». Герцен одобрил. Год с небольшим прошел — граф Кушелев-Безбородко предлагает управлять редакцией. Писать — одно, заведовать же — дело другое. Благодетель ужился в кресле.

Кушелев смотрел чрезвычайно доброжелательно. Потом сказал:

— Вы, сударь, выражаете сомнение. Нет, нет, нет, — протестующе вытянул вперед ладонь, — я понимаю вас, вполне понимаю. Мой... — улыбнулся, — наш журнал должен стать лучом прогресса и культуры, проникшим сквозь туман и тьму.

Посверкивая молодой плешью, Кушелев взял чубук, зачмокал, выпустил дымок. На мгновение его лицо, только что горящее воодушевлением, померкло, распустилось.

— Я не спрашиваю тайных ваших убеждений, Григорий Евлампиевич. Лондон... Я понимаю-с. Скажите одно: вы за прогресс? Государь, правда, не жалуется этого слова... Но вы, вы — за прогресс?

Теперь он смотрел умоляюще, видимо, чрезвычайно желая получить утвердительный ответ.

«Дурака валяет, что ли?» — Благосветлов громко сказал: — А как же ж!

— И чудно! Чудно! Не в одной России крестьяне находятся во власти землевладельцев. То же было и в других... м-м-м... странах, и всюду свободу труда приходилось добывать страшными жертвами, братоубийственными войнами и кровью. Кровью! И только в России свобода будет дарована государем, только в России землевладельцы добровольно согласятся, покорные велению монарха, отказаться от своих прав и выгод в пользу, так сказать, податного сословия!

— Гм...

— Да-с! Вы, позвольте спросить, были ли в Москве тридцатого марта пятьдесят шестого года? Никогда не забуду этого дня, хотя уж четыре года прошло!

Унтерские баки Благосветлова поднялись, как иглы у ежа. Отрапортовал:

— Исправлял в это время должность старшего учителя словесности в Петербургском Мариинском институте благородных девиц!

— Словесности! Чудно,— граф откинулся в кресле, чмокнул,— чудно! Да-с... А были бы в Москве... Да что я! Ведь вы же наверняка и прочесть изволили? Как вы, конечно, отлично помните,— тут, кажется, Кушелев хотел гостя хлопнуть по коленке, но не решился,— государь обратился к представителям дворянства Москов-

ской губернии, — радостно говорил Кушелев, — наизусть эту речь помню, как... хэм... стихи. — «Я узнал, господа, — нараспев, измененным голосом начал декламировать, — что между вами разнеслись слухи о намерении Моем, — прописная буква была старательно выделена голосом, — уничтожить крепостное право. В отвращение разных неосновательных толков по предмету столь важному считаю нужным объявить всем вам, что Я не имею намеренья сделать это сейчас. Но, конечно, и сами вы понимаете, что существующий порядок владения душами не может оставаться неизменным. Лучше начать уничтожать крепостное право сверху, нежели дожидаться того времени, когда оно начнет само собой уничтожаться снизу. Прошу вас, господа, обдумать, как бы привести все это в исполнение». Да... И дальше: «Передайте слова Мои дворянам для соображения». Вот-с!

— Так им! — грубо сказал Благосветлов.

— Для соображения, Григорий Евлампиевич! Вот мы с вами и начнем соображать, не правда ли? Как вы полагаете?

— Я полагаю, ваше сиятельство...

— Ах, ах, оставьте, Григорий Евлампиевич, — тот замахал руками. — К чему эти обращения! Зовите просто по имени-отчеству!

— ...полагаю, сейчас решается будущее России. Задачи громадные, — отрывисто произнес Благосветлов и даже сжал кулаки. — Спавшая доселе мысль начала работать. Вот что!

Кушелев еще раз бросил чрезвычайно благосклонный взгляд.

«А, пропадай моя телега, все четыре колеса!» — мысленно решил Благосветлов. Золотой барчонок из прихоти, ей-ей, издавал журнал — из прихоти да еще затем, чтобы печатать в нем свои сочинения, которых нигде не брали. Правда, Яков Полонский, редактор журнала,

тоже их в «Русском слове» не печатал. Теперь граф предлагал управление редакцией ему, специальным повелением Николая Павловича уволенному от службы «по учебной части», ему, прожившему несколько лет в Европе, работавшему у Герцена, ему, бывшему недоучившемуся семинаристу, пришедшему в Петербург, как когда-то Ломоносов в Москву... Умный граф, а дурак.Пусти щуренка в пруд — ба-альшая щука вырастет. А я уже не щуренок, ваше сиятельство.

— А что же Хмельницкий? — отрывисто спросил.

Хмельницкий, сухощавый, похожий на лешего человек с мутным взглядом, уже год считался управляющим «Русского слова». Хмельницкого Благосветлов видел лишь один раз, и то мельком.

— Александр Иванович-то? М-м-м... Я вам откровенно скажу: темный человек и м-м-м... меня совершенно, знаете ли, фраппирует, — граф выставил бородку, которая росла у него прямо из шеи. — Ведет себя в обществе... знаете ли... — Пухлые губы графа — усов не носил — полезли к щекам. — Рекомендовал его наш Аполлон, властитель муз, знал его по «Москвитянину», энергический, говорил, человек, а Александр Иванович как-то и его же, Григорьева, отставил из журнала, я и, знаете, не уследил... При Якове Петровиче значительно было, значительно... Так что я имею честь, — губы снова растянулись, и лицо Благосветлова едва заметно дрогнуло в ответ на эту улыбку, — имею честь, сударь, повторить свое предложение. Яков Петрович усиленно мне рекомендовал вас. Сам он... устал. Вы... понимаете ли, в этом году Яков Петрович потерял горячо любимую жену и обожаемого младенца.

— Я знаю.

— Да и сам Яков Петрович, как вы, конечно, тоже знаете, неудачно с дрожек упал, ногу повредил и не встает. Но, несмотря на все беды, остался таким

же милейшим, добрейшим, замечательным человеком, не так ли?

— Да.

— Да... Вам сколько же лет, Григорий Евлампиевич?

— Тридцать шесть, ваше сиятельство.

— Чудно! Лучший возраст для мужчины — так говорят дамы, а они-то знают, ха-ха,— мальчишка граф еще раз, как перед началом разговора, оглядел с ног до головы фигуру плотно сидящего в креслах литератора. — У нас, Григорий Евлампиевич, только 1200 подписчиков осталось, — печально сказал Кушелев, все посасывая трубку. — Я, конечно же, не оставляю плод души моей, но... м-м-м... Что-то нужно, вы понимаете...

— Программа нужна. Четкая программа. Насколько ваш журнал свободен в области политических воззрений, ваше сиятельство?

— Помню, помню, Григорий Евлампиевич, ваши статьи о французской революции, — поспешно сказал Кушелев, уже не обращая внимания на упорство, с которым Благосветлов титуловал его, — помню ваши слова о школе человечества — так, кажется? Эпоха французской революции — школа человечества... Прекрасно!

Благосветлов побагровел.

— Я вам откровенно скажу, Григорий Евлампиевич: я желал бы видеть «Русское слово» первым журналом России. И свое имя... — граф смешался, — ну, словом, вы понимаете. Какова же программа ваша?

— Программа, — Благосветлов начал рубить воздух кулаком, — проповедь свободных учреждений в России, идеи свободы труда, индивидуальной независимости, прямой дороги к народному богатству.

— Освобождению, стало быть, крепостных крестьян?

Благосветлов осекся.

— Да, и освобождению, — сказал, сникая. С выбритых его щек опала краснота.

— Чудно. Я вполне сочувствую вашему направлению. Но принесет ли оно популярность в читающей публике? — Принесет.

— Единственно: я желаю иметь полное влияние на, как выразились вы, политические воззрения журнала. Договорились? — Кушелев вновь улыбнулся. Благосветлов неловко поклонился, еще раз побагровев, и, переваливаясь, пошел по коврам прочь.

Вдоль улицы летела пыль. Вся Гагаринская набережная лежала на ладони перед итальянским палаццо графа. Благосветлов оглянулся и встретился взглядом с пустыми глазами швейцара. «Пятьсот тысяч в год дохода, — мелькнула мысль, — можно и журнальчик издавать». Он нахлобучил цилиндр, купленный еще в Латинском квартале, и быстро, крепко ставя кривоватые ноги, пошел прочь.

2

Приложил руки к теплым изразцам. Установились холода, вчера по-настоящему начали топить. Который день он покашливал, не показывая носа на улицу, растирал по семинарским рецептам грудь горячим салом — не помогало, только делались липкими волосы на груди. Кто бы сказал, глядя на него, что этот человек легко простужается, не выносит ветра, снега, дождя.

Потирая согревшиеся руки, подошел к столу, еще раз прочитал записку Полонского. Яков Петрович, щедрая душа, добрая душа, замечательная душа, опять рекомендует молодого гения, и опять поэта, и опять переводчика Гейне. Что ты будешь делать! С добротой ли сейчас, когда нужно сражаться! А сочинений гения-то добрейший Яков Петрович, судя по записочке, и не читал!

Сел, придвинул бронзовый подсвечник с двумя свечами — любил полумрак, начал писать:

«3 октября 1860

Милейший Яков Петрович, г. Писарева приму, усажу и поговорю с ним, а перевод его позвольте передать Вам для прочтения.

Не понимаю одного, почему мы бросились на Гейне. В редакции «Русского слова» по крайней мере до 40 стихотворений и все из Гейне. Или нерв зла, растворяющего анализа и грустного отрицания немецкого поэта сошелся с нашей коренной болью или потому что своего творчества мало у нас. Во всяком случае, хороший перевод стоит напечатать, дурняшку — лучше возвратить.

Благодарю Вас за доброе желание навестить меня; если я выздоровею скоро, постараюсь увидеть Вас немедленно. Будьте веселы в такую гадкую погоду и берегите Вашу ногу.

Душевно преданный Вам
Григорий Благосветлов».

Огромный стол, за которым сидел Благосветлов, не закрывал от взглядов посетителей заправленную кровать в углу — сам редактор и жил в редакции, а редакция помещалась в одном из домов графа, на Сергиевской. Эта зависимость, напоминая о каждодневно получаемых благодеяниях, раздражала Григория Евлампиевича чрезвычайно. Особенно попервоначалу, когда журнал еще не приносил ощутимых доходов.

Барская обстановка редакции не создавала уюта. Высокие потолки странно подавляли посетителя. Обитая темным шелком комната, которая располагалась сразу же за передней, была пуста, и ожидающие приема молча прохаживались по ней взад и вперед, искоса оглядывая дорогие обои и, кажется, сознавая свою незначительность. Правда, следующая комната была светлой,

хорошей, с диванами, высокими лампами на столах. Стулья ампир своим видом напоминали самого редактора — модные, крепкие, но неуклюжие, они, казалось, так же настороженно глядели от стен, как настороженно смотрел Благосветлов на только что вошедшего человека.

— Господин Писарев? Извольте присесть. Я читал записку Якова Петровича. — Он не выдержал и улыбнулся: ожидал увидеть юнца, а это уж совсем ни на что не похоже. Не юнец, а прямо рождественский поросенок с хреном — волосенки рыжие, сам весь розовый, даже ушки розовые, губки бантиком.

Эхма! Правда, глаза... Глаза не рождественские. Горд. Ишь, ты. И лоб большой.

— Ну-с, давайте Гейне вашего.

Перевод был сделан грамотно. Только что ж мы, действительно, все одним Гейне питаемся?

— Позвольте спросить: как вы, собственно, с Гейне дружбу начали водить? Почему-с? Что в его поэзии вас привлекает? Ась?

Поросенок словно готовился к ответу — взмахнул рукой и начал говорить, как по книге:

— Сам Генрих Гейне ответил на этот вопрос, господин Благосветлов: поэзия, как ни любил я ее, говорит нам Гейне, была для меня всегда лишь священной игрушкой или освященным средством для небесных целей. Я никогда не придавал большой цены славе поэта, и хвалить или бранить будут мои песни, меня мало беспокоит. Но я желаю, чтобы на гроб мой положили меч, потому что я был храбрым солдатом в войне за благо человечества... Это и привлекает.

— Позвольте, да здесь же два противоположных взгляда на искусство: утилитарный и художнический. Как же так?

— Эти слова Гейне, — не смутился поросенок, — как раз и выражают существо поэта. Гейне был,

действительно, и храбрым солдатом. А солдатом можно быть, и не беря в руки шпагу, а только вооружаясь пером, и художником, чистым художником. Вот читаешь Гейне — никаких мыслей, собственно, и нет! Так, болтовня о легких пустяках. Но читаешь внимательно, терпеливо, и вдруг стихотворение освещается светом, — он сам словно осветился изнутри. Добавил: — Я говорю не только об общеизвестных сарказмах поэта. Не из-за сарказмов же, в самом деле, мы его чтим. Ненависть к тем общеевропейским подлостям и глупостям, которыми вызваны сарказмы, — вот свет Гейне... Да и иногда романтизм, яркие картины. Но не это главное в нем...

— Вам, молодой человек, надо статьи критические писать, — усмехнулся Благосветлов. — Не пробовали еще?

По лицу Писарева прошла легкая краска. Он выпрямился, маленький, и как можно проще сказал:

— Пробовал. Более года вел библиографический отдел в журнале «Рассвет». В прошлом году в двенадцати номерах сто четырнадцать моих рецензий.

— Так пишите нам! — загремел Благосветлов. — Всыпьте филистерам! Да покрепче!

Он выскочил из-за стола и затряс в воздухе кулаками.

— «Рассвет»! Журнал для девиц! А у нас нет критического нерва, нет здоровой и всесокрушающей критики! Вот что! А способные молодые люди вроде вас услаждают девичий слух!

Писарев глядел во все глаза.

— Сейчас нельзя мириться с действительностью, это вы понимаете? Вы университетский, пишет Яков Петрович?

— Да, — поспешно сказал Писарев, — начал писать диссертацию.

— Тема?

— Аполлоний Тианский и его время.

— Боже мой! Время Аполлония Тианского! А наше, наше-то время?! Впрочем, быть может, вы... боитесь, молодой человек?

Писарев вспыхнул.

— Ну, ну, ну... Бояться не надо, нельзя бояться. Прекрасно, что вы не боитесь. А с нами тут случился цензурный погром. Наш сентябрьский номер успели прочесть?

Благосветлов протянул толстую, с вершок, книжку журнала. Под заглавием и словами «литературно-ученый журнал» стояло мелко: «Издаваемый графом Гр. Кушелевым-Безбородко».

— Эге... Еще и в руки не брали, вижу! А «Современник» читаете? Читаете. Да вы не смущайтесь, господин Писарев... Вот, позвольте, вот это место: «...воскурять фимиам царю небесному и царю земному». Я пишу, что до поры воскурения фимиама Гоголь возбуждал любовь соотечественников, а за порою сей — презрение.— На физиономии Благосветлова выразилась злоба: — Презрение! И что бы вы думали? Александр Николаевич, говорят, призвал министра и сказал: «Что обо мне говорят, я на то не обращаю внимания. Нельзя всеми быть любиму: одни любят, другие нет. Цари земные бывают с ошибками. Но о царе небесном нельзя так отзываться». Видите ли: царь земной за небесного царя обиделся, ха-ха-ха! — Благосветлов откинулся в кресле.— За эту-то фразу единственную цензора нашего Ярославцева отстранили от должности, да и графу сильно нагорело. А граф, ссс...— Он осекся, вспомнив, что первый раз видит посетителя.

— Теперь у нас цензор Богушевич.

Благосветлов пожал плечами, словно бы показывая, что не понимает разницы между Ярославцевым и Богушевичем.

— В общем, начинают следовать системе притеснения. А мы им перчику, перчику! — вновь возбудившись, закричал редактор. — Не так ли?

— Да, — нерешительно сказал студент.

Помолчали.

— Ладно, господин Писарев, — наконец произнес Благодетель. — Работу я вашу беру. Об гонораре договоримся позднее. И принесите что-нибудь еще. Хоть Аполлония, как закончите. А вообще статьи нужны дельные. Помните.

Студент вскочил. Благодетель, скупо улыбаясь, протянул ему длинную свою руку.

3

Двадцать первого октября, в пятницу, умерла императрица Александра Федоровна. Хоронили двадцать девятого. Сырой, готовый к зиме город знобило. Во всех воротах стояли казаки; лошади мотали хвостами.

Митя Писарев проснулся необычно поздно, в одиннадцатом часу. Рассеянный свет сочился сквозь окно. Митя закрыл глаза согнутым локтем, как делал еще в детстве, когда не хотелось вставать. Он знал, что сейчас в Петропавловском соборе звучит траурная музыка, и ему казалось, что отзвуки ее доносятся сюда, до Большого проспекта Васильевского острова, до угла Седьмой линии, в котором стоял дом Белянина — никогда не навещавшего своего владения хозяина. Зато кухмистерша Мазанова показывалась, как солнце красное, каждый божий день. Кухмистерша снимала у хозяина квартиру и уже от себя сдавала студентам комнаты с пансионом.

Митя сонно улыбнулся, отметив, что сравнение солнца с кухмистершей было явно неудачным. Солнце радовало не каждодневно, Мазанова же являла большую доб-

лесть. Промозглая осень, знакомая любому петербуржцу, тянула жилы из тела прочь — не хотелось вставать.

— Писарев! — закричали из коридора. — Писарев! Вставай! Ты не один, что ли?

В коридоре раздался хохот. Нравы мазановских номеров Митю коробили сильно. Кроме Мити здесь жили еще двенадцать молодцов, и шум по утрам да вечерам — по вечерам особенно — стоял порядочный.

Митя зажмурился под рукой, громко сказал, не отрывая согнутого локтя от глаз:

— Ну, ну, господа...

Могли посыпаться шутки насчет кухни, а этого он уже не стерпел бы. Короткая дружба между соседями должна иметь и пределы.

Митя помнил, как одиннадцать лет назад в ворота старого, теперь уже проданного отцовского Знаменского въехала, переваливаясь, коляска. Спокойно вышла худенькая девочка, тоже примерно лет девяти, спокойно осмотрелась вокруг. Темные глаза скользнули по отложному воротничку гуляющего во дворе мальчика. Бледное, твердое личико приехавшей девочки чуть дрогнуло в усмешке, не замеченной и не понятой Митей. Собственно, он всю свою жизнь не замечал или не хотел замечать этой ее усмешки.

— Слава богу! — с крыльца уже бежала шапан. — Слава богу! Как доехали? Слава богу! — она обнимала девочку. — Митя, да подойди же, поцелуй кухню. Это твоя кухня Раиса, дочка тетушки Анастасии. Помнишь тетушку? Вот теперь Раиса с нами будет жить, будете вместе... заниматься. Играть — тоже будете. Ну, целуй кухню.

Девочка умильно вытянула губы трубочкой, глубокие глаза смеялись совсем по-взрослому, по-женски...

Митя рывком вскочил, отбросив одеяло. В одной рубашке подошел к окну, лицо горело.

Летом Раиса снова согласилась выйти за него замуж, снова, снова, теперь уже — навсегда согласилась. Ведь он не может без нее. Это же очевидно. Зачем же сопротивляться тому, что все равно должно произойти? Бессмыслица, только и всего.

Он вытащил из бюро летнюю Раисину записку, полученную дома. Какие еще нужны доказательства любви, какие?

«Митя, милый Митя, я так счастлива за тебя, что и высказать не могу. Мы получили твое письмо здесь в Москве; я тут же и осталась и дня через три выезжаю в мальпосте до Тулы... Все это будет очень хорошо. С получения письма от тебя и от татапа я не в силах ничего ни делать, ни думать и нахожусь в каком-то раздраженном состоянии. Итак, жди меня через несколько дней...»

Три года назад он решил, что женится на Раисе, и — пожалуйста — скоро и женится, только окончит университет. И пожалуйста, пожалуйста, милые, на тройке с бубенцами. И-и-эх! Залетные! Митя тихонько засмеялся.

Ведь это же хорошо — жениться на Раисе. Он хочет жениться на Раисе. Почему этого не понимает татапа? Впрочем... Впрочем, татапа должна смириться, как смирилась сестра Верочка. В самом деле, непонятно, почему они искренне не хотят доставить ему этого удовольствия — жениться, жениться, жениться на Раисе, жениться на Раисе, Розе, Раисе.

Они, кстати, оба прекрасно могут содержать себя. Тут ни татапа, ни будущему тестю сказать нечего. Он вспомнил негодующий крик Благосветлова. «Журнал для девиц!» Да, журнал для девиц. И приносит, между прочим, несколько десятков рублей ежемесячно. Сделайте одолжение, скажите, кто и где мне даст такую возможность заработать собственным незаурядным умом? Что-то

у нас еще получится с вами, Григорий Евлампиевич? Жизнь полна удовольствий, почему же нам с Раисой, с Раизой, почему бы нам с Раизой ими не пользоваться, почему? Жизнь — лимон, из которого необходимо выжать сок. Да, Раиза — современная женщина, не чета иным литературным героиням. Сама может прекрасно себя содержать. Раизина повесть «Пустушково», которую летом Катков — Катков! — напечатал у себя в «Русском вестнике», что, как не шедевр? Он, Митя, уже сообщил летом Майкову, что Маша Вилинская, другая его кузина, писавшая под псевдонимом Марко Вовчок, известная писательница, спустит знамя пред повестью Раисы. Да, так: я не могу писать свои статьи, если не знаю, что Раиса мне принадлежит безраздельно. И разве Рагодин из ее «Пустушково» — это не он, не Митя? Сильная личность, благородный человек, увозящий под венец обительницу захолустного Пустушкова, Лизу Арбатову. Лиза — Раиса.

Думая о «Пустушково», Митя всегда вспоминал сцену с портретом, которая особенно нравилась ему.

Рагодин, уезжая с вакаций на учебу и увозя Сашу, брата Лизы, дает ему отличный урок поведения. Саша желал взять с собою материнский портрет, а Лиза желала оставить его у себя. Саша таки портрет забрал. А Рагодин, Рагодин спросил, что, скажите, что принесет вам большее удовольствие: созерцание портрета или же выражение сестринской благодарности за то, что портрет будет у нее оставлен. И молодой Арбатов вполне резонно рассудил, что ему приятнее получить вместо портрета горячую признательность Лизы. Вот! Вот! Так понять его теорию «систематического эгоизма», над которой все смеются, даже Верочка и татан! Делать удовольствие себе, чтобы оно приносило удовольствие и ближним. Если мне хорошо, значит, и ближним моим хорошо.

Митя радовался, что Раиса понимает его совершенно.

Так что они прекрасно будут жить. Правда, летом Майков забраковал переводы из Гейне, но Полонский одобрил. И вот, пожалуйста, «Атта Тролля» печатается у Благодетлова, то бишь — у Кушелева. А Благодетлов обещал 280 рублей за «Атта Тролля». Что ж, быть может, он, Митя Писарев, еще проявит себя как поэт. Как-никак, а за три недели перевел почти две тысячи строк. Так все хорошо, так хорошо, что, право, становится страшно за свое счастье.

Вчера он закончил выписки для диссертации. Диссертационные рекомендации профессора Стасюлевича о времени Аполлония Тианского оказались несколько спорными. Простодушный профессор просто выписал некоторые места из «Падения язычества» Чирнера — труд, право же, небольшой. Ткнувшись в такое исследование, любой бы руки опустил. Только не он, Писарев.

Митя отошел от окна. Что же делать? Сколько времени, месяцы, годы, годы ушли в песок, ему уже двадцать. Еще двадцать.

Мысль уже сформировалась — писать надо так, чтобы в будущем пристроить написанное в какой-либо журнал.

Минут через сорок Митя — в студенческом сюртуке — сидел за столом и быстро, без помарок, писал четким писарским почерком...

К началу декабря в диссертации было уже печатных листов пятнадцать. Митя работал, как фабрика; словно со станка выходили ровные упрямые строчки. Двенадцатого декабря, думая о том, что, будь побольше времени, труд получился бы куда капитальнее — пространнее, глубже, некоторые мысли можно было бы и развить, — думая об этом, Митя поставил эпитафию-девиз (диссертации рассматривались анонимными, девизы должны были быть оглашенными после решения комиссии) «Еже писах, писах» — из древних летописей, — и сейчас же,

чувствуя радостную приподнятость от окончания работы, от предвкушения встречи с Раисой, каникул, свободы, отдыха, веселья, поехал на вокзал. Диссертацию завез в университет по дороге.

4

В Москве сыпали, залепляя глаза, снеговые хлопья. Митя совсем превратился в Деда Мороза, пока нашел извозчика в толчее у Николаевского вокзала. Москва встретила мокрой белой оттепелью, казавшейся чудесной после колючего игольчатого морозца северной столицы.

Раиса жила у дядюшки, брата матери Андрея Дмитриевича Данилова, корректора в типографии Готье, уже недели две как переехала. В самом же деле — в меблированных апартаментах жить не по средствам, а у богатых родственников — того хуже. Милый Андрей Дмитриевич, он же почти как отец родной: ни насмешек, ни беспричинной ревности тамап — всего этого не будет у Раисы в доме Данилова.

Сани проехали по бульварам и свернули на Кузнецкий мост. Митя выскочил, чуть не запутавшись в тяжелой полости, вбежал в дом.

— Господи! Митя! Что так рано? Я и не ждала до святков!

Родные, любимые, любимые сияющие глаза.

— Ты не рада, скажи: ты не рада?

— Да рада, рада, — засмеялась Коренева, засмеялась, улыбнулась неуловимой, скользнувшей по губам улыбкой и снова засмеялась, глядя на Писарева.

— Да ты такой же розовощекий бутуз, Митя! Как всегда! И сияешь, как самовар. Тоже как всегда. Ну можно ли быть таким самодовольным? Снег-то, снег-то стяхни! Да не здесь, в прихожей!

— Не только можно, но и нужно,— Митя стягивал в прихожей башлык.— Дядюшка в типографии?

— Да скоро будет.

Он со счастьем слышал это ее «да», с которого она начинала почти всякую фразу.

— Эх! Будем веселиться! На Воробьевы горы поедем? Поедем! Еще куда поедем?

— Да куда хочешь,— она опять засмеялась.

— Да! Да! Да! Куда хочу! — он протянул руки к ней.— Раиса!

— Ну, ну, ну, Митя, Митя! Да ты что? Увидят... Митя! Да и так тамап меня в безнравственности, представь себе, упрекает. Ну, все, все...— она отстранилась.— У родственников твоего же папаши жила — безнравственно: Люба Писарева за уланским полковником, в доме офицеры бывают. У дядюшки — безнравственно: дядюшка молод. Его посещают друзья. Да и меня же посещают друзья! Послушай, Митя, напиши к тамап, я тебя прошу, слышишь, я требую.

— Хорошо, хорошо.

Вечером он действительно сел к столу и написал:

«Раиса живет у А. Д., потому что она нигде не может жить до такой степени свободно и сообразно со своими желаниями и наклонностями. Она окружена мужчинами — это правда, но она любит общество мужчин гораздо больше общества женщин, потому что, при теперешнем состоянии общества, умных и развитых мужчин гораздо больше, чем умных и развитых женщин...»

— Ну, так, спасибо,— она заглядывала через Митино плечо. Как грациозна эта ее поза! Тонкая фигурка дышит силой.— Ну, так.

«...У Раисы каждый день бывают Гарднер и Хрущов; я нахожу это совершенно законным: во-первых, потому, что вижу, что Раиса приятно проводит с ними время, во-вторых, потому, что мне самому с ними весело...»

— Да ты уверен, что все время весело-то будет?

— Уверен.

«...Могу тебе поклясться, что между этими людьми у Раисы нет любовника...»

— Митя!

«...а если бы и был таковой, то ни ее отец, ни ты, ни я не имеем права вмешиваться в ее дела...»

— Вот спасибо! — Коренева перестала подглядывать и села напротив пишущего Мити. — Вот это уважил, милый мой.

«Согласно с моими убеждениями, — неумолимо продолжал Писарев, — женщина свободна духом и телом и может распоряжаться собой по усмотрению, не отдавая отчета никому, даже своему мужу. Если женщина, которая могла бы наслаждаться жизнью, не наслаждается ею, то в этом нет добродетели. Такое поведение является результатом массы предрассудков, которые стесняют и производят бесполезные и воображаемые затруднения. Жизнь прекрасна, и надо пользоваться ею. С такой точки зрения смотрю я на нее и нахожу справедливым, чтобы каждый руководился тем же правилом».

Он подписался: «Д. Писарев».

Хрущов и Гарднер были старыми знакомыми.

Хрущов, плотный молодой человек, черноволосый, кудрявый, с кудрявою же бородой á la Ноздрев, был московским студентом. Этим летом он проводил вакации в имении своего брата, что неподалеку от Грунца, имения Писаревых, бывал у Мити запросто, они втроем — еще и с Раисой — или даже вчетвером — еще и с подрастающей Верочкой — говорили, гуляли, купались, катались в коляске. Впрочем, если это не мешало Митиным занятиям. Ни на какое особенное внимание Раисы Хрущов не претендовал. Гарднер же... С Гарднером дело выходило сложнее.

Летом прошлого, пятьдесят девятого года, Раиса гостила в Истленеве у Николая Эварестовича Писарева, богатого родственника папаши Ивана Ивановича. Митя отлично помнил, как Раиса не желала оттуда возвращаться в Грунец, хотя на каникулы приехал он, Митя, он, которому она обещала отдать руку; он помнит, как мама привезла ему письмо из Истленева, Раиса извещала — довольно холодно, надо сказать, — что выйти за него, Митю, замуж она не может, так как любит другого. Мама вскользь упоминала фамилию — Гарднер. У дядюшки Николая Эварестовича всегда много гостило разного люда...

Потом, возвращаясь в университет через Москву, Писарев отправился посмотреть на предполагаемый предмет Раисы. Со сжатыми кулаками, с подобранными губами, бледный, вошел Митя в комнату и увидел не красавца-офицера, о котором говорила мама, а рыхлого, нескладного добряка, оказавшегося к тому же студентом-медиком, вовсе не офицером. Мама напутала что-то. Митя с Гарднером подружился, решил, что любовь Раисы замешана на жалости — так любят женщины, сильные духом. Но такая любовь проходит...

Утром, когда Андрей Дмитриевич отправился в типографию, Митя с Раисой, Гарднер и Хрущов поехали на Воробьевы горы, как и мечтал Митя. Вышли из саней на высоком берегу Москвы-реки.

Митя победно улыбнулся, глядя на Раису: была с ним, поехали вместе с Гарднером и Хрущовым, а Раиса была с ним, с Митей.

Плавная излука, летом посылавшая веселые блики, теперь лежала бело-голубая, неподвижная. Дровни, кренясь, тащились по середине ее, противоположный отлогий берег, засыпанный снегом, медленно поднимался к темному лесу, и далеко-далеко, едва заметные, виднелись за верхушками елей купола Кремля. Слева, от Новодевичьего монастыря, шли низкие тучи.

— Холодно, господа, — сказал Гарднер, ежась. — Не ко времени все-таки выехали. Вон мужичок, и тот, глядите, греется.

Возчик внизу, действительно, выпрыгнул из саней и теперь бежал рядом, высоко подбрасывая ноги в широких валенках.

Какой он, Гарднер, мерзлявый, дохлый. Жаль его, ей-богу.

— Ты, Петя, тоже побегать можешь. И согреешься.

— Нет уж, спасибо, — Гарднер вроде даже обиделся. Этот Писарев всегда смотрит сверху вниз, хотя сам росточком с ноготок. И вечно подает советы, на все у него свое мнение есть. И любое его мнение ничего, право слово, не стоит. А с каким апломбом излагается, боже мой!

— Ты спроси у мужичка, Петя, чем он, сердешный, на самом-то деле согревается. Не знаешь? Водочкой. Хотя и разбавленной в кабаке-с. Это к продолжению нашего разговора.

Гарднер плотнее запахнулся в шубу. Вчера начали, вроде бы, спорить, разговаривать, но ведь с Писаревым никакой спор невозможен. Он твердит свое, и делу конец.

Гарднер помолчал, потом продолжил вчерашний разговор:

— На что мужику свобода, собственно говоря? Вся его жизнь: дрова возить или пахать, мерзнуть, водочкой греться, опять возить.

— А тут редакционные комиссии заседают, великий князь Константин Николаевич, говорят, чуть ли ночей не спит, хе-хе-хе, все думает, как бы мужичку облегчение вышло, — сказал Хрущов.

— Подожди, — сказал Писарев, — мужик устроит тебе веселые деньки.

— Революцию, что ли? Абсурд!

— А хоть бы и революцию.

Хрущов посмотрел неприязненно. Оба — и Писарев, и Гарднер — уже начинали раздражать его. Летом, приехав в Грунец представляться по-соседски, Хрущов увидел самовлюбленного барчука, занимающегося на досуге литературой. Писарев и начал с того, что с упоением, пыжась, угостил его собственными сочинениями. Все спрашивал, как, мол, как, но видно было, что никакого стороннего впечатления ему не нужно, вполне обходится собственным. Хрущов тогда страшно пожалел, что по-глупому, словно гоголевский персонаж, приехал кланяться. Но ездить в округе больше было не к кому. Не подыхать же с тоски! Да и сестра Вера оказалась у Писарева очень мила. Мила, умна. Правда, сам Писарев бесконечно мешал, ходил следом, трещал о своей персоне, и он посоветовал ему заняться, наконец, каким-нибудь делом, хоть из Гейне перевести, сейчас все переводят из Гейне. Тот, слава богу, на дней двадцать их с Верой оставил в покое — сидел, переводил. Увлекающийся человек! И, кончив, тут же начал говорить, сколько он заработал переводами — если, конечно, напечатают, но он не сомневался, что напечатают. И письмо отправил товарищу, брату поэта Майкова, чтобы тот пристроил переводы. И, глядите-ка, вот-вот выйдет журнал с этими стихами, подбавит огня в бесконечное писаревское самомнение. И все одни слова, одни слова. А Гарднер, соня ленивая, весь день на диване лежит. Ни тот, ни другой ради дела пальцем не пошевельнут. И что я к ним езжу? Разговоры разговаривать.

— Да полно, братцы, — Хрущов деланно зевнул. — И охота вам. Ведь гулять приехали, давайте гулять.

Раиса уже шла вниз по тропочке, не выпрастывая рук из муфты, изгибала узкую спину, чтобы сохранить равновесие — тропинка петляла, стоял ледок. Гарднер, пыхтя, двинулся следом.

— Подожди,— еще раз сказал Писарев, беря его за рукав.— И ты, Ваня, подожди. Выясним,— он, как всегда, говорил быстро и заносчиво.— Ты, Петр Александрович, к мужику относишься как к ребенку и над его пороками смеешься. А зубоскалить тут нечего. Ты зубоскалишь над его горем и слезами. Свобода ему не нужна? Почитай, что Искандер пишет. Да что! — розовые щеки Писарева стали совсем пунцовыми.— Вокруг посмотри! Мы же сами мужика запрягаем, сечем, насилуем его дочерей, убиваем его, наконец. Мой отец, невелик помещик, а чуть что — «двадцать пять горячих!» Одно знает, это знает! И ты туда же, выходит? Воля твоя говорить и думать как угодно, а я более с тобою и знаться не хочу! — вдруг резко закончил он.

Гарднер испугался.

— Да я что... ничего... Митя... Не принимай ты всерьез... Помиримся. Мужик — болен. Что ж тут говорить...

— Вот именно! Говорить нечего! Надо дело делать!

Хрущов с изумлением глядел на размахивающего руками Писарева. Этих слов он от него никак не ожидал. Правда, тоже слова, слова летучи.

— Болен — надо лечить! А не смеяться! Лечить, как всякую другую болезнь. И радикальными средствами!

— Именно,— сказал Хрущов.

— Никакое примирение между нами невозможно, потому что мы с тобой не ссорились, Петр. Ты добрый, твоя доброта... ваша доброта мужику выходит боком. Вы все видите, как мужик работает, ест, пьет, бьет жену, а что он думает, что чувствует,— до того вам дела нет. Что, не так?

— Так,— сказал Хрущов, очень довольный.— Извольте теперь переходить к лечению.

Писарев взглянул бешено, Хрущов даже отступил назад, сапог ушел в снег.

— Чтобы мужика лечить, нужна способность его лю-

бить, любить, понимаешь? Прощать его, как слабого и больного человека. А ты тоже смеешься?

— Нет, нет,— Хрущов теперь смотрел даже как-то одобрительно,— нет, Митя. Не смеюсь. Я тебя на самом-то деле люблю. Люблю и почитаю. И за тобой пойду, если ты,— Хрущов говорил, кажется, серьезно,— если ты поведешь на баррикады.

Писарев вдохнул морозный воздух и задохнулся им. Пробормотал:

— Баррикады — не главное...

— Что ты, Митя, вдруг заволновался, право... Я не понимаю... Ну, лечи мужика. Можно подумать, ты знаешь как. Пф, пф,— Гарднер тоже волновался.— Пф... Я не понимаю. Знаешь ты, как лечить? Поведешь ты его,— он показал пальцем на улыбающегося Хрущова,— на баррикады?

Митя, секунду замешкавшись, оглянулся и, увидев площадку, нависающую над зимней рекой, взбежал туда, как на сцену.

— Здесь, на этом месте,— закричал он оттуда весело и страстно,— здесь я...

— Клянусь,— подсказал Хрущов.

— Клянусь!

— Лечить клянусь,— проворчал Гарднер.

Писарев не слышал. Отвернувшись, он смотрел на растилающуюся у ног снеговую равнину, на темный лес, застывший в холодном сне. Слова могли застыть за одну минуту, застыть, чтобы умереть в одночасье, надо было говорить и говорить эти слова, произносить и произносить их бесконечно, чтобы слово стало делом и — вело. Это — главное. Надо говорить и говорить, произносить и произносить эти ведущие к делу слова, чтобы они согревали нашей российской зимой. Положив руку на грудь, он, Митя Писарев, услышал, как слова греют его изнутри, услышал, что сердце — бьется.

— Митя! Ты — памятник самому себе, слышишь?
Памятник!

— Как? — он помедлил. — Я буду читать стихи!

— Господи, помилуй мя грешного!

— Стихи на воздвижение памятника Николаю Пер-
вому!

— Ты что! — закричал Гарднер. — Остановись! Что ты!
Услышат!

В стихотворении, написанном в прошлом году, было
добрых триста строчек, поэтому он начал читать сразу
концовку.

— *Этот памятник позорный
Нашей подлости покорной
Вызвал желчь в моей груди...*

— Митя! Митя! — даже Хрущов оглянулся по сторо-
нам. Вокруг никого не виделось.

— *В голове рассеял грезы.
Я спросил себя сквозь слезы:
Что же будет впереди?*

— Молодец, Митька! — нервно сказал Хрущов, все
оглядываясь.

— *Как без ропота нам снесть
Нашу нашими царями
Опозоренную честь?
Как же людям не томиться,
Как же в них не разгорится
Злобы праведный огонь,
Если даже медный конь
Грозно мечется и злится
Под ужасным седоком,
Если, точно как в живом,
Видно, кровь как в нем клокочет,
И, поднявшись на дыбы,
Сбросить всадника он хочет
На фонарные столбы?*

Горло перехватило морозом, задышался на снежной круче, перед далекой перспективой, словно перед далекой, лежащей под ногами вереницей годов.

— Господи! Не приведи, кто услышал. Каторга! Совсем ты ошалел. Совсем ошалел... Чего ты хочешь?

— Я хочу свободы для всех, миленький,— сказал спокойно.— Я сам совершенно свободный человек. Пусть все тоже будут свободными.

— Дичь! Абсурд! А если свобода этого мужичка поперек твоей свободы ляжет, тогда что? А? Как? Полюбишь его, поймешь? Полечишь?

— Пойму. И безо всяких баррикад. Знания нужны. Знания.

— Ну-ну...

— Милый! Пяти лет не прошло — Даль в «Русской беседе» ратовал против грамотности для мужика. Вот как лекарство искали. Каждый горазд воспитывать мужика привозной, готовой цивилизацией, привозным просвещением. Я вот напишу, что действуем мы теоретически. До дела, действительно, пока далеко. Теоретики и крикуны на каждом шагу, теории в одночасье создаются и в одночасье лопаются. А надо, как любому воспитателю, изучить воспитанника, приобрести его доверие, узнать его насущные, настоящие потребности. Вот тогда дело пойдет. А мы все сверху, с бережка на мужика смотрим. Что ты на таком расстоянии, миленький, можешь увидеть?

Он снова взял Гарднера за рукав, повернул его к Москве-реке. Дровни давно проехали, их закрыл высокий снеговой холм на берегу.

— Вот так за рассуждениями потеряли самого мужика,— сказал Хрущов. Враз засмеялись.

— А писатели наши? Пойдемте, что же...

Они двинулись гуськом вслед за Раисой, та весело махала им снизу рукой.

— Лучшие, говорю, писатели. И Осип в «Ревизоре», и, положим, Селифан и Петрушка у Гоголя — все декорации, а не живые люди.

— Ну, Гоголя, ты, Митя, того... все-таки... авторитет,— осторожно сказал Гарднер,— и давай, Митя, все-таки... того... помиримся.

— Для критика нет авторитетов! — Писарев опять полоснул его взглядом.— Нет! Запомни это, миленький... Ну, не Гоголь, «Народные книжки». Я буду писать о народных книжках для «Русского слова». Между прочим,— он вздернул голову,— продолжаю вам говорить, что это сейчас лучший русский журнал. Кроме «Современника», конечно. Но я «Русское слово» подниму еще выше.

Хрущов и Гарднер промолчали.

— Ну, да ладно... А вот что: против пьянства, положим,— опять кинул взгляд Гарднеру, тот все ежил-ся,— ратуют теми же средствами, с какими сам мужик восстает против табаку, против картофеля, против железных дорог, против любого немецкого изобретения. Пьянство — дьяволово наваждение, и делу конец. Первый винокур — чертенок, посланный на землю самим сатаной. Бойтесь, православные, крещеный люд! Хороши воспитатели! Пьянство — зло, да надо корень его найти и вырвать...

— А кстати,— Хрущов вытащил из-под шубы серебряные часы, щелкнул крышкой,— не поискать ли нам корень сей? Или найдем, или пострадаем за народный пред-рассудок. Все польза обществу. Час обеденный. Раиса! — закричал он.— Возвращайтесь!

— Вот и поговори с вами серьезно. Ладно, поедем обедать,— он повернулся и тоже закричал и замахал рукой.— Раиса! Раиса! Раиса!

Коренева уже успела пройти по тропочке, которая, словно бичевник летом, огибала, следуя за излучкой,

кромку зимнего берега. Лицо Раисы поднималось к ним, к нему, брови в снежинках, тугие щеки. Черная шубка, юбка черная, муфта черная, молочно-белое лицо с алыми губами, белый снег, черная шапочка, черные деревья, белый снег, алый рот.

— Да вы опять спорите, милые друзья.

— Нет,— Митя счастливо улыбнулся,— не может быть никакого спору.

5

Каникулы прошли. Вакации. Кончились. Зима кончилась, скончалась, отсыпала снег, радость светлую, московский морозец умер. В декабре у Данилова на квартире шумно отпраздновали выход «Атта Тролля» в декабрьском номере «Русского слова». Митя с Гарднером помирился, с Хрущовым сошелся ближе, Хрущов теперь что ни день Митю славословил, Митя Хрущова принял другом. Решили и жить в Петербурге вместе — там же, в Мазановских номерах.

Только дядюшка Андрей Дмитриевич, надушенный, выходящий к завтраку с бантом, завитой, портил каникулы. Кто бы ожидал? Так хорошо было все первоначально, а потом... потом, кажется, какое-то у них с Раисой случилось объяснение. Мда-с... Во всяком случае, он тогда, помнится, все ворчал себе под нос, взмахивал ухоженными руками, полированные ногти поблескивали на них. Дядюшка сам топил печи, сам посуду мыл, оставалось неизвестным, как он умудрялся содержать в непорочной холе рабочие руки.

— Раиса, что у вас произошло?

— Да ничего, Митя. Митя! Господи! Да ничего...

— Я же вижу.

— Да ты тоже, что ли, стал охотником до объяснений? Послушай: я все несносности могу простить, но выяс-

нять отношений не стану, Митя. Нет. Прошу тебя — оставим.

Весь разговор. Так любимая женщина говорит, так надо, так будет. Оставим. Она лучше всех, всех андреев дмитриевичей, гарднеров, хрущовых, всех лучше. Умнее всех. После женитьбы отставим их, станем жить вдвоем, ничего, никого, никаких родственников, знакомства — только литературные, отделаемся ото всех. Они же, это понятно, лишь мешают работе, полету вольной мысли, делу мешают. Так.

Каникулы прошли, и зима подходила к концу. В февралю, когда Писарев возвратился в столицу, по улицам мело последней снеговой крупой. Праздник кончился; несколько дней назад в белом зале университета торжественно объявлено об удостоении студента IV курса историко-филологического факультета Дмитрия Писарева серебряной медали за кандидатское сочинение под девизом «Еже писах, писах». Награда за верность избранной цели — серебряная медаль с изображением Аполлона и надписью: «Преуспевшему». Серебряная медаль — преуспевшему в споре за Раису, в споре с невидимыми, подземными обстоятельствами, непокорностью великой женщины. Других соперников нет, золотую медаль в этом споре не выдают никому, нет, никому. И как совпало! Тем временем — Свобода! Воля! Воля!

Объявления воли ждали к 19 февраля, к шестой годовщине вступления государя на русский престол.

Еще в январе, 28-го числа, сидя под огромной свисающей с потолка люстрой на заседании Государственного совета, государь сказал, глядя неотрывно перед собой:

— Дело об освобождении крестьян, которое поступило на рассмотрение Государственного совета, по важности своей я считаю жизненным для России вопросом, от которого будет зависеть развитие ее силы и могу-

щества. Я уверен, что вы все, господа, столько же убеждены, как и я, в пользе и необходимости этой меры.

Александр обвел взглядом два ряда кресел вдоль длинного стола. Резные золоченые спинки кресел сливались с золотом эполет сидящих рядом генералов, от орден-ов рябило в глазах. Раздраженно дернул усом. Уверенности и убежденности не было.

— У меня есть еще другое убеждение, — сказал мягко, — а именно, что откладывать этого дела нельзя. Почему я требую от Государственного совета, чтобы оно было кончено в первую половину февраля и могло быть объявлено к началу полевых работ... Повторяю, — встал, и сановники встали, — повторяю, и это моя неперемнная воля, — чтоб дело это теперь же было кончено.

Оперся согнутыми пальцами о тяжелое сукно стола, посмотрел влево, на портрет дядюшки Александра Павловича, посмотрел прямо перед собою, на портрет родителя Николая Павловича, склонил начинающую плешиветь голову, бритый подбородок уперся в перекрещенные на груди аксельбанты. Так замер, ощущая великую связь между ними и собою. Мысленно увидел себя на таком же портрете, тоже в мундире, со шпагой, на голубом фоне небесной вышины.

— Предшественники мои, — сказал, — чувствовали все зло крепостного права и постоянно стремились если не к прямому его уничтожению, то к постепенному ограничению произвола помещичьей власти.

Вышел, твердо ступая, вон, невольно подражая родителю. В покоях призвал генерал-губернатора, объявил желание: обнародовать Манифест в последний день масленицы, 5 марта, до сей же поры никаких объявлений не давать и газетам ничего не сообщать, типографских рабочих, изготовляющих печатные экземпляры, домой не отпускать во все время работы,

столицу привести в готовность к выступлениям черни, устроить государю ночлег на половине Великой княгини, его сестры, запряженный выезд держать круглосуточно у дворца со стороны набережной.

Благодарность освобожденного его народа могла оказаться слишком бурной. Князь Долгоруков, шеф жандармов, страстно желая при возмущении жертвовать собой, провел ночь в покоях государя, сидел одетый в углу, положив рядом, на мраморный столик, два заряженных пистолета.

«Положение о крестьянах, освобожденных от крепостной зависимости» читалось во всех церквях, стучали телеграфные ключи под руками ответственных офицеров связи, фельдъегери выехали по сырым мартовским дорогам.

«Божьей милостью, Мы, Александр Второй, Император и Самодержец Всероссийский, Царь Польский, Великий князь Финляндский и прочая, и прочая, и прочая.

Объявляем всем Нашим верноподданным:

Божьим провидением и священным законом престолонаследия быв призваны на прародительский Всероссийский престол, в соответствие сему призванию Мы положили в сердце Своем обет обнимать Нашею Царскою любовью и попечением всех наших верноподданных всякого звания и состояния, от благородно владеющего мечом на защиту Отечества до скромно работающего ремесленным орудием, от проходящего высшую службу государственную до проводящего на поле борозду сохой или плугом.

Вникая в положение званий и состояний в составе Государства, Мы усмотрели, что государственное законодательство, деятельно благоустроая высшия и средния сословия, определяя их обязанности, права и преимущества, не достигло равномерной деятельности в отношении к людям крепостным, так называемым потому,

что они, частью старыми законами, частью обычаем, потомственно укреплены под властью помещиков, на которых лежит обязанность устроить их благосостояние. Права помещиков были доньше обширны и не определены с точностью законом, место которого заступали предания, обычай и добрая воля помещика. В лучших случаях из сего происходили добрые патриархальные отношения искренней правдивой попечительности и благотворительности помещика и добродушного повиновения крестьян. Но при уменьшении простоты нравов, при умножении разнообразия отношений, при уменьшении непосредственных отеческих отношений помещиков к крестьянам, при впадении иногда помещичьих прав в руки людей, ищущих только собственной выгоды, добрые отношения ослабевали, и открывался путь произволу, отяготительному для крестьян и неблагоприятному для их благосостояния, чему в крестьянах отвечала неподвижность к улучшениям в собственном быте...»

6

Воля! Воля! Воля! Из недалекой церкви Трех святителей доносился колокольный звон — сначала тяжкий, бухающий, тревожный, потом веселый, звонкий, переливчатый, оба звона сливались и вдруг замолкали, взаимно погасившись; казалось, сам звонарь не знал хорошенько, чему звонить, как радоваться. Пасха подходила к концу. Звон смолкал, вскидывался, снова смолкал, и становилась слышна медная музыка 1-го Павловского военного училища — за два квартала докатывалась.

Писарев с утра ушел, не разбудив Ивана Петровича, и теперь Хрущов нервно ходил по комнате. Сегодня, 5-го марта, стояло прощенное воскресенье, и надобно было прощать, но Хрущов все равно сердился на Митю — слухи о том, что на улице вывешены объявления о кре-

стьянской воле, что Манифест читается в церквах, уже дошли до мазановских номеров, просочились, как далекая музыка праздника. Хотелось выскочить наружу из каменных стен, самому увидеть, узнать, но Писарев ушел не то к Благодетелю, не то к Кушелеву, у того и у другого наверняка узнаются более интересные новости, и Хрущов решил ждать.

Общее чувство восторга, радостного разрешения после долгих мук не покидало его, восторг не умаляло и недовольство товарищем. Собственно говоря, Хрущов желал похристосоваться с ним, как в первый день пасхи. Христос воскрес! Воскрес! Воистину ли воскрес?

Писарев вернулся под утро.

— Не спишь, Ваня?

Он повесил шинель, несколько раз не попав на палец вешалки, и присел на кровать.

— Ты пьян, что ли, Митька? — весело спросил Хрущов.

— Нет.

— Ну, говори же! Как там? Я тебя до вечера ждал, подлеца. Ждал. Один радовался, перегорело, спать лег. Ну?

Писарев засмеялся.

— Ты что?

— Быстро у тебя перегорело, миленький. Сколько лет ждали, говорили, и за один день перегорело.

Он странно повел головой, как бы указывая на темное окно. Рассвет занимался в полной тишине, невидимо разливаясь сейчас за стеклами.

— Перегорело ли там? — Писарев и пальчик поднял. — Там! Вот что! Ты послушай. А? Послушай-ка, миленький.

Хрущов, приподнявшись на локте, прислушался. Ночная рубаха оттопырилась, открыв шею, он нервно провел рукой по горлу.

— Что? Что? Ну! Ничего же не слышно!

Писарев, довольный, засмеялся снова.

— Да перестань ты выкобениваться, Писарев! Ждал тебя! — Хрущов выругался и повернулся к стене, накрылся с головой одеялом.

— О том и речь, что не слышно ничего, Ваня... Днем шли с Григорием Евлампиевичем — ничего. Тихо. А, скажи, дворники заранее выпороты все — для острастки, войска везде... Тихо. Именно — прощенный день. А простим ли друг друга — бог весть. Готовились — прошло, и конец делу. Так ли? — Писарев зевнул. — Народ темен, ничего не понял в Манифесте. И не благодарит. Да повернись ты. И вообще утро уже, давай-ка, братец, расставайся с Морфеем. Да...

Он взболтнул холодный кофейник, распространявший запах перегорелых зерен, налил себе густой темной жижи, выцедил, поставил чашку.

Усмешка писаревская,двигающая одну лишь из розовых щек, проявилась на правой стороне его лица, левая сторона оказалась темной, страдающей. Словно двуликий Янус, обращенный и в прошлое, и в будущее, Писарев застыл на мазановском стуле; расслаивающийся свет утра делал человеческие черты контрастными, глубокими, страшными...

Весь день сегодня он ходил по улицам в странном каком-то ощущении свершившегося над ним обмана. По привычке, давно и сознательно усвоенной, все в мире примерять на себя, он представил, что Раиса, согласившись выйти за него, вдруг обманула... Или нет, так: вдруг выяснилось, что у нее любовник. И она соглашается стать Раисой Писаревой лишь с тем, чтобы сохранить старые, до замужества установившиеся привязанности. Здравьете вам, господин Писарев, Митя Писарев! Именно так он воспринял Манифест — личное, интимное оскорбление. Чувство потери, охватившее его при чтении, оказалось настолько сильным, что слезы выступили на гла-

зах. Столько ждали! Действительно, столько ждали! Утром, выйдя от Кушелева, они с Благосветловым остановились перед первым же прибитым листом. Распахнув шубу на широкой груди, Благосветлов в заломленном цилиндре, большой, напряженный, глухо говорил, невидяще глядя в огромный лист:

— Ну, Дмитрий Иванович... Ну... Ждите теперь.

— Да,— говорил Писарев тихо,— да.

Читающая толпа стояла плотно, и невозможно было говорить громче и определеннее — каждый третий, считай, был тут на государственной службе.

— Что, братец,— тихонько спрашивал Благосветлов у стоящей рядом чуйки,— воля? Как? Гляди-ка сам.

Синие суконные плечи мужика вздрагивали.

— Мы, барин, неграмотные.

— Что ж стоишь-то здесь?

— Слушаю, барин, что народ говорит,— мужик начал выбираться из толпы.

— Пойдемте и мы, Дмитрий Иванович,— Благосветлов злобно улыбался.— Извозчик! — кричал он бешено.— Извозчик!

Лошадь, вскидываясь, переступала на раскисшей мостовой, сани скрипели под седоками, кованые полозья разбрызгивали последний мартовский снег, норд, разлетаясь по набережной, бил в лоб.

— Гм... извозчик,— спрашивал Благосветлов, затрудняясь,— что, слышал о воле?

Извозчик поворачивался, на миг обращая к седокам сухое обветренное лицо с глубоко сидящими глазами, глаза загорались и потухали, перед седоками вновь оказывалась сутулая спина.

— Слышал, как же... ц! ц! Сказывали, дворовым выходит воля, а нам, на обороте которые, еще не скоро... ц! н-но! Сказывали, через два года... ц! ц! А которые сказывали, через десять лет. О, господи спаси... Н-но, мил-л-лая!

Он вновь коротко поворачивался, показывая жидкую бородавку на иссеченных ветром скулах.

— А это, барин, господин хороший, только так... Не про нас, сказывают, писано... Пуцай!

— Как же это — «пуцай»! — вскрикивал Благосветлов, — обманули вас, обманули, — он привставал, лошадь дергала, и Благосветлов плюхался на бок Писареву, — что за равнодушные такие! Обманули народ, понимаешь ты? Землю не дали!

— Все может быть, барин...

— Оставьте, Григорий Евлампиевич, это просто неразумно. Не понимает он, что ему втолковывают. Я пешком пойду, хорошо? Останови!

— Все он понимает, — сипло говорил Благосветлов, пожимая руку Писарева, — прощайте. Так заканчивайте статью до послезавтра, слышите? Иначе затянем с номером. Впрочем... Ладно, жду послезавтра.

Глядя вслед саням, Писарев почувствовал пустоту в груди. Было так соблазнительно поддаться чувству разочарования, утраты и печали, так знакомо уйти в него, чтобы воспринимать окружающее сквозь серый колеблющийся туман, тоже — так знакомо поднимающийся с берегов, обволакивающий дома, мостовые, людей. Людей, но более не Дмитрия Писарева! «Все он понимает». Как же! Мы не понимаем, что он не понимает, — вот как. Мы впадаем в безразличие. Мы, но не Дмитрий Писарев. Работающему по извозу что? Лошадь накормить, на ночь определить ее в тепло, самому, наверное, определиться как-никак да куда-нибудь, лишь бы лошадь была сыта-напоена. Что ему ваша далекая воля! А что мне его далекая воля? Устал за него волноваться, право слово.

Узкое лицо извозчика напомнило ему похожее, тоже исхлестанное свежим ветром лицо спасшего его прошлой зимой мужика.

Митя храбро отправился тогда через Неву напрямик — стояли морозы, невозможно было и на минуту предположить, что посреди реки останется незамерзшая полынья. Видимо, здесь не так давно брали воду, прорубали лед, и теперь прорубь оказалась присыпанной снегом по затянувшейся пленке тонкого, молодого льда. Полынья ли, прорубь — все едино, бог навел. Шагнув, Митя враз оказался по горло в ледяной воде. Руки, ноги, все тело охватило ледяной тяжестью. Он хотел крикнуть, но лишь издал тихий, горловой звук, захлебнулся слюной и выпустил изо рта пену, что было сил забился, обдирая кисти в кровь об острые грани обломанного льда, ушел под воду. Холодная тьма хлынула в нос, в уши, непреклонной рукой сжала сердце. Митя, желая сделать последний глоток жизни, открыл рот, и тьма хлынула туда широко, навсегда принимая его, и вдруг свет ударил по глазам. Сильная рука, схватив за воротник шинели, вытянула Митю из-под льда, как морковку из земли. В синих, зеленых, красных, в радужных кругах перед глазами возникло тогда, заслоняя свет, это узкое лицо в резких, страшных морщинах. Митя заколотил ногами по снегу.

— Эвоть, эвоть, — говорил мужик, — эвоть, эвоть, эвоть.

Он резко повернул Митю на живот, положил к себе на колено и опустил ему голову. Новая пена вырвалась у Мити из нутра...

Писарев шел недалеко от того места — вдоль дома Академии наук, домой, на Седьмую линию. Еще одно сходное с тем давним чувство — усталости — давало себя знать. Расставшись с Благодетелевым, он ходил по Петербургской стороне, рассеянно взглядывая на заштрихованный туманом шпиль Петропавловки, проглядывающий в небе, откуда ни посмотри, потом пешком перешел на Васильевский, ходил там, стоял зачем-то у Кадетского корпуса — это уже совсем возле дома в двух кварталах;

тем временем быстро за вечерело, наступила ночь, фонари над воротами Корпуса раскачивались, огонек за стеклом, стекая с фитиля, трепетал.

— Так ты, Ваня, значит, радовался? Мы думали, вытащили нас из-под льда, миленький, а во рту все равно одна гадость, — он хмыкнул, — ничего вкусного сегодня не подали. Никаких восторгов никто не изъясляет.

— Думал, будет иначе, — сказал Хрущов.

— Да и я, признаться, думал, что будет иначе... Говорил и повторяю, и написал вчера: величайшая задача нашего времени — умственное освобождение народа, просвещение. Вот тогда будет настоящая воля. Без этого недалеко уедем. И, что бы ни говорили, народ нас не поймет. И понимать, — зевнул снова, — не захочет.

— Не доверяет.

— А мудрено ли? Сегодняшний манифест — первое, что мы сделали для него... Да и сделали-то... Народ не понял потому, что Манифест плох. Плох, Ваня. Надо неуклонно проводить в сознание общества тот идеал, к которому современное общество, собственно говоря, и стремится. Вот так, миленький.

Поставил пустой кофейник на стол, крышка звякнула.

7

Что вспоминать о прошедшем! Пустое. Бессмысленно совершенно. Родительский дом, река, двор. Дом, река, двор — вот и все, что видел до двенадцати лет. Густого, как везде под Тулою, леса не любил, боялся, признаться, обступающих со всех сторон деревьев, перекрещивающихся над головой ветвей, шуршащей под башмаками травы. Куда лучше казалось поле — открытое, исчерканное лишь полосками межей, но поля не любил тоже,

в поле сек глаза ветер, дул в лицо. Отец, Иван Иванович, отставной драгунский штабс-капитан, заставлял ходить, бегать, стрелять из ружья, сажал на лошадь. Митя плакал, потом привык. Единственное, что делал без внутреннего сопротивления отцу, — купался. В первый раз и тонул десятилетним — вытащил тогда кучер за волосы. Не утонул, господь пронес. И после этого случая реки не боялся, плавал отменно, бултыхался вместе с деревенскими ребятами, выбирался на низкий, загаженный коровьими лепешками и козьими шариками берег, выбирая, куда поставить босую ногу, потом — куда лечь, чтобы почувствовать спиной жесткость, беспокоящую, вызывающую опасение жесткость земли. Купался, а после купания предстоял урок русского языка с дорогим дядей Андреем Дмитриевичем, потом урок французского с маман, затем урок немецкого с бонной Юлией Федоровной или гувернанткой Эмилией Францевной. Занимались вместе с Раисой. С Раисой...

И — другой дядя, Константин Иванович, везет на учебу в Петербург. Куда же еще, как не в Петербург? Самый примерный на свете ребенок будет, конечно же, самым доблестным столичным гимназистом, а потом — дипломатом, дипломатом.

«Милая мама и милый, добрый папа! Пользуюсь первым случаем, чтобы написать вам: теперь мы в Сергиевском. Переменив подставу, мы благополучно приехали сюда в 7 ч. вечера. Значит, уже 70 верст разделяют нас; ах, как это грустно; но надо покориться, делать нечего...»

Молодайка, входящая в общую на постоялом дворе комнату для гостей, видела склонившегося за столом барчонок с аккуратнейшим проборчиком. Проборчик и весь барчонок вздрагивали от грохота, с которым молодая обрушивала дрова у печи. Грязный дубленый полушубок истопницы распахивался, узел нетуго завязан-

ного платка расходился. Чистенький барчонок кротко, без испуга смотрел на шурующую в печи женщину. И от нее, и от печи исходили тепло, жар. Дверь хлопала и впускала красного, веселого с мороза дядю Константина Ивановича. Дядя шумно садился рядом за стол, прижимая мальчика рукой.

— И уж письмо стряпаешь? — он хохотал. — Почтительный сынок, ничего не скажешь! — кончики усов у него вздрагивали при смехе так же, как у всех Писаревых, как у отца. Улыбаясь и краснея, мальчик поворачивался, макал перо.

«...Во всю дорогу мне было очень хорошо; я не зяб, благодаря заботам дяди; он мне дал свои перчатки, свою шапку, и вообще был очень добр ко мне...»

Константин Иванович, поглядывая на вносимый той же молодайкой поднос с графинчиком, поощрительно хлопал мальчика по плечу:

— Давай-ка, брат, заканчивай писанину. Пиши: «Все хорошо» и хватит. Ужинать да ехать. Да-с...

«...Прощайте, дорогие родители. Целую вам ручки; да благословит вас Господь. Обнимаю дядю Сергея Ивановича, Раису и Веру. Прощайте, Ваш сын, любящий вас всем сердцем. Д. П.

Р. С. Дядя вас благодарит. Кланяюсь Юлье Федоровне и целую ее ручки».

Что вспоминать? Разве усмехнуться над прилежным гимназистом в мундирчике? Как он гордился мундиром — почти таким же, какой носит Николай Павлович, пуговицами с вензелем. Ну, правда, вензель не совсем схожий с императорским: большие буквы «П» и «Г», а между ними, еще больше по размерам, объединяющая их «З». Третья Петербургская гимназия. Пятиколонный портик, трехэтажное здание покоем на углу Гагаринской и Соляного переулка — район итальянских палаццо, перенесенных в северную Пальмиру. Четвертые классы,

писал он тапан, совершенно не держат строй, не то что мы, старшие!

Примерный, примерный мальчик — с регулярными письмами домой, почтением к родственникам до десятого колена, слезами из-за не вовремя приготовленных уроков и, главное, отличными, примерными успехами в науках. Ясный взгляд его ни разу не замутился пеленой сомнения.

Смерть государя потрясла его. Опять были слезы Молебен по усопшему отстоял истово и потом, уже лежа в постели, все представлял глаза Николая Павловича, гордую фигуру с чуть выпяченной грудью под двумя рядами золотых пуговиц. В небе над государем парил двуглавый орел. Такой же орел парил под императорской короной, а под ним горели слова, вызывающие трепет: «Санкт-Петербургского учебного округа...»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО УЧЕБНОГО ОКРУГА ОТ ТРЕТЬЕЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ГИМНАЗИИ

А Т Т Е С Т А Т

ДМИТРИЮ ПИСАРЕВУ, сыну Штабс-капитана, Православного вероисповедания, имеющему от роду 16-й год, в том, что, находясь в сей Гимназии приходящим учеником с 1852 года, при благонравном поведении, окончил полный курс учения в 1856 году и на окончательном испытании сказал успехи: в Законе Божьем отличные, Математике отличные, Физике отличные, Истории отличные, Географии отличные, языках: в Греческом отличные, Латинском отличные, Немецком отличные и Французском отличные, в Рисовании достаточные...

Чин четырнадцатого класса. Впереди — синий студенческий воротник. Что ж вспоминать! Записать по памяти те, 1856 года, мысли, положить поверх колеблющихся

теней свечи ровные строки: «По математическому не пойду, потому что математику ненавижу и в жизни своей не возьму больше в руки ни одного математического сочинения... по естественному тоже не пойду, потому что и там есть кусочек математики... юридический факультет сух... в камеральном факультете нет никакой основательности... Разве на восточный... Поехать при посольстве в Турцию или в Персию... жениться на азиатской красавице... привезти ее в Петербург и посадить в национальном костюме в ложу, в бельэтаж, в итальянской опере... А вот что: ведь на восточном придется осиливать несколько грамматик, которые, пожалуй, будут похуже греческой... Ну и Бог с ним! значит — на филологический!»

Его Превосходительству
Господину Исправляющему Должность
Ректора Императорского
С.-Петербургского
Университета
Действительному Статскому
Советнику Кавалеру
Виктору Яковлевичу
Буняковскому
Окончившего курс наук
в Третьей С.-Петербургской
гимназии
Дмитрия Писарева

ПРОШЕНИЕ

Желая для окончательного моего образования выслушать полный курс наук по Историко-филологическому факультету, разряду общей словесности, покорнейше прошу Ваше превосходительство о принятии меня в число студентов по вышеуказанному факультету. При сем имею честь представить мои документы: Копию с Журнала

Тульского Дворянского Депутатского Собрания, Метрическое свидетельство о моем рождении и крещении, Свидетельство Докторское и Аттестат Третьей С.-Петербургской гимназии

11 сентября 1856 года

Дмитрий Писарев.

До шестнадцатилетия не хватало двадцати дней. Профессор Ленц, исполняющий должность попечителя столичного учебного округа, написал на университетском запросе: «Я разрешаю».

8

— Держи-и!

Эгоистка, коляска, рассчитанная сугубо на одного седока, грохоча, летела по Невскому, разбрызгивая по вычистившемуся после недавнего дождя воздуху грязные струи. Далекий свист перекликался с ближним, недалёким, люди на всякий случай жались к тротуарам; дама в кружевной, не по погоде, шляпке, остановившись, видимо, размышляла, завизжать или же не завизжать, и все-таки завизжала вслед промчавшемуся господину в цилиндре. А тот уже был далеко. Белый шарф, выбившийся из-под пальто, развевался по ветру, как вымпел флагманского брига, белый рысак ходко выбрасывал и выбрасывал копыта; красный, взъерошенный, необычный ездок промелькнул, словно фантом, и теперь, чтобы увидеть коляску и черную с белым шарфом спину, надо было сойти на прямую, как стрела, мостовую Невского проспекта.

Встречные экипажи на всякий случай держали правее: господин, несомненно, был пьян, рысак у него — звероподобного вида, и бешеная повозка могла смять хоть

кого. Визги и свистки последовательно возникали дальше и дальше, указывая место, которое сейчас миновал обладатель шарфа и цилиндра.

— Держи-и! — опять закричал кто-то далеко впереди.

— Грабб-б-бят! — истошно кричал и сам проезжающий, словно волжский ямщик, везущий пить и гулять славное купечество. Стародавний этот извозчикий выкрик повис в сыром воздухе: — Гряб-б-бят! О-го-го-го! — Безумные глаза веселого господина выжигали встречные лица огнем. Одной рукою держа вожжи, второй он беспрестанно разбрасывал тонкие сброшюрованные книжечки, которые вынимал из стоящего у него в ногах акушерского саквояжа.

— Господи помилуй!

Всплески желтоватых брошюрок взлетали и рассыпались по булыжнику.

— Совсем люди с ума сошли, милостидарь!

Сошедшие с ума — редкие — выбегали на мостовую и, сторонясь экипажей, подбирали в лужах книжечки. «К молодому поколению».

— Это не вам, дядюшка, это мне, хе-хе.

— Ты не молодой, ты вьюнош еще, хлыщ ты, дай сюда, — дядюшка, пыхтя, тащил книжку из рук, — стишки какие-то. Говорю — обалдел народ...

*Я ль буду в роковое время
Позорить гражданина сан...*

«Рылеев» — написано. Слышали-с... Рылеев.

— Дальше читайте, дядюшка.

— «...Государь обманул ожидание народа — дал ему волю не настоящую... государь показал полнейшее презрение ко всему народу... Все это не может и не должно быть прощено...» Так-с... не рви, тише... «Правительство недостойно... долой их». Слышишь — «долой». Господи прости! На, брось, брось, дурила, брось! Пойдем!

Книжка летела прочь, но, растерзанная, оставалась лежать недолго — к ней тянулись уже другие руки. Дядюшка с оборачивающимся племянником быстро удалялись.

«Молодое поколение!.. только в вас мы видим людей, способных пожертвовать личными интересами благу всей страны. Мы обращаемся к вам потому, что считаем вас людьми, более всего способными спасти Россию, вы — настоящая ее сила, вы — вожаки народа, вы должны объяснить народу и войску все зло, сделанное нам императорской властью, вы должны показать народу...»

— Послушай, что происходит? Ты видишь? — Хрущов держал перед собою совершенно грязную, в засохшем песке книжечку. — Я, конечно, за свободу... баррикады... все такое... Но это же просто призыв к мятежу, к бунту! Это не... не революция, если хочешь, просто, говорю, бунт. Вали с раската! Всех вали — царя, министров, управляющих! Эдак же нельзя!

Писарев молчал, подвижное лицо его казалось сейчас непроницаемым. Утром он получил прокламацию по почте.

— К чему это приведет, сам подумай... А напечатано недурно. В Лондоне, небось... Да... В общем, я умываю руки. Я художник, а не политик. Я вообще — уезжаю. Все.

Писарев улынулся одной стороной лица, по-своему, глаз косил:

— Молодец, Ваня. А речи о свободе держал какие, милый мой. Пугливый, пугливый,— Писарев неприятно засмеялся.

— Ты стал невозможен! — закричал Хрущов. Белые, отличные его зубы открылись, словно он кусаться со-

бирался.— Ты и был всегда невозможен! Трунишь, унижаешь, а через полчаса как ни в чем не бывало предложишь банчок!

— Прекрасная идея, Ваня! Давай, я сейчас схожу к Попову. И Благосветлов сейчас приедет.

— А дикие крики, эта удаль молодецкая в твоей «Схоластике», свист этот! Эх! Погибла дружба!

— Ты еще Каткова процитируй — кто такие свистуны и прочее. Вишь ты: как только тебе начинают говорить то, что хочет слышать и знать общество, так ты сразу заявляешь протест. А наше «Русское слово» в обществе находит, миленький мой, нарастающее сочувствие. Потому что общество, в отличие от тебя, думает ясно. Во всяком случае, начинает думать ясно. И я, как публицист, помогаю ему в этом, облегчаю его работу. Свистом — пожалуйста, свистом. Свистну так, как Соловей-разбойник свистел.

— А-а! А-а! Вот и сказал ты это слово — разбойник. Договорился.

— Ну-ну.

— Ты со своим Благосветловым терроризируешь общественное мнение. Не ты ли и писал это «К молодому поколению»?

Писарев и зубом цыкнул, и головой покачал; не совсем ясно было, сожалеет ли он о своей непричастности к прокламации или удивляется Хрущову.

— Нет, не я.

— А не важно, не важно! Молодежь с добролюбовскими статьями носится, как с откровением. Недаром к ним, к ним обращаются. К поколению.

— К нам, Ванечка.

— Да, признаюсь,— Хрущов нервно заходил по комнате, сжимая кулаки.— Признаюсь, и я попал, так сказать, под обаяние... Именно — попал, как в горах под обвал, читал Добролюбова, не отрываясь. И что же? Чувств

мне прибавил Добролюбов, только-то, гнет ощущаться стал тяжелее — только. Так зачем все это, зачем?

Писарев хмыкнул. Темнело.

— Нет, ты ответь!

В квартире Василия Петровича Попова, гвардейского штабс-капитана, преподавателя 2-го кадетского корпуса, Писарев поселился не так давно. Василий Петрович вел редакцию «Русского слова», считался Благосветлову правой рукой. Тихий, невзрачный, он целиком находился под каблуком у жены. А Писарева Евгения Александровна уважала чрезвычайно, Писарев восторженно отозвался о ее собственных писаниях, в «Русском слове» и помещенных, и теперь он хозяйничал в квартире, как в своей. Хозяйничанье состояло в том, что дверь к Попову Писарев открывал в каждую минуту — кроме, конечно, тех, в которые он работал, — требовал Василия Петровича в свою комнату загибать углы: карточная страсть проснулась в Писареве еще прошлой зимой, теперь не давала покоя ни ему, ни окружающим.

— Ответь! Сам мечтаешь о дешевой славе, Митя! Думаешь, с тобою так же, как с Добролюбовым, носиться станут.

Писарев поднялся, маленький, заложил руки за спину, закачался с пятки на носок, розовое личико — в сумерках видно было — побледнело.

— Думаю! Да, думаю! И что же? Я укрепляю общественную мысль, ширь даю общественному сознанию. Следовательно, мои статьи имеют воспитательное значение. Значит, если угодно, — революционное. У меня есть мужество, которого у тебя нет, да, не отворачивайся, мужество решимости. Это мужество и у общества уже есть. Не все спрашивают «зачем?». Есть общее стремление к новому, есть общий протест против старого. Все это выльется в общественный же прогресс.

Я, лично я, я, Дмитрий Писарев, и все... мы... поднимаем мысль к будущему, вот что.

— Ухарство, более ничего. Уж сам ты не револьверщик, Митя? — Хрущов спросил и вдруг вылупил глаза.

— Нет,— сказал Писарев довольно гордо,— нет. Я журналист и больше, как ты говоришь, ничего. Больше ничего. Впрочем...

Писарев вдруг улыбнулся, добрая улыбка преобразила его, черты разгладились, проступило на миг покорное мальчишеское выражение испуга, послушания — все от улыбки, и сразу лицо опять затвердело; он повернулся к бюро, резко поднял затрещавшую наборную перегородку, дернул на себя ящик, вытащил запечатанную колоду и сдернул привычным движением облатку, бросил ее на пол.

— Не угодно ли партию? — сухо спросил, кривясь.— Спрячь книжку-то, кто увидит. Или выброси. Дай сюда,— он потянул из рук Хрущова прокламацию, подошел к печи, сунул в тлеющие угли: по-настоящему еще не топили. Мокрые страницы не брались огнем, потом, вдруг вспыхивая, по листику одна на другой завернулись, сгорая.

Хрущов плюхнулся в кресло, с которого только что встал. Он любил смотреть на огонь, вечно кидал в печь обрывки.

— Будешь ты играть, я спрашиваю тебя?

— Буду.

Писарев вдруг засмеялся — легко, свободно, показывая всем своим видом, что, вот, я хочу играть и буду играть, хочу говорить о своих статьях и буду говорить, а ты будешь со мною играть, будешь меня слушать. Светло глядя на Хрущова, он вздохнул полной грудью, радостно, удовлетворенно: он жил так, как он хотел. Все было прекрасно, замечательно. Это новое для него — сколько? год, два, не больше — сознание собственной

силы, могущества, состояния надмирности, тем более замечательного, полного, чем полнее была юношеская подавляемость, диктат папеньки и татапа. Господи прости, он же еще в прошлом году спрашивал родителей, можно ли ему верхом прокатиться! Ослушание — еще в позапрошлом? или в прошлом году? — представлялось невозможным, как снег в Абиссинии, а вчера он с удовольствием написал к татапа: «Было бы, конечно, изящнее с моей стороны, если бы вместо того чтобы разбрасывать деньги, я ими помогал семейству. Но у меня нет этого влечения; чем больше я вглядываюсь в себя, тем более убеждаюсь в том, что, кроме Раисы, я никого не люблю. Все остальные люди, ты, Верочка, папа, Благодетель, Жуковский, доставляют мне больше или меньше удовольствия, и я сообразно с этим люблю с ними бывать...»

Жизнь доставляла удовольствие, письмо, само написание этого письма, умокание пера в чернильницу, мысль, что сейчас он напишет этим пером слова, полные отстраненности и силы, доставляла болезненное наслаждение. Недаром же и в своей «Схолостике XIX века», только законченной, он совершенно однозначно высказал непреложное: долг, совесть, нравственный закон — все это пустые и вредные иллюзии. Они развращают личность, делают свободного человека рабом предрассудков, закованным в цепи условностей. Не правда ли, это вполне естественно: каждый человек существует для другого лишь настолько, насколько тот приносит ему удовольствия. Так он и написал к татапа. Да, это не теория, не фраза, а самая откровенная исповедь, излагающаяся с тою же откровенностью, каковая и суть в ней. «Как я перестаю видеть человека, так он перестает существовать для меня на время разлуки». Кроме, конечно, Раисы, кроме Раисы.

Сейчас ему казалось, что линия поведения, названная

им «теорией систематического эгоизма», настолько гениально проста, ясна, естественна, что люди должны принять ее враз и — стать счастливыми. Так: человек вправе устраивать свою жизнь, руководствуясь личной прихотью или личными расчетами. Сейчас я желаю загнуть угол. И прекрасно!

9

Писарев хорошо помнит страшное лето пятьдесят девятого года, изменившее его жизнь. Страшное — потрясенный этого лета не забыть никогда. Теперь они снова вспоминались и вспоминались, как начало нравственного перелома.

Весной Раиса писала не часто, но уговор о свидании был нерушим: летом, летом! Варвара Дмитриевна тогда уже не в силах была сдержать сближение Мити с Раисой. В Митино отсутствие она бесконечно баловала племянницу, словно бы искупая подсознательные придирки, которые Раисе приходилось выносить, когда Митя гостил дома, в Грунце.

Первое потрясение ждало сразу же по приезде — Раиса оказалась в Истленеве.

— Как это? Почему?! — он еле сдерживал в миг поднявшееся к сердцу бешенство. Так хорошо, отлично было ехать в коляске по холмам, то ныряя в перелески, то вновь выезжая на открытое пространство зеленей. Так сладостно было мечтать, предвкушать встречу. И — нет ее, не ждет.

— Как это Николай Эварестович не пустил? Какое он имеет право не пускать?! Раиса — не крепостная его, черт возьми!

— Митя, Митя!

— Извини...

Запыленный, он быстро пошел по комнатам.

— Извини, мама, но это невозможно. Нельзя принуждать никого и ни к чему... Здравствуй, папенька,— на минуту гнев спал. Отец привычно вызывал в Мите чувство послушания.

Вышедший из кабинета Иван Иванович подставил щеку. Отец и мать переглянулись. Об отношении Мити к Раисе они говорили, но вскользь, Варвара Дмитриевна опасалась слишком простых решений, до которых Иван Иванович был большой охотник.

— Она, быть может, сама не хочет приезжать,— Варвара Дмитриевна сказала и тут же прикусила язык.

— Сама?! — Митя побледнел.— Да что ты, татам!

— Пойди переоденься,— сухо сказал старший Писарев,— переоденься с дороги, через час,— достал часы, щелкнул крышкой,— будем обедать, за обедом поговорим. Доложишь об успехах своих в университете и вообще.

— Хорошо, папенька. Но только Раиса должна приехать сюда непременно.

Отец не ответил.

Обед прошел без всякой приятности и окончился скандалом, хотя Митя и начал рассказывать о работе в «Рассвете», хвастая напропалую. Отец посмеивался.

— Ну, и сколько ты зарабатываешь в своем журнальчике?

— Достаточно! Пятьдесят рублей в месяц уж точно. И почему — журнальчик? Это весьма солидное издание, уверяю тебя.

Еще не оправившийся от первого удара, Митя отвечал нервно, напряженно. Беспокойство было написано и на лице матери.

— Вот во времена оны,— Иван Иванович потягивался за столом,— в ремонт¹ посылали эскадрон... Хе-с... Бывало, почти выбракованных лошадей брали... Офицеру,

¹ Покупка новых лошадей взамен выслуживших свой срок.

конечно, нужен конь боевой, а нижний чин молчал, порки, хе-с, боялся... А средства отпускались мне, помнится, из полного расчета... Вот и пожалуйста — не пито, не едено, рубликов шестьсот за ремонт — в карман. И писать ничего не надобно, да! А уж выбракованных из полка продавали! А фураж на свой интерес!

Митя отодвинул тарелку.

— Впервые об этом слышу.

— А что ты вообще-то слышал до сих пор? — Иван Иванович снова налил себе из графинчика. — Тебе и слышать-то ничего не надо, молод еще.

— И часто ты так — «на свой интерес»? — спросил Митя, уже и вилку кладя на скатерть.

— Хе-с... приходилось. Случалось.

В воздухе повисло молчание.

Митя бросил салфетку и встал.

— То, о чем ты говоришь, называется казнокрадством.

Иван Иванович покраснел, а Митя еще более побледнел, словно кровь со щек сына чудным образом перелилась на щеки отца.

— Что ты сказал?! — завопил Писарев-старший, вскакивая и роняя стул. — Что ты сказал?! Шенок!

— Я сказал: казнокрадство.

Иван Иванович собрался было броситься, чтобы ударить, но мешал стол — сидели далеко друг от друга, — и только затонал ногами.

— Ты чей хлеб ешь, подлец? А? Чей, отвечай!

— Свой собственный. И, пожалуйста, куском меня не попрекайте, рарá. Лучше бы хозяйствовали здесь с толком. Имение заложено, это уж я знаю отлично. А за мое учение платит Николай Эварестович, а не вы.

— Ах! Ах! — Иван Иванович задыхался, став уже совсем багровым. — Я тебя, подлеца, связать прикажу! — Плюнул прямо перед собой, потом плюнул в сторону

Мити, — Варвара Дмитриевна взялась за сердце, — плюнул, повернулся и, громко топая сапогами, ушел, вдалеке хлопнул дверью и ключ повернул за собой.

— Господи...

Остаток дня Митя бродил по окрестностям. Хотел было поехать верхом, но вспомнил, что отец неукоснительно требовал полного отчета в том, где и когда находится каждая лошадь, что придется просить разрешения взять жеребца, а не только просить что-либо, но и вообще говорить с отцом теперь было невозможно и, видимо, это навсегда. Пошел пешком, благо погода выдалась в тот день замечательной, уходил себя до изнеможения. И думал, думал, думал. Он был потрясен.

Вечером не спалось.

Казалось, сегодня ни физических, ни нравственных сил больше не осталось, ожидал, что провалится в сон, как только закроет глаза, но на самом деле только ворочался на кровати, сбивая одеяло и простыню. Поймал себя на неприятном ощущении — все тело словно бы зудело, горело огнем. Он уже вставал и, шлепая по половицам, ходил обтираться водою — не помогало. В открытое окно лился свежий ночной запах, приправленный духом лошадей — конюшня находилась недалеко от Митиных окон, — но этот дух даже казался приятным. Он снова вставал, торчал у окна, снова ложился, снова принимался ворочаться, закрывал глаза, мысленно считая медведей: один медведь и один медведь — два медведя, два медведя и один медведь — три медведя... Не помогало. Нервное возбуждение оказалось слишком сильным.

В дверь комнаты осторожно постучали, и голос матери тихонько спросил:

— Митя, ты спишь? Митя?

И с матерью говорить не хотелось, но он, подавляя раздражение, ответил:

— Нет... Войди, мама. Я свечу зажгу.

Варвара Дмитриевна осторожно присела на край кровати.

— Успокойся, Митя. И завтра с отцом помирись, прошу тебя.

Писарев лежал на спине, подложив обе руки под голову. Кончилось детство, кончились совместные с отцом купания, стрельба из ружья, поездки, прогулки. И хорошо, что кончились! И отлично!

— Прощу — помирись.

Писарев вздохнул. Вздох никак не выражал и доли происходящего на сердце. Сел на кровати, завернулся в скомканную простыню.

— Мама, как же так?! Мама! — на глазах показались слезы, лицо задрожало, и Варвара Дмитриевна сама начала всхлипывать, видя, как Митя косит глазом. — Мне открываются вещи, которые всем известны, только сегодня открываются. Отец... и ваш брак...

— Что? — слезы Варвары Дмитриевны мигом высохли. — Об этом судить предоставь нам с отцом. Кто тебе тут нарасказывал? Андрей? Твой дядя Андрей Дмитриевич человек слишком легкомысленный, чтобы судить о людях здраво. И я бы не желала, чтобы он стал твоим руководителем в суждениях.

— Руководителем? — Митя неприятно засмеялся, и смех этот болью отозвался в сердце матери. — Все, мама, все, более моим руководителем в суждениях никто не будет. Я буду сам осмысливать факты, ставшие мне известными.

— О чем ты? — в голосе матери прозвучала тревога.

— Об ваших отношениях с отцом, — безжалостно сказал сын, — об отце, об Николае Эварестовиче.

— О твоих родителях. О твоём благодетеле. Безнравственно! Неприлично!

— Да. Печально это, спору нет. А нравственность и приличие... Магическую силу эти слова для меня утра-

тили.— Жестко сказал: — Теперь я буду жить только разумом. Будут ли друзья, близкие люди, не знаю. Будут — хорошо, нет — обойдусь. Безо всех — слышишь ли ты? — безо всех обойдусь. Безо всех,— повторил в озлоблении.— И утешение буду искать только в области мысли.

— Я не спору, но...

— И не надо спорить. Бесполезно.

— Я хотела только сказать, что ты собирался, кажется, заниматься наукою, тут, конечно, надо отвлечься ото всего, что мешает мыслям. Быть может, это,— она затруднилась, но все-таки сказала,— в конце концов пойдет на пользу тебе.

— Прекрасные слова! О собственной пользе только и стану думать. А науку — побоку. Есть более жизненное занятие, приносящее мне, мама, больше удовлетворения. И больше капитала, — засмеялся, но все еще зло, неприятно. — Буду писать. Отныне я желаю передать окружающим то, что сам понял сегодня — необходимость самостоятельно мыслить. Пойми, мама, сегодня новый мир для меня открылся. В конце концов, дело не в том, что мой отец оказался нечистым на руку, а брак моих родителей — не таким счастливым, как мне это показывали.

Почти не видимая в полумраке, Варвара Дмитриевна опустила глаза. В колеблющихся тенях лицо сына казалось необычно одухотворенным. Огонек свечи плясал, тени дрожали и на потолке, и на полу, раскрытые створки окна темно зеркалили.

— Пойми: благополучная картина жизни начинает разваливаться. Семья, Раиса, мои отвлеченные занятия филологией и историей — все развалилось.

— Ну, сразу, в один день.

— А в обществе что делается! — он говорил, словно в забытии.— Я все видел, но до моего сознания как-то,

право, не доходило, что происходит вокруг. Весь мир разваливается. Народ дик и угнетен, безграмотен, помещики тоже дики. Рабство везде, рабство в собственном доме. Отец меня — слышала за обедом-то? — обещался связать.

Помолчал.

— Передай, кстати, ему, что, если он всерьез свою угрозу выполнит, ноги моей в этом доме более не будет.

— Да полно, Митя, полно. В сердцах он сказал.

— Но ведь смог так сказать, сама мысль такая ему в голову мгновенно пришла, не правда ли? Со всей естественностью. И так везде, не только в семье. У нас в государстве любой человек — раб другого человека — того, кто власть может употребить. Мерзко. Не-ет... Только практическая мысль может вывести из состояния рабства — и меня, и всех людей. Сам Александр Николаевич желает рабство уничтожить, Россия волнуется. Андрей Дмитриевич мне сказал — Куреповых сожгли. Правда?

— Правда, — Варвара Дмитриевна перекрестилась. Куреповы были одни из соседей. — Команда конная потом присылалась. Курепов сам наказанием распоряжался.

— Вот-вот. И рарá, — издал смешок, — дождется от наших того же. Слышал я вечером — по-прежнему лихо распоряжается в поле.

— Тинун тебе на язык, — опять перекрестилась и замахала на сына рукой. — Боже сохрани.

— Бог тут ни при чем. Целая комиссия заседает. В Петербурге только и разговоров, что о реформе. А в журналах! Но никакая реформа невозможна — теперь понимаю очень ясно, — пока мы сами не изменимся. Так вот, буду теперь писать. Я, понимаешь, я сам скажу об этом мыслящей России!

— Бог тебе судья, Митя, — со вздохом Варвара Дмитриевна поднялась, — делай как считаешь нужным, я тебе противодействовать более не могу.

— К твоему сожалению.

— Да. Ты вырос. Прошу об одном: с отцом помирись, найди какие-то слова. И на Веру дурно не влияй. Она послушная девочка и такую впредь должна оставаться. Она по-французски уже лучше меня... и фортепиано... и все. Мне бы не хотелось... Словом, ты меня понимаешь.

— Извини, извини,— опять засмеялся,— буду говорить все, что думаю, буду делать так, как хочу. Впрочем... Впрочем, я, пожалуй, скоро уеду. Но с одним условием.

— Да?

— Ты поедешь в Истленево,— сказал Писарев, не замечая, что сам говорит вполне отцовским тоном,— поедешь в Истленево и привезешь сюда Раису.

— А не поедет? — кротко спросила мать.

— Не поедет — привезешь ясное от нее письмо. Тогда сразу уеду. И прекрасно проведу каникулы в Петербурге.

— Хорошо.

...Сейчас вспоминалось все это. И письмо с отказом от Раисы, привезенное мамой, и отъезд, и потом — зимние дни в Москве с Раисой и Петей Гарднером, прогулки на Воробьевых горах. «Как время летит!» — банальная фраза мелькнула в голове. Жизнь изменилась на глазах. Его перо обрело полную, он полагает, силу, он печатается в одном из лучших журналов России, с «Рассветом» покончено, рассвет уже прошел, давно наступил день.

Петя Баллод, бывший сосед по мазаповским номерам, и Владимир Жуковский, юрист, тянули с Писарева обед в честь переезда на новую квартиру.

Баллод, высокий малый с остзейскими усиками, боль-

шею частью держался молчком, а если что говорил, то выражался кратко. Так:

— Зажулил угощенье, Писарев.

Крупные губы Баллода не улыбались.

Отец Баллода, Давыд Андреевич, был первым в России православным священником из латышей, о чем Петр однажды скупо упомянул. Давыд Баллод начинал проповедником общины гернгутеров, исповедующих непотворение злу, однако бароны все равно были возмущены: Баллод — что особенно не нравилось немцам в Риге — службы вел на латышском языке, говорил с каждым крестьянином, у него в церкви все это быдло чувствовало себя как дома. Бароны отвечали притеснениями. Тогда Давыд Баллод выкинул совершенно непредсказуемый номер — вся община, и за нею сто тысяч латышей и эстонцев перешли в православие. И сыну Петру настоятель Ляудонского прихода передал по наследству крепкий характер.

Баллод числился на третьем курсе математического факультета. Говорил он мало, негромко, но делал, кажется, больше, чем говорил.

Владимир Жуковский, один из трех братьев Жуковских, часто появляющихся в номерах, вихрастый молодой человек, только что окончил курс юридического факультета и ждал назначения. И его, и его брата Николая с Баллодом связывала какая-то особая дружба, о которой можно было только догадываться.

5 сентября собрались, наконец, у Дюссо — отметить. Благосветлов заплатил за вторую часть «Схоластики», идущей в сентябрьский номер, проигратся Писарев не успел, теперь сорил деньгами. Было у него рублей полтора в кармане. Набор сентябрьской книжки подготовили два дня назад, нецензурованный оттиск вместе с начкою кредиток согрел сердце под сюртуком.

Писарев провел приятелей за лакеем — в отдельную комнату под низким, с лепниной, плафоном.

— Пожалуйте-с... гости дорогие, — лакей, чистый, сытый, изогнулся, масляная морда — ну, профессор, профессор, ни дать ни взять профессор — выразила некоторое сомнение: слишком молоды все трое. — Смирновская холодненькая имеется, пикон, портвейн Лева, пожалуйста, рябиновая Шустова — нектар, тает, господа, во рту-с...

— Шампанского! — сказал Писарев, вскидываясь, — милый мой, шампанского.

— Солянку давай, — солидно распорядился Баллод, — телятину лучше.

— Что вы-с... Как простыня девственницы, белая, телятина-то.

Враз заржали.

— Янтарь — балычок-с...

— Давай.

— Салат оливье... Зелень, что майская... Икорка астраханская...

— Сооружай, брат, сооружай, неси на свой вкус, — Баллод выставленной ладонью остановил угощающего лакея, — неси, нечего баснями кормить. Сегодня, вишь, Дмитрий Иванович угощает.

Лакей, затверживая улыбку, мазнул взглядом по Дмитрию Ивановичу, повернулся и пропал: — Момент!

Выпили по первой.

— Сегодня именины Раисы, пьем ее здоровье, — Писарев встал, и Баллод с Жуковским поднялись тоже. — Единственный человек, о котором я не забываю никогда, — невеста...

— Бывшая. Сам говорил.

Он отмахнулся:

— Перемелется — мука будет. Да... Выйдет сентябрьская книжка — поеду к ней, разберемся, что к чему. Да, собственно, ей никогда ни с кем, кроме меня, хорошо не будет, миленькие мои, это точно.

— Хорошо, когда человек в чем-нибудь твердо уверен,— сказал Жуковский, поедая салат. Спаржа блестяла, словно масло.

— Ну, уж в себе-то я уверен полностью, Володя. А Раису, надо будет, так можно и убедить, еще раз.

— С твоими же теориями это плохо согласуется — убедить. Убедить — значит до конца настоять на собственном постулате.

— Ну,— Писарев засмеялся,— строго проведенная теория как раз и ведет к стеснению личности. Зачем себя самого, ребята, истязать? Я так ей все представлю, что она сама — ясно вам, в чем разница? — сама свой выбор сделает, окончательно. А вообще... За нас!

— За дружбу! — сказал Баллод. Рюмки звякнули.

— Вообще же к черту всякие теории. И мои в том числе.

— Во как! — удивился Жуковский.— Врешь, Митя.

— Теории — дело бездарностей. Кто по собственной дороге не может идти, тот и должен встать на чужую колею, как машина на рельсы. Покатил, думать не надо. Кто думать не умеет, тот и теории рад. Что в жизни, что в литературе. Вот,— он полез рукой за пазуху,— извольте-ка, миленькие мои: окончание моей «Схластики». Задам Каткову перцу!

— Дай-ка.

Баллод сунул нос в отпечаток верстки:

— «...ни одна философия в мире не привьется к русскому уму так прочно и так легко, как современный, здоровый и свежий материализм». А дальше что?

— А читай.

— Может, потом? Что это мы — в ресторане...

— Читай, читай.

— «Если бы все в строгом смысле были эгоистами по убеждениям, то есть заботились только о себе и повиновались бы одному влечению чувств, не создавая себе

искусственных понятий — идеала и долга и не вмешиваясь в чужие дела, то, право, тогда привольнее было бы жить на белом свете, нежели теперь, когда о вас заботятся чуть не с колыбели сотни людей, — читал Баллод, усмехаясь, — сотни людей, которых вы почти не знаете и которые вас знают не как личность, а как единицу, как члена известного общества, как неделимое, носящее то или другое фамильное прозвище».

— Ну, так, — сказал Жуковский, — и народец пусть делает, как хочет, как желает. За это поднимем... эти... содвинем их разом.

Глядя с Баллодом глаза в глаза, они чокнулись. Водка плеснулась. Откинувшись, Писарев слушал чтение собственной статьи с удовлетворением на лице, словно погрузившись на миг в облако отрешенного самосозерцания.

— Митька, очнись. За свободу!

Глоток встал поперек горла, Писарев закашлялся, двигая руками и показывая, что надо читать дальше.

— Э, брат, слаб ты. На, на, закуси рыбка. Эх ты!

— Я сам прочту. Слушай, — он прокашлялся. — «Вас затрудняет, может быть, один вопрос: как согласить эти эгоистические начала с любовью к человечеству?»

— Действительно, как же?

— «Об этом нечего заботиться, — продолжал он читать. — Человек от природы существо очень доброе, и если не окислять его противоречиями и дрессировкой, если не требовать от него неестественных нравственных фокусов, то в нем естественно разовьются самые любовные чувства к окружающим людям, — читал Писарев, несколько спотыкаясь, водка в смеси с шампанским оказывала действие, — самые любовные... и он будет помогать им в беде ради собственного удовольствия, а не из сознания долга, то есть по доброй воле, а не нравственному принуждению». Вот так! Что, снимет цензор?

— Да никогда! Никогда в России никакой цензор никакого бреда ниоткуда не снимал. Можешь быть совершенно спокойным.

— Петр!

— Тихо-тихо-тихо,— сказал Жуковский, вытягивая губы трубочкой,— тихо, тихо, братцы.

— Удобный у тебя материализм, Писарев, нечего сказать.

— Давайте лучше выпьем. Выпьем лучше!

— Выпьем... В практической жизни мы все материалисты, все поступаем в лад с теорией. Я говорю о теории нравственности, в которую мы заключены, как в клетку. В клетку! — он хотел ударить по столу кулаком, но раздумал.— В сфере мысли...

— Черт с ней, со сферой, с мыслью...

— Правильно!

— Нет, извини... Из-звини, Володя. Мы заражены крепостничеством, оно в нас сидит крепче крепкого. Мысль только и может освободить народ.

— Так, так.

— Мысль, а не... — он оглянулся,— не царь.

— Смотри-ка, оглядывается, ха-ха-ха.

— Но мысль не отвлеченная, не шевеление мозгами ради медицинской гимнастики, а мысль, основанная на факте, реальности, мысль, приводящая к конкретным выводам. Не теория вообще, а заключение, делающее человека свободным.

Он остановился, вслушиваясь в то, что произнес, засмеялся. Баллод с Жуковским засмеялись тоже, вместе с ним, потом, поняв, что его рассмешило, снова засмеялись.

— Свободное заключение — твоя теория, Писарев. У тебя тоже — теория, и ты в ней заключен, отчет себе не отдавая. И сам ты мыслишь, а другие внимают,— Баллод растянул это слово,— внима-ают. Народ. А? Народ? Мужички?

— Да ничего подобного! Ни-че-го по-доб-но-го! Монополия мысли — самое подлое, что можно придумать. Наоборот, я пишу же здесь. Мысль как раз сглаживает различия между сословиями.

— Тютя! Что сглаживать! Народ надо учить. Вести его. Разъяснять ему. Направлять. Он поумнел, но мыслить-то все еще не умеет.

— Позволь... Я то же самое говорю. О чем мы спорим?

— О манере, Митя. О действии. О том, как твоя теория... да, твоя теория к практике тобой прилагается.

— А так: я желаю съесть этот грибочек — и съем,— Писарев размашисто ткнул вилкой в дно фарфоровой тарелки, на которой был изображен петух.— Я, Петя, журналист, публицист. Ты о чем говоришь? О действиях? Мое дело — перо, а не шпага. И мое перо поострее некоторых шпаг! Ты... ты... о чем говоришь? — язык Писарева не заплетался, но видно было, он уже с трудом слышит себя.— О пропаганде?

Тут обернулся и Жуковский:

— Тише, вы.

— Умственная и нравственная пропаганда есть посягательство на чужую свободу. Я не желаю заставлять читателя становиться на мою точку зрения во что бы то ни стало. Я как раз и желаю, чтобы читатель думал. Сам! Думал! И сам выбирал свой путь. Я... не пропагандирую.

— Ну, и сам противоречишь себе же. Раису собираешься убеждать, настаивать на своем.

— Раису,— Писарев медленно, с убежденностью хмельного, наклонил голову, соглашаясь,— Раису убеждать буду. Да. Пропагандировать.

Утро четырнадцатого сентября припозднилось. Вчера день окончился поздно, теперь необходимо разобраться в произошедшем. Времени на сей разбор, как всегда, нужно немного. Решения он принимает быстро. Быстро, четко, безошибочно, чего и всем вам, милые друзья, искренне, совершенно искренне желает.

У Кушелева Писарев как-то познакомился с милою женщиной, вдовой надворного советника Жабина, Ангелиной. Он простер свое любопытство до того, что приехал в Нарвскую часть в дом надворного советника на Троицком проспекте, сидел там за столом, тасуя колоду, выпил без счета чаю и охотно познакомил надворную советницу Ангелину Николаевну со своими планами относительно публикаций в «Русском слове». Ангелина, высокая, тонкая, сидя, как изваяние, или рассчитанными движениями разливая чай по чашкам, слушала, время от времени взглядывая Писареву в глаза. Ее портила только свежая, нервная складка возле губ. Белая прозрачная кожа точь-в-точь походила на кожу Кореневой. И так же, как у Раисы, у нее на виске тихо-тихо билась нежная голубая жилочка. Голубая с белыми кружевами блузка довершала впечатление большой, дорогой фарфоровой куклы, которое производила Ангелина. Вдруг осекшись, Писарев приблизился к женщине и, словно бы опасаясь разбить, осторожно притронулся двумя пальцами к ее белой щеке. Ангелина медленно, как лошадь, повернула голову, медленно улыбнулась холодной улыбкой, медленно взяла Писарева за руку, встала, выпрямившись уже, казалось, до невозможных пределов. Что-то действительно лошадиное, оставшееся в сознании, закрепленное памятью, всплыло потом, сейчас же она будто бы демонстрировала стати, экстерьер — холку, круп, плечи и все остальное прочее, находящееся, надо признать, в отменном порядке.

Через год Писарева окатила волна стыда, неприязни — к самому себе прежде всего, когда он вдруг увидел ее в коридоре III Отделения. Она шла, неотрывно глядя перед собой, и, доверительно наклонившись к ней, секретарь, писаришка маленький, нашептывал, чуть не облизывая губами ее мраморное ушко, — шептал. Но это потом волна окатила, схлынула — что же, сам виноват; а сейчас этот прилив, шумящий в теле кровью, тоже был отчетливо слышен: в ушах стоял неумолчный гул катящейся под ноги пены...

Писарев ездил к Жабиной неделю, оставил работу, все что ни есть. Ездил целую неделю, возвращался под утро, уставший, продрогший, телепался через весь город, ехали кругом, чтобы попасть на перевоз Горного корпуса у Нового Адмиралтейства, ждали там еще целую вечность.

Ничего страшного, слава богу, не произошло, ничего такого особенного сказано не было — только то, что говорилось тогда в десятках кабинетов и гостиных. Образ Раисы, с ясною болью возникающий перед глазами по утрам, — одно это отравляло; тринадцатого, в последний день пребывания в Мазановских номерах, Писарев решил больше ко вдове не ездить, но все-таки, убеждая себя, что поступает так, как ему желательно в настоящую минуту, что никому не мешает, а, напротив, лишь доставляет сугубое удовольствие себе да одинокой женщине, все-таки поехал...

— Дмитрий Иванович! Вы спите еще?

Когда утром Попов постучал к нему в комнату, Митя решил, что хозяин квартиры сразу желает сделать ему отеческое внушение. Что-то подобное уже говорила на днях мадам Попова.

— Да, — Писарев недовольно прокашлялся, повернулся на постели, был бледен, — да, еще сплю.

Попов минуту помолчал за дверью, потом, затрудняясь, сказал:

— Я, Дмитрий Иванович, уйду в корпус.— И без перерыва: — Михайлова сегодня утром арестовали, Михаила Ларионовича.

— Хорошо, Василий Петрович,— сказал Писарев сквозь сон, из-под локтя,— я сплю еще... Хорошо...

Попов потоптался за дверь, потом каблуки его простучали по паркету коридора, хлопнула дальняя дверь. Писарев закрыл глаза, погрузился в тягучую утреннюю истому. И словно воздушной волной ударило в мозг: «Арестован! Михайлов!»

— Василий Петрович! — заорал Писарев, вскакивая.— Подождите, Василий Петрович! — Путаюсь в рубашке, выскочил из комнаты. Попов, выходя на улицу, махнул рукой: — Вечером, что уж.

Поджимая босые ноги, Писарев вернулся в комнату, сел на смятую постель. Лицо горело. Господи, за что? За френологию свою любимую — с нею Михайлов носился как с писаной торбой. За статью о женщинах? Не за это же, в самом-то деле!

Он, стараясь прийти в себя, гадал и не мог найти объяснения случившемуся, но в закоулках сознания уже яснил, определялся ответ.

Михайлова Писарев впервые увидел на одной из сред у Шелгуновых. Николай Васильевич Шелгунов, подполковник корпуса лесничих, изредка печатал в «Русском слове» статьи и переводы, весьма, кстати, дельные статьи. Шелгуновы жили открыто. А Михайлов, кажется, комнату у них брал, и разговоры об этом совместном проживании ходили разные. Царила на вечере жена Шелгунова: когда она поминутно подавала ручки для поцелуев, можно было видеть, какие отменные были ручки у Шелгунихи. Она подавала ручки, к которым прикладывались все без исключения, и Писарев приложился тоже, царапнул кожу твердым своим подбородком с ямочкой. Шелгунов поглядывал мягко, насмеш-

ливо, говорил тоже насмешливо, но твердо. И «Люденька, Люденька» — жене. Шелгунов Мите понравился. Однако на средах у них он тогда сразу же решил более не бывать. Разговор о парижских кокетках, который усиленно поддерживала Людмила Петровна, разговор, вполне отвечавший тогдашним Писаревским настроениям, ему почему-то не понравился. «Полная, господа, свобода». Ну, полная и полная, хорошо, что полная. В карты у Шелгуновых не играли, и Митя своим правом на полную свободу воспользовался сразу, как только позволили приличия, — ушел. Шелгунова рассеянно протянула ему руку. Маленький, ловкий Михайлов быстро поднялся, худенький. Ладонь у него оказалась еще меньше, чем у Писарева, но рукопожатие — сильным, энергичным.

Ответ уже определялся в закоулках сознания.

Как-то гуляя, они с Баллодом вернулись к себе на Седьмую линию поздно, и — пожалуйста — Лисенков, лакей мазановский, подает пакет с сургучом! «Дмитрию Ивановичу Писареву». Писарев содрал бумагу: «Великорусс» — плохим шрифтом на серой бумаге излагались весьма радикальные идеи. Баллод искоса смотрел, как Писарев жадно читает подметные листки.

— Кто принес?

— Не знаю, Дмитрий Иванович, я в кухне-с занимался. А в дверь позвонили — маленький, черный весь, кажись, татарин был.

Баллод хмыкнул.

— Ей-пра, татарин.

— Ладно.

Возможно, что-то общее находил он у Михайлова с собою, отчасти и ревновал: Михайлов считался лучшим в России переводчиком Гейне. А он из Гейне переводил тоже. Конечно, он себя уважает и ставит высоко, но в переводах ему с Михайловым никак не равняться. Сей-

час он вспомнил то лето, фигуры Хрущева и Веры, удаляющиеся, вот уже скрывающиеся под деревьями, из окна он тогда мельком взглядывал во двор и снова переводил, как нанятый. Пропасть тогда перевел из Гейне, пропасть. А напечатал только «Атта Тролля». «Надо и прочее предать гласности», — подумал некстати, стараясь отдалить ответ: за прокламации и взяли. Прокламации, считай, в каждом приличном доме водились, у кого не было! А Михайлов очень походил на «татарина», виденного Лисенковым. Писарев вспомнил Михайлова в ту среду, взмахивающего руками. Черный сюртук с шелковой оторочкой, узкие глаза, открывающиеся еле-еле веки — все придавало ему сходство с большой черной птицей, поднимающейся в отлет. Хотя, может быть, конечно, и не он разносил прокламации. Лисенков — дурак. А Михаил Ларионович — человек осторожный. Осторожный — и пожалуиста...

Сидя на кровати, Писарев попытался понять, что он чувствует сейчас, боится ли чего. Боится?! Нет, не боится... Тогда что же? Любишь кататься, люби и саночки возить — до самой, может быть, Сибири. Разве не разделяет он воззрений Михайлова? Не во всем, но во многом. Ну хорошо, Михайлов начал действовать. Кому теперь лучше от того, что поэт сидит в каталажке? Кому? Себе плохо, близким огорчение, а народу какая польза?

Медленно начал одеваться: на жилете не сходились петли с пуговицами — перекошил жилет, наконец застегнул правильно. Мысль о петле родила еще одну, не совсем приятную ассоциацию. Как всегда, думая, встал у окна.

Да, разделяет... Нет, не боится.

Не у него ли, публициста Писарева, только что, ну, только что, который месяц-то пошел, снял цензор из «Схоластики»: «Если вы слишком натянете струну —

она лопнет. Если голодный народ дойдет до крайней степени страдания — он взбунтуется». Что это, как не призыв к бунту?

Но он-то, Писарев, когда и кто у него ни спроси, против любого бунта. Он полагает, что русскому человеку прежде всего воспитать себя необходимо. Прежде всего — внутреннее освобождение... И каждому сейчас надо на себе, милые мои, сосредоточиться, с себя начинать. Баллод Митину философию называл деревянной, Жуковский над ним открыто посмеивался.

Башенные часы в кабинете Попова — слышно было глухо — начали бить полдень. В квартире стояла тишина. Оделся, провел по себе руками, словно приготавливаясь к визиту ли, к разговору сугубому, особенному какому-то? Вытащил часы, подарок Кушелева: да, двенадцать... А я не к бунту призываю, а доказываю, что ныне бунт вполне может произойти, если никто ничего не намерен изменить в окружающем.

Однако ж, миленький, будь готов и ты.

А это, всеми замеченное и, кстати, одобрительно подчеркнутое на Митиных глазах крепким желтым ногтем Шелгунова: «...как только зло или, проще, неудобство общественного устройства становится невыносимым для большинства граждан, так это устройство и сваливается, как засохший струп, как бесполезная чешуя».

А это: «Протест был насущной потребностью русского общества в лице наиболее развитых его представителей».

Он, Михайлов, волен был протестовать. И я, Писарев, волен тоже. Мы все в клетке, мы чувствуем гнет, систематический, беспощадный. Как посмотреть! Пределов у клетки нет, так мы будем считать себя свободными! Свободными, и все тут! И не надо хитрить с самим собою — пределы эти видны: умственное и нравственное рабство отравляет существование.

Не так ли и написано, не так ли и напечатано только что?

Кажется, сейчас впервые со всей определенностью он попытался ответить себе честно, что, собственно, заставляет его быть литератором. Деньги? Да, деньги тоже. За три-четыре дня он может заработать столько, сколько, скажем, получает в месяц преподаватель провинциальной гимназии. В «Рассвете» с этого и началось, вспомни, с этого и началось, с этого и пошли ссоры и с институтскими друзьями — Майковым, Скабичевским, Трескиным. Они-то занимались наукой, а он... Деньги? Да, и деньги, но главное — возможность высказаться, надежда чему-то — ясному, верному, правильному — научить... хоть и девиц для начала, развить спящие мышление, нравственность. Да не одни же и девицы читают «Рассвет»! А теперь! «Русское слово» — не фунт изюму. Не его ли статьи сделали журнал популярным, растет подписка не из-за его ли трудов, не его ли мыслями думают, не его ли словами говорят лучшие? Но главное, он живет, живет!

Выглянул на улицу уже не рассеянно — какова погода: брать ли зонт, или можно обойтись одной тростью? Зонт брать, брать. Отрешился от мыслей о Михайлове, перешел к собственным заботам.

Что Раиса? Сколько уж времени, с мая гостит на Волге, пора и честь знать. Пора им обоим приниматься за работу. Тут он Раису, признаться, несколько... Не несколько, а много... Слишком даже. Ну, сама виновата, сама — нечего такие письма присылать. Это месь, пускай так, теперь они квиты, можно начинать все снова. Даже не начинать — к чему? — продолжать. Связаны одною судьбой, что уж.

Он усмехнулся своей мысли о судьбе. Просветитель! Но очевидного отрицать никак невозможно: связаны. И не развязать. Он уже получил холодное, равнодуш-

ное письмо с отказом. Письмо ошеломило его. Нечего такие письма присылать, нечего. Никуда не денешься от меня. На миг охватило холодом — так-таки и никуда? Но выиграло ретивое — никуда!

Значит, что? Ехать за Раисой, привезти ее сюда. Жить вместе. Поговорить-ка, кстати, с Григорием Евлампиевичем: он большой специалист по женской душе, посоветует что-либо наверняка. Ехать за Раисой и — сейчас... ехать к Жабиной. Порвать раз и навсегда.

Очутившись на Троицком, Писарев потянул знакомую дверь, выпустившую его — полдня не прошло. Стеклопанная дверь оказалась запертой. Молоточек издал царапающий звук. Тихо. Процокали за спиной копыта, со скрежетом повернулись по сырой мостовой колеса, извозчик уехал. Писарев сделал было движение — вернуть, что здесь выстаивать, но постучал снова — должна быть дома. Он попытался увидеть сквозь темное стекло, разобрать, что происходит в прихожей, есть ли кто. Стекло зеркалило, но какое-то движение он разобрал. Вдруг тень заслонила взгляд, Писарев отпрянул, дверь отворилась, и Писарев вылупил глаза: прямо на него медленно вышел плотный господин в треуголке. Длинный плащ закрывал его целиком, но в распах четко виднелись красный воротник и две верхние пуговицы на черном мундире. Военный остановил воспаленные, с узором прожилок глаза на лице Писарева. Толстый ус шевельнулся над красным воротником. Господин повернулся и медленно двинулся прочь, за ним тут же выскользнул из дверей штатский, остановился, не скрываясь, осмотрел изумленного Митю и, прежде чем тот успел что-то сказать, бросился следом за первым. Писарев потом с презрением вспоминал собственное замешательство.

Жабина стояла у края лестницы, словно статуя. Он натолкнулся на ледяной взгляд Ангелины и тут поду-

мал, что эти холодные, словно у рептилии, глаза не загорались даже в минуты, в которые у всех людей должны светиться. Наконец она улыбнулась, но улыбка эта больше не возбуждала желания.

— Это родственники мужа, что ж вы встали, Дмитрий? — она четко произнесла имя. — Сегодня я не ждала, но заходите же. Это родственники мужа, мы говорили о наследстве. Мне приходится получить, — она усмехнулась, — некоторую сумму. Мне надо жить в соответствии с привычками, которые приобретены. Не так ли? Дмитрий.

Писарев выдохнул — фу-у-х, заговорил так же четко, радуясь:

— Я приехал сказать, Ангелина, что... не приеду более. Простите и прощайте. Я... виноват, но иного исхода видеть не могу сейчас, изменившиеся обстоятельства меня принуждают. Да. Простите, — он повернулся.

— Пойдите, — Жабина быстро взяла его за рукав, — что вы намерены делать? Что предпримете? Дмитрий.

— О чем вы? — он смотрел недоуменно.

— Ну же! Вы говорите об аресте Михайлова, Михаила Ларионовича Михайлова, литератора. Вы знакомы с ним, я знаю, вы боитесь бросить тень на меня. Вы благородны, — узкие глаза женщины смотрели неотступно, — но надо же что-то предпринять. Может быть, — она понизила голос, — освободить? Дмитрий. Освободить? Я... желаю участвовать, Дмитрий. Забудемте наши отношения, будемте с вами друзьями, товарищами. Располагайте мной!

Писарев с удивлением увидел, как по белой коже пошли розовые пятна, возникая, исчезая и возникая снова. Он хотел ответить, замешкался, еще, кажется, захотел что-то сказать, но только мягко высвободился, поклонился и вышел...

День прошел — Писарев по просьбе Шелгунова собрал деньги в пользу Михайлова. Через неделю собрал около восьмидесяти рублей, а Шелгуновы — куда больше. Людмила Петровна пользовалась широким кругом знакомств, да и попросить умела. Воскресный день всегда пролетает, как миг единый, а этот оказался долгим.

В двенадцать у Кушелева в бильярдной собрались человек сто литераторов. В памяти осталось, как Степан Громека, подполковник железнодорожной жандармерии, публицист, прилежный разоблачитель недостатков в работе полиции, пишет на бильярде прошение о Михайлове министру народного просвещения адмиралу Путятину. Решили, что подпишут только тридцать человек — от сословия литераторов. Очень все гордились принадлежностью к сословию, оказалось — напрасно.

— Немедленно и идти, господа!

— Воскресенье, что вы!

— Домой идти!

— Не примет же!

— Депутацию примет — десять человек.

— Пятерых.

— Троиш,— не разгибаясь, капая чернилами на зеленое сукно, веско сказал Громека от бильярда,— троих.

Выбрали депутацию к адмиралу: самого Кушелева — солидность, положение в обществе, Краевского Андрея Александровича, редактора «Отечественных записок», журнала, лояльного к правительству, и Степана Степановича Громеку, чтобы так и шел, как сейчас, — в форменном сюртуке.

— Саблю еще нацепить...

Громека тяжело усмехнулся:

— Без сабли демократии больше.

Пошли втроем, уселись у адмирала в приемной, как не известные никому люди. Краевский нервничал, Кушелев ручки потирал — тоже не по себе, не привык, один Громека молча усмехался в тараканы усы. Наконец с лестницы сошел юный чиновник, удивительно напоминающий мичманка:

— Ваше сиятельство граф Кушелев? — дискант звучал надменно. — Извольте пройти.

Кушелев покраснел, и Краевский покраснел тоже.

— Идите, — Громека даже подтолкнул графа логонько в спину, подтолкнул, подполковничью пасть свернула непроизвольная зевота: — Идите, идите, все одно...

И вышло — пустое. Адмирал заявил вполне резонно, что сословия литераторов в России не знает и до себя петицию принять не может.

— Извольте, если угодно, передам управляющему III Отделением его величества канцелярии графу Петру Андреевичу Шувалову. Угодно?

Кушелев, не зная, что ответить, молчал.

— Да и сужденья, признаться, совершенно детские, граф. Выносите приговоры, лишённые здравого смысла. И о лицах, до дел которых сами не касались... Не так ли? Или касались?

— Нет-с, никак нет, не касался, — поспешно сказал Кушелев.

— Так и нечего рассуждать! — Путятин хотел было усесться, но все же не решился этого сделать, мешали приличия, и продолжал стоять за маленьким, придвинутым к окну столом, чтобы и Кушелеву не предлагать садиться. — Вообще, стоит послушать, как рассуждают о современных событиях люди даже примерные, — диву даешься. — Он сановно усмехнулся: — Просто диву даешься. И кто они таковы? Ни знаний, ни образования! Матроса со шканцев не поставишь в рубку корабль

вести, так что же вы, — наверное, хотел сказать «миловидный государь», но все-таки вымолвил: — граф... что же вы, граф, предлагаете этим людям законы писать, направлять политику государства? Беда! Беда, коль сапоги начнет тачать пирожник!

Кушелев невольно улыбнулся краешком пухлых губ: сам адмирал командовал кораблем народного просвещения без году неделя. Путятин заметил ли улыбку или просто решил, что — довольно. Обшитая позументами рука вновь взяла брошенную на стол бумагу, дернулась, словно бы сама, отдельно от тела, собралась вернуться ее владельцу и опять опустилась. Путятин склонил голову.

— Так что, извольте-с: Шувалову. Имею честь.

Кушелев поклонился.

Путятину предстояли новые задачи.

Граф Петр Андреевич всеподданнейше сообщил литераторскую петицию государю. Государь удивился. Само принятие петиции означало, что новый министр допускал возможность ее удовлетворения, следовательно, возможность самой просьбы быть основательною. Это следовало немедленно пресечь. Немедленно.

— Скажи, кто депутаты от литераторов.

Шувалов, вытянув подбородок, четко доложил.

— Депутатов под арест, на гаунтвахту. Что Михайлов?

— Михайлов, ваше величество, признался в составлении означенной прокламации «К молодому поколению», в печатании и доставлении оной в Россию.

— Хорош молодец! — Александр Николаевич переложил ноги с одной на другую, сапоги тускло блеснули. — Хорош! А много ли таких еще гуляют, скажи прямо, Петр Андреевич?

— Нет, государь, как перед богом говорю — несколько человек всего и есть, каждого знаем отлично.

— Добролюбов, я слышал, умирает? — царь поднял брови, и усы его тоже поднялись вместе с бровями.

— В последней степени болезни, ваше величество, — Шувалов горестно покачал головой, словно искренне сожалел о болезни литератора.

— Хорошо. Кто еще? Кроме Чернышевского.

— В «Русском слове», ваше величество, появился литератор Писарев.

— Кто таков?

— Только что кончил курс в Санкт-Петербургском университете, вышел кандидатом. В майском номере поместил статью «Схоластика XIX века». Пророк в том же направлении. И в нынешнем, сентябрьском номере выходит вторая часть такой же «Схоластики».

Александр Николаевич встал.

— Не извольте беспокоиться, ваше величество. Литература под наблюдением. Прошу вас, ваше величество, о чести: окажите доверие положиться полностью на верного слугу.

— Я не могу не бороться с этим духом разрушения. Это поток! Он охватывает нас со всех сторон! И грозит потопить в крови!

Царь нервно шагнул в одну сторону, в другую. Шувалов сделал движение — за ним, но остался стоять на месте, молчал. Александр поглядел на него и снова сел.

— В конце концов, каково бы ни было положение вещей, дурному настроению не следует давать ходу, — сказал рассудительно.

— Совершенно верно, ваше величество.

— Самообладание! Самообладание! Я тебе доверяю. Депутацию, — махнул белой ладонью, — отпустить. Обо всех литераторах докладывать регулярно, лично, поименно: Чернышевский, Писарев — что, как? — Побарабанил пальцами по столу. — Кричат, чтобы перекричать других и сделать свою мыслишку господствующей над мыслями

знакомых, незнакомых — таких же крикунов. Что за люди! Наблюдай строго!

Шувалов ткнул подбородок в мундир. Действительно, только — самообладание. Царские милости сами лезли в руки. В нервическом возбуждении задрожал, весь потянулся к монарху.

— Путятину скажи: я недоволен. Иди же...

А через несколько дней министр народного просвещения оказался перед новыми неприятностями.

Еще в мае — напрасно, господа, с этого все и началось — отменили студенческую форму. Синий воротник, сюртучок с девятью офицерскими, как-никак, пуговицами, шпажонка куцая, но — оружие, почти кортик, — все ушло в небытие. Однако многое изменилось, и к лучшему, господа. С формой и вольница ваша студенческая кончилась — и сходки ваши, и вечера, и благотворительные концерты, и рукописные студенческие журналы. И куда, куда меньше стало освобождаемых от платы, наконец-то. Университет должен охранять права лучших сословий России.

Адмирал был уверен в себе. Он, любимец первоходца русского, Лазарева, дипломат, заключавший — несколько лет всего и прошло — заключавший от имени России договоры с Японией и Китаем, он, сам открыватель и воин, Наваринского сражения участник, Евфимий Васильевич Путятин, сочетавший в себе лучшие свойства современного деятеля, он разберется, исправит положение вещей. Он так и сказал профессорам: «Знаю ваше дело!» Он говорил откровенно, по-моряцки, и мог рассчитывать на ответную откровенность и понимание.

— Между вами есть такие, что волнуют студентов. Я доберусь, я разберу эти дела! У меня, господа, вполне определенная программа. Невозможно заставлять бедных людей платить за образование — это безнравственно, господа, безнравственно. Вы понимаете, я говорю

откровенно! Поэтому неимущих сословий в университете быть не должно. Не должно!

Евфимий Васильевич собирался преобразовать университет в закрытое учебное заведение по английскому образцу: моряк и воин, Евфимий Васильевич рассчитывал на быстроту и натиск. Новый попечитель, кавказский генерал Филипсон, школы Раевского, разделял воззрения начальства. Матрикулы! Матрикулы — изобретения самого Филипсона. Пожалуйста: каждый студент отныне должен взять матрикул. Это тебе и вид на жительство, и правила поведения имеешь прочитать в сей же книжице, и предъявить оную при входе в университет. Словом, паспорт, без коего не моги.

Вместо ожидаемой покорности с лета начались сходки. Филипсон предложил сходки, как запрещенные, прекратить, заняться науками. Взломали дверь актового зала, сходку провели, но ничего, конечно, не решили. Филипсон занятия прекратил, лекции отменил...

Двадцать шестого сентября Писарев с раннего утра был возле университета. Уже неделю он жил какой-то новою жизнью, не похожей на прежнюю. Нет, он не изменился, но что-то начало меняться вне его, и он внутренне чувствовал, что вскоре это изменение станет возможным взять да и пощупать рукою, словно грубую ткань шинели, определить на плотность, прикинуть, каков-то будет срок носки материала. Он любил университет. Известие о закрытии университета и запрещении сходки Писарев воспринял как личное оскорбление. На самом деле это просто было вторым, после ареста Михайлова, знаком.

Как весело проходили сходки в его студенческое время! Как-то, помнится, — кому же это они устраивали обструкцию? — он лежал спиной на парте и колотил ногами в стену под вой и крики всей аудитории. Боже мой, какое детство!



Двери оказались запертыми. Раньше Писарева пришли только восемь человек. Четверо сейчас курили, отвернувшись от ветерка с набережной, трое нервно прохаживались, все время поглядывая на окна, восьмая, девушка, бросилась Писареву навстречу.

— Простите, вы студент? Студент?

— Кандидат университета этого года, — Писарев быстро поклонился, — Дмитрий Писарев.

— Надо что-то делать! Скажите им!

Писарев с удовольствием взглянул на ее курносую физиономию под шляпой, русые волосы. Девушка характерно сжимала руки. Гончаровский тип, ни дать ни взять. Женский пол недавно появился в университете, девушек знали, но эта казалась незнакомой.

— Может быть, надо открыть двери? — сказал, улыбаясь. — Пойдемте. Пойдемте, — обернулся к курящим.

Высокий, в форме, студент, выбив трубочку, подошел.

— Подождите же! Что вы, в самом деле, как маленькие. Сейчас соберется народ. Народ, — он произнес это слово, словно бы вкладывая в него какой-то особый, ясный для слушающих смысл, — подождем.

— Вот что, — Писарев говорил уже быстро. — Попечитель здесь ли?

— Передали, что нет его. Врут! Он вечно с зарей приезжает, как на развод караула в полку. А после вчерашнего уж точно здесь.

— Вот что, — повторил, все более возбуждаясь, — надо сначала потребовать, чтобы отворили двери, а не отворят — ломать.

— И всем, кто не взял матрикулы, чтобы вход был свободен!

Постепенно — довольно быстро — площадь перед университетом заполнилась. На набережной толпились любопытные. Писарев уже видел двух инженерных офице-

ров и еще одного, в плаще, из-под которого виднелся красный воротник.

Ломать все не решались. Некий чин в обязательных усах неотступно глядел со второго этажа. Филипсон не показывался.

— Господа! Господа! — приходилось уже орать, и студент, цепляющийся к тумбе фонаря, чтобы быть услышанным, срывал голос.— Нельзя допускать друг друга до крайностей! Господа! Несдержанность и нерешительность — одинаковое зло! Господа! Чего вы хотите? Крови? — он закашлялся.

Ответом был разноголосый рев.

— Кровь вещь хорошая, когда она течет в указанных ей местах — в жилах, но не совсем хорошая, когда она оттуда льется.

— Кровопускание! — заорали рядом с Писаревым, и он обернулся, чтобы посмотреть на оравшего. Кто это крикнул, нельзя было разобрать.

Толпа двинулась к дверям. Стало тесно стоять, хотелось уже пошевелить плечами.

— Господа! — надрывался студент на тумбе.— Это невозможные призывы! — Его уже тянули вниз.— Нужны рассудок и осмотрительность, а не безумие страсти. Не надо дразнить гусей. Войска...

— Безумие страсти,— пробормотал Писарев в толпе.

— Пойдемте к Филипсону домой! — кричал уже другой оратор, взмахивая фуражкой.— Он живет в Колокольном, подадим петицию!

— Да не примет он, не примет,— кричал еще кто-то, стараясь выпрыгнуть из толпы вверх,— хватит петиций! Нельзя уходить отсюда!

Но все уже медленно сдвинулись и пошли по набережной в сторону Биржи. Писарева проволокли с толпой до Дворцового моста, по Невскому же он не пошел, только некоторое время смотрел, как толпа, перегордив

собою всю панель целиком, течет по проспекту. В Колокольном уже ждали войска.

Во вторник, двадцать шестого, начались аресты. Арестовали тридцать студентов. А в среду у Литейного моста стояли артиллерийские офицеры — позаботился Лавров, профессор Артиллерийской академии. Офицеры каждому проходящему в форменной тужурке объясняли: студенты собираются у университета, надо помочь, никто не решится стрелять в офицеров, приходите, делать ничего не надо будет, просто стойте в толпе. Большинство слушателей академий, медиков — повернули обратно на Васильевский. Теперь у университета собралась довольно порядочная толпа, и Писарев оказался прижатым к парапету набережной. Холодный серый камень, чуть приложи ладонь, сообщал сердцу некоторый холодок; соединяясь с нервным нетерпением, не остывшим с понедельника, холодок рождал дрожь. Писарев, вставая то и дело на цыпочки, старался глядеть поверх голов. Решетки ограды видно не было. Если удавалось выпрыгнуть повыше, сразу становились видны голубые мундиры жандармерии. За ними плотной цепью развернулся батальон Финляндского полка. Толпа, как каша, медленно закипала.

Наконец из строя выехал верховой жандарм. Вклинившись в толпу, заорал:

— Арра-азойдись!

Тут же в ответ засвистели, заулюлюкали, жандарм попытался вытащить саблю — это было его ошибкой, сзади на кобылий крун кошкой прыгнул какой-то военный медик, обхватил жандарма руками по груди, за сапог снизу дернули тоже. Жандарм оказался неплохим кавалеристом — усидел, сумел поднять лошадь на дыбы — толпа шарахнулась. Он, развернувшись, сильно саданул локтем под дых держащего его сзади, тот, ойкнув, скатился на мостовую. Все произошло за секунды. Мгновение ло-

шадь била передними копытами по воздуху, удивительно напоминая знакомую скульптуру, и тут же в несколько скачков вынесла седока за линию солдат.

— Не позволяйте бить! — закричали в толпе.

Писарев, ничего не видя за спинами, попытался пробиться вперед, но это было совершенно невозможно, он только дергался взад и вперед, натываясь на плечи соседей. — Ну, что, что там?

— Кажись, полицмейстер.

— Что?

— Идет... нет, едет... нет, идет. Тише!

— Господа! — слышалось слабо, — господа!

Выпрыгнув, как чижик, Писарев успел заметить полковничьи погоны, высокую, прямую фигуру. Миг растянулся во времени. Пока голова Писарева висела над толпой, полицмейстер успел обернуться, и на Писарева уставился острый лисий взгляд. Писарев и полковник мгновение смотрели друг на друга, словно прозревая будущее.

— Может быть, кто-то не знает: я — полицмейстер полковник Золотницкий.

Зашумели.

— Не надо хватать за рукав, господа, я не боюсь. Я имею ясное указание его превосходительства графа Путятина, санкционированное, — он громко вздохнул, — ведомством. Да, ведомством. Смутьянов арестовать! Этого взять!

Офицер, на которого указал полицмейстер, сейчас же оказался между выдвинувшимся нарядом финляндцев. Замешкав, он сделал движение, словно бы хотел отстегнуть и отдать саблю, но не сделал этого, повернулся и пошел в центре шагающего с ним каре. Толпа неохотно расступалась.

— Господа! Если на вас не действует логика, подействует сила, — Золотницкий похлопывал лошадь по холке.

— Выкуси-и! Иии! Не давай! Не давай уводить!

— Чего вы хотите? — бесстрашно продолжал Золотницкий. — Резни? Резни?

Золотницкий деланно махнул рукой в черной перчатке, то ли выражая полное презрение к желанию толпы бить и резать, то ли определяя судьбу уводимого офицера. А тот вдруг остановился и скомандовал наряду:

— Налево, круго-ом! Марш!

Секунду замешкав, финляндцы стукнули прикладами о мостовую, повернулись и отправились обратно. Офицер спокойно прошел недалеко от Писарева. Короткая сабля артиллериста билась о черные бриджи. Писарев молча глядел в офицерскую спину. Что делать, что говорить — пока было не ясно. Кричать тут, свистеть — не услышат. Нет, он может свистнуть куда грозней. И свистнет, дайте только личные дела устроить, как надо.

Писарев повернулся и вслед за офицером пошел по набережной.

12

По дороге в Яковлевское Митя, почти отрешившись от бурных событий, вспоминал то письмо Раисы, все связанные с нею мысли и события, письму предшествовавшие. Всякое было, заглядывались на Раису, он знал и видел, заглядывались, и, бывало, разные она писала письма и записочки, порой довольно безразличные. Он же сам перед собою делал вид, что нисколько не задет. Помогала уверенность, что дело сделано, что, ей-же-ей, никуда она, никуда не денется от него. Говорил и повторял: никуда. Но так — отказ — обухом по голове! Шмяк один раз, и хватило вполне, потом оказалось, на всю жизнь хватило. Маленький конвертик, в уголке которого смазанная печать с романовским орлом, маленький, колющий острыми уголками конверт от Раисы.

Она писала редко, всего-то два раза, первый — в начале марта, второй — через два с половиной месяца, в мае, прилетел этот конверт, уколол в сердце.

Еще зимою у Раисы с Андреем Дмитриевичем произошло объяснение. Ну, произошло и произошло — не сказала о чем. Только догадаться можно. Митя уехал в Питер — надобно же было ехать, а Раиса осталась. И, видимо, и еще у них происходили объяснения. В тех, тоже редких, февральских письмах она о своем житье у дядюшки говорила глухо. И по-прежнему настойчиво писала о Раисином неприличии таман. В начале марта Петя Гарднер прислал записочку. Дескать, Митя, помиримся, не держи зла на пустые разговоры зимой, помиримся, Митя. Митя, а Раиса приглашена погостить к моей двоюродной сестре, то есть в семью ес, в именис мужа. Скупо так сообщил, поставил в известность. Помиримся, дескать, Митя, дорогой, а там, в Тверской губернии, в верховьях волжских, раздолье, простор, хотя и густые леса кругом, и глушь, совершенная глушь,— так надо было понимать гарднеровскую записку, ни души, а тем более — ни души в усах и со шпорами. Отдохнет она, Раиса, от даниловского гостеприимства. Писарев тогда повертел записочку Гарднера, вздохнул себе, вздохнул и записочку бросил в огонь. Ну, поехала и поехала. «Яковлевское Тверской губернии, госпоже Вере Николаевне Клименко для передачи Р. Кореновой» — адрес. Она написала сразу, в начале марта, что приехала, что очень хорошо, что милые люди, написала, замолкла. Глушь же, глушь, что писать! Он писал чуть не ежедневно. Потом несколько времени отвлекся — экзамены выпускные не шуточное дело. Экзамены сдал, написал снова. И вот, в мае,— конверт: «Прости, Митя, замуж за тебя не могу идти. Слово твое я тебе возвращаю и прошу тебя, Митя, расстанемся друзьями. Да что я — расстанемся, останемся друзьями, не так ли? Останемся.

И, пожалуйста, Митя, не надо более...» А как же — не надо! Забросал письмами.

Вот как, милые мои: в Яковлевском оказался тот Гарднер, о котором еще прежде упоминала татап. Каким таким макаром заскочил Евгений Гарднер из Истленева в Яковлевское, гадать не приходилось: сговорились. Сговорились, подло за его спиною сговорились. Значит, что же? Еще зимою Раиса знала, где она будет весной и летом и... что с нею будет? Тот, прошлогодний, отказ и отказ нынешний — одно и то же? Знала. Обманывала.

Это чувство измены, опустошенность обесчещенного — одно и могло перевернуть его. Он — человек, не имеющий ахиллесовой пяты, он в чешуе отрешенности, как в броне, ему, надо признаться, все равно, что о нем подумают. И каждому, понимаете ли вы, каждому готов хоть в нос ткнуть свою свободу: я, Дмитрий Писарев, таков. Таков! Вот как изволите, а таков. Я свободен, и каждый, говорю вам, хе-хе, истинно, истинно говорю вам: каждый должен быть свободен, и женщина должна быть свободна. И Раиса... Неужели и Раиса?

Тогда, зимой, в Москве ничего не произошло — не давалась. Теперь же невозможно было представить, что эти руки, плечи, милое лицо, глаза, губы, зубы, все — чужое, ему не принадлежит навечно. И нельзя смириться, что ему предпочли кого-либо. И кто? Раиса.

Непрощеным примчался в Яковлевское, прожил — сколько? — недели две, что ли. Посмотрел на этого Евгешу. Те самые усы да шпоры. А и шпор-то настоящих, стоящих, нет давным-давно.

Евгеша этот Михайловское училище окончил как раз в последний год Крымской кампании, в Тифлисе отирался вместо того, чтобы воевать. А усы крутит как! «В сраженьях не бывал, но в парадах закален выше всякой пропорции». Скалозуб. И сказать ни слова не может. Ему о Платоне говоришь — «а не поехать ли нам верхом по-

кататься?». О положении России сейчас, о своих планах замечательных, пытаешься заинтересовать чем-нибудь, ну, хоть чем-нибудь настоящим, важным для себя и для Раисы, — смеется. И разговор переводит на собак и охотничьи ружья. Нет, не Скалозуб — Ноздрев. И усы как у Ноздрева, и волосы — ах, какие чудные волосы! — как у Ноздрева. И Раиса с ним ласкает всех этих горбатых шавок и кормит с рук сырым мясом — бр-р-р!

Ну, хорошо, он сделал вид, что смирился. Тем более что и делать вид большого труда не стоило. В конечном счете, он и там, в Яковлевском, должен был показать, что он, Дмитрий Писарев, выше всей ерунды этой. И показал. И с Раисой говорил о деле. Раиса заканчивала роман «Всякому свое» — прекрасный, надо сказать, роман. Говорили о публикации его у Григория Евлампиевича, в его журнале, в журнале, которому теперь, с писаревским участием, предстоит слава, в этом можно не сомневаться.

Хорошо, хорошо, он отступает от личных тем, говорим о деле. Раиса переезжает в Петербург, сотрудничает в «Русском слове», не так ли? Сотрудничает в «Русском слове», живет на квартире Василия Петровича. Василий Петрович Попов — их с Благодетелем товарищ, во всех отношениях самая благородная личность, офицер. И жена его, Евгения Александровна, — можно сказать, лучший друг, замечательная женщина, беллетрист. Ж. Линская — это Попова, знай. Ну, он живет на квартире Поповых, ну, он съедет к Благодетелю, тот давно его приглашает. Какие еще нужны доказательства, он съедет к Григорию Евлампиевичу, только останутся одни деловые отношения, дружеские отношения сотрудников по журналу. Ты же хочешь независимости? Катков взял роман? Катков, что ли, предоставит тебе возможность регулярного заработка? Ну, «Пустушково», ну, напечатал разок, ну, второй раз... Размерен-

ная работа — совершенно другое дело. Размеренная работа — это свобода. Да вот и письмо от Григория Евлампиевича, пожалуйста. Будемте трудиться на одной ниве — только. Вот:

«Раиса Александровна,

Заочным знакомством с Вами я обязан Д. И. Писареву, и это единственное право, по которому я пишу Вам.

Еще недавно я имел удовольствие читать Ваш роман; Р. Слово не напечатало его, но он дал мне понятие о Ваших блестящих способностях, о Вашем сердце. Вы получили десять талантов и не имеете права зарыть их в землю. Вы собственность того общества, среди которого живете и для которого действуете.

Я далеко не поклонник Петербурга, его казарменной физиономии, но я убежден, что, кроме Петербурга, нигде нельзя жить в России, тем более порядочно развиваться. И вот мы — все, уважающие г. Писарева, зовем Вас на берега Невы, в маленький кружок, который любит и оценит Вас. Вы будете в центре деятельности, более живой и благородной, чем в каком-нибудь захолустье нашей пространной и неопрятной Руси. Приезжайте к нам. Ваши силы еще молоды, Ваша энергия еще не утомлена — Вам необходимо полное и всестороннее развитие, без которого нет жизни.

Мне известно, что одна дама приглашает Вас прямо к себе; эта дама — жена моего помощника — добрая и симпатичная. Вы устроитесь в этом семействе покойно и, кажется, приятно. Р. Слово отведет Вам маленький уголок для работы; остальное само собою сложится.

Дружба — находчива и неистощима в средствах. Там Вы будете одиноки, а здесь близко Вашего старого друга. Ведь это обстоятельство чрезвычайно важно для Вас. Позвольте мне быть несколько откровенным относительно г. Писарева; мой личный взгляд не есть приговор, но искреннее мнение человека, который понимает

и уважает Писарева. В нем много недостатков, общих всем, кому жизнь достается не тяжело и весело; он способен увлекаться, за неимением более достойных предметов, всякой дрянью, но в самых увлечениях его есть много добрых юношеских сторон; он еще только складывается для жизни, но кто же не видит, как он великолепно сложится, если только не ударит в какую-нибудь фальшивую крайность. Поверьте мне, что на него можно положиться всегда и во всем, если только нежная и любящая рука будет сдерживать и управлять этой юркой растительной силой. Он глубоко привязан к Вам, он беспредельно уважает Вас, и в этом много смысла и значения для нашего времени.

Примите мое письмо как искреннее слово, вызванное расположением к Писареву, а Писарева трудно представить без Вас; по крайней мере, Вы держите его счастье, его деятельность, его услугу обществу в своих руках. Сберегите же их для лучших дней, чем те, в какие мы живем.

Итак, Раиса Александровна, с верой в жизнь и с доверием к нам, приезжайте в Петербург.

Душевно уважающий Вас
Григ. Благовосветлов».

Раиса отложила письмо на столик, у которого сидела, положив на вязаную салфетку откинутую руку — словно художнику позировала. На лице у нее выразилось неудовольствие.

— Да я вовсе не хочу входить в сношения с неизвестными мне людьми. Что за Попова? Попов... А твой Благовосветлов мне же и отказал, как ты знаешь, в публикации. И что же, теперь полный альянс?

— Евгения Александровна приедет скоро сюда, познакомишься.

— Как?! — она выпрямилась, глаза сверкнули. — Митя, ты с ума сошел! Да можно ли приглашать в чужой

дом! Сама я приглашена Петром, ты, извини меня, приехал так вдруг, теперь... Невозможно, неловко! — Она резко встала.

— Мне что за дело... Наши с тобою планы никого не должны касаться. Попова приедет ко мне. Наши планы — работа. Подожди. Слушай: я буду переводить из академика Шифнера, денежное дело.

— Да? — сказала Коренева, чтобы что-то сказать. Стоя ей было видно, как во двор въехал верхом Евгений Гарднер, шаря глазами по окнам. Увидев Раису, он улыбнулся, кивнул, и она едва заметно подняла подбородок; затрепетавшие ноздри, словно барометр, показали бы Гарднеру «ясно», если бы оттуда, снизу, метров тридцати расстояния, он мог бы различать черты. Гарднер показал головой в сторону поля, где, они оба знали отлично, стояла сторожка со скрипучей дверью, с лучами света, пронизывающими крытый дранью потолок, с лучами солнечного света, падающими на сеновал, где сухие травинки пахнут остро, сладко царапают тело этой необыкновенно теплой осенью. Краснея, она медленно склонила голову к груди. Гарднер повернул лошадь и шагом поехал со двора, потом, гикнув, стегнул хлыстом, и лошадь, всхрапнув, пошла внамет, подкидывая копытами сухие, распадающиеся в прах комья земли.

— Что с тобою? Ты слушаешь? Я тебе рассказывал, что в Петербурге творится. Я был возле университета — университет закрывают, кажется. Я сам, ты знаешь, — скромно улыбнулся, — принимал участие. Я тебе рассказывал. Хотя, я считаю, было глупо как-то. Ей-богу, я думаю, что всякие демонстрации мало приносят пользы. В чем я сам и убедился... Ты не слушаешь.

— Да нет, — сказала, — слушаю. — Заставила себя улыбнуться, потом и на самом деле захотелось улыбнуться: тютек, правильно Евгеша говорит — тютек, тютя мамина. О, господи! Невозможно же настолько быть самим

собою полным, чтобы не замечать очевидного. И тут же внутренне ахнула: сама понимает, что не замечать очевидного нельзя. Значит, действительно очевидное, значит, замечают другие? Митя — что, Митя не заметил, когда вошел сейчас, что у нее в шкафу висит Евгешин халат с кистями — явно мужской халат. А Евгеша ушел в охотничьем, как бы просто утром заходил перед охотой — от прислуги так удобнее. Правда, Митя, конечно, и не думал заглядывать в открывшийся ненароком шкаф. Но все же... Она и покраснеть не успела — бросился закрывать створку, сетуя на ветер. Только ветер и винить в том, что произошло. С Митей — ладно, с Митей дело ясное, а другие?

— Что с тобою, Раиса? Тебя то в жар, то в холод бросает.

— Да-да... кажется. Я пойду, Митя, устала, хочу прилечь.

— Сейчас. Шифнер Антон Антонович — известный ориенталист, академик. Автор работ по Индии, Тибету, пишет по-немецки о буддизме. Страшно интересно. Это, кроме Платона, для «Русского слова», это ты знаешь. Послушай...

— Извини, я пойду. О Платоне и о твоём участии в демонстрации я не могу более слушать.

— Ну, хорошо, хорошо, — он поджал губы. — Ты приедешь в Петербург? Скажи одно: ты приедешь в Петербург? Дай мне слово приехать, и я тут же отправляюсь отсюда. Ты отдыхай, гуляй по полям, это здорово. А ко всем этим хлыщам, — тут она снова вспыхнула, — ко всем этим хлыщам я тебя не ревную. Ты молода, тебе нужно внимание мужчин. Они никто не понимают, что для тебя главное — литература. У нас с тобою куда больше общего и близкого для обоих, чем верховая езда, — он засмеялся, кося глазом, и от этого знакомого с детства взгляда Кореновой стало стыдно, стыдно обманывать та-

кого тютяка. Впрочем, впрочем, он сам виноват. Она же возвратила ему слово, все между ними сказано, и совесть ее чиста. А терпеть все это далее невозможно.

— Хорошо, — быстро сказала она, — уезжай. Скоро я приеду.

Через минуту она уже бежала по зеленой траве, думая, как бы не наступить на платье, душившее ее все эти безумные, безумные лето и осень. На бегу она растегнула верхние пуговики. Ноги в башмаках соскальзывали с кочек.

13

За три дня до приезда Раисы, двадцатого ноября, хоронили Добролюбова. Идя за гробом, Митя вспоминал промелькнувший после возвращения из Яковлевского месяц — он прошел, почитай, даром. Против обыкновения, работал немного, больше говорил, чем писал.

Студенческая история катилась полным ходом. Человек триста уже было арестовано, так что и Петропавловская крепость оказалась тесна. Арестованных последними — увозили в Кронштадт. Лекции давно прекратились. Лучшие профессора оставили университет, матриккулисты уныло слонялись по коридорам. Подписка в пользу Михайлова продолжалась. Шелгунов сказал по секрету, что собрали уже пять тысяч рублей.

— Да, Дмитрий Иванович. Посмотрим, что дальше.

Сейчас он шел с поникшим взглядом, на лбу блестел пот.

Народу собралось человек двести. Простой некрашенный гроб несли по очереди, сменяясь. Сейчас гроб подпирала сутулая спина Благосветлова.

Баллод, все время державшийся рядом с Писаревым, не произносил ни слова.

— Что молчишь?

— А что говорить?

— Помимо всего-то прочего Добролюбов, говорят, и в «Современнике» воз весь тянул, в цензуру ездил вместо Некрасова, авторов принимал, редактировал... Журнал, Петя, не шутка.

Вздыхнув, подумал: первый ли, действительно, публицист Добролюбов? А Николай Гаврилович? А... я? Надо не выше других стоять, а просто быть самим собой, максимально быть самим собою и предоставлять это право другим. Не так ли? Как все просто, господа.

Как он, Добролюбов, написал после объявления Манифеста? Так, кажется: а что мы скажем о том, о чем, дескать, кричат сейчас все газеты? Об этом мы ни слова не скажем. Что ж, тут и смелость какая нужна, чтобы так ясно выразить отношение к реформе.

На мгновение отвлекся от скорбных мыслей, принявшись думать о Манифесте. Сколько переговорено об этом и с Благосветловым, и с Баллодом, и с Жуковским! Конечно, реформа половинчата: крестьяне обязаны выкупать землю, которую они считали своей. С точки зрения нашего государственного права, земля, безусловно, им не принадлежит, но они-то, они-то считали по-другому! И Добролюбов считал по-другому. И Николай Гаврилович считает по-другому. И я, Дмитрий Писарев, считаю тоже по-другому. И это положение временнообязанных! И нарезание неудобья! Мировые судьи из помещиков, если все таковы, как отец, чего хорошего ждать! Удивительно лишь одно — удивление правительства бунтами крестьян, волнением студентов и прочим. Что ж тут удивляться?

Опустив руку в карман пальто, нащупал лежавшее там письмо к матери. Сегодня же надобно было и отправить.

«Любить свою личность и наслаждаться уважением к самому себе — это самый чистый, самый законный

и самый высокий источник радости. Ты, мама, сама думаешь в этом отношении совершенно так же, как я, только на твоём языке эти вещи называются иначе: они называются наслаждаться спокойствием совести, и ты, вероятно, согласишься, что ставить это наслаждение выше всех прочих — вовсе не есть признак дурного воспитания. То, что ты называешь совестью, и то, что я называю рассудком, в сущности одно и то же; только второе ясно и сознательно, а первое туманно и инстинктивно. Я действительно люблю и уважаю самого себя; принято думать, что это нехорошо, а ты повторяешь принятое мнение, отчасти для того, чтобы дать мне маленькую нахлобучку. Но почему же нехорошо? Разве эта любовь к себе, дающая возможность переносить весело то, что обыкновенно считается несчастьем, разве эта любовь заставляет меня засыпать на лаврах, разве она мешает моему дальнейшему развитию? Разве я воображаю себя, например, великим писателем, которому не надо учиться, читать, работать над собой? Да, чем больше я себя люблю, тем больше я забочусь, чтобы развернуть свой ум до последних пределов...»

Писарев снова потрогал письмо в кармане, словно бы продолжая отвечать уже не матери, а Петру и всем, кто попрекал его мнимой бездеятельностью.

«...Каждый успех мой всегда заставлял меня работать вдвое сильнее и вдвое успешнее прежнего. Я рассуждаю так: если у меня есть ум, талант, энергия, то глупо же будет, если я не сумею воспользоваться этим добром, а пользоваться им значит, во-первых, беречь своё здоровье, во-вторых, развивать свои способности хорошим чтением и, в-третьих, работать как можно усерднее, честнее и добросовестнее. И чем больше я замечаю в себе хороших способностей, тем строже я становлюсь к своей работе, хочу делать её не спустя рукава, а во всю силу. Неужели ты во всем этом найдешь что-нибудь

дурное? Потом еще принято думать, что человек, который очень любит и уважает самого себя, должен непременно стараться о том, чтобы возвыситься над другими, и вследствие этого должен непременно оскорблять других своим самолюбием. Ты меня знаешь; ну, скажи же мне по чистой совести, старался ли я когда-нибудь стать выше других?»

Процессия дошла до кладбища и остановилась. Вперед вышел Чернышевский, ступая неуверенно, словно бы шел по тонкому льду. Он не смотрел под ноги. Слезы душили Чернышевского, говорил, задыхаясь, читал Добролюбовские стихи.

*Милый друг, я умираю
Оттого, что был я честен...*

Выбритое лицо Чернышевского, обычно бледное, сейчас было белее муки и, искаженное страданием, выглядело необычно моложавым.

— Слушай, — хмуро сказал Баллод, — да он совершенно забылся. Тут шпиков полно, нельзя говорить так откровенно. Прямо и режет, что, мол, правительство убило Добролюбова.

— Молчи, молчи.

Гроб уже опускали в землю. Рядом с могилой Белинского, за кучею свежей глины еще оставалось заросшее лебедой место для нового захоронения.

— Но нет в России человека, равного им двоим! — Чернышевский ткнул рукой в лебеду и, спотыкаясь, пошел прочь...

А через два дня Николай Гаврилович выглядел, как всегда, застегнутым на все пуговицы. И, казалось, на все пуговицы, непроницаемо для стороннего человека, застегнуты его тайные желания, мысли — всё.

— Прошу-с! — Он сделал сухой жест рукою, крепко сжатый рот дрогнул. — Да-с... гм... Прошу-с.

Писарев молча прошел и сел на диван. Чернышевский взглянул на черную повязку на писаревском рукаве, никак не выразил никаких чувств.

— Мы ведь с вами, Дмитрий Иванович, лично знакомы. Так-с? Нет?

Он помедлил с ответом. Их познакомили с Чернышевским несколько лет назад, еще во время его работы в «Рассвете».

— Не Николая ли Эварестовича Писарева родственник будете? — отрывисто спросил тогда Чернышевский, бурявя его взглядом сквозь пенсне.

— Как же! — радостно ответил восторженный Митя. — Дядя двоюродный мой! Добрейший человек! Всем родственникам помогает! — Он тогда хотел еще добавить, что Николай Эварестович платит за него в университет, но решил не занимать знаменитость частностями. — Всем помогает! Добрейший!

— Ну-с! — Чернышевский, привлекая внимание, широко развел руки. — Ему ли еще не помогать — когда губернаторствовал, сколько наворовал, целый край разорил!

Секунду еще не отводя взгляда и не дождавшись отпора, к которому он, вероятно, был готов, Чернышевский совершенно спокойно отвернулся от покрасневшего студентика и пошел себе.

Вспомнить сейчас это?

— В общем, нет, Николай Гаврилович.

— Ну-с, и хорошо, — тот ничем не выдал отличной памяти. — К делу.

Снял пенсне, протер платочком стекла.

— Мы остались без критика... как вы знаете... Современная литературная критика, как я ее понимаю, есть нерв любого периодического издания. Никакая проза не сделает столько внимания в публике.

— Да.

— Да-с... Так вот, я уполномочен издателем, Николаем Алексеевичем Некрасовым... гм,— он замешкался, словно бы окончательно решаясь, и твердо закончил: — Уполномочен предложить вам роль критика журнала.

Писарев вспыхнул, словно юнец, загорелся суетной гордостью, к которой, по его же словам всегдашним, вовсе не имел слабости. Сказал, радостный от того, что ему сейчас предстояло сказать:

— Николай Гаврилович, прежде всего позвольте поблагодарить за честь. Верьте слову, я никогда не забуду этого предложения, которое, повторяю, честь для меня. Вы предлагаете мне место Добролюбова...

Чернышевский молчал.

— ...Я рад. Позвольте же ответить полную откровенностью: я уже который месяц работаю в «Русском слове», я полюбил этот журнал, полюбил его сотрудников и, надеюсь, меня полюбили тоже. Кроме того. Да и в первую голову — у меня есть нравственные обязательства перед журналом, который я считаю своим.

— Не все ли равно, где и как делать общее дело!

— Именно это я и хотел сказать,— Писарев, довольный, улыбнулся.— Пока я буду полезен «Русскому слову», все силы намерен отдать ему.

Повисло молчание. Все было сказано. Чернышевский не произнес больше ни слова. Он молча встал, молча протянул руку, молча проводил до дверей.

На улице стоял Благосветлов.

— Ну?

— Отказался. Поблагодарил и отказался.

— Правильно поступил, Дмитрий Иванович! — облегченно закричал Благосветлов.— Спасибо! — Тут же спохватился: — Не то что мы без вас, знаете ли, никуда, этого сказать не могу, но ведь мы вас никогда и не обижали,— добавил, словно бы затрудняясь.

Писарев засмеялся:

— Поступил так, как полагаю лучшим для себя, вот и все, Григорий Евлампиевич.

Писарев по дороге к Чернышевскому ничего Григорию Евлампиевичу не сказал, тот мучился. Потерять Писарева как сотрудника он на самом деле боялся, но давно не боялся вообще никаких ударов судьбы — человеком был битым. Однако обидным казалось само желание — чье бы то ни было! — отобрать у него, Благодетель, то, что ему принадлежит безраздельно. Он, Благодетель, его нашел, его поднял, начал печатать и вот сейчас выводит в первые перья России.

— Дмитрий Иванович, — он взял Писарева за рукав, — что вы скажете о том, чтобы исправлять должность моего помощника по журналу? С жалованием... скажем, с жалованием сто пятьдесят серебром в месяц. До валуевских доходов нам, понятно, далеко... — Писарев захохотал. — Но ежели мы окончательно встанем на ноги, несмотря на палки в колеса от того же Валуева... Мы и ему вставим фитиль в зад! Мы — сила! Сила! — как всегда, Благодетель, слушая себя, увлекался, словно глухарь на току. — Никитенко пишет, что молодое поколение воспитывается на «Колоколе» и «Современнике», а довершает, дескать, свое воспитание на «Русском слове». А мы сделаем так, что молодое поколение начинать с нас станет, начинать! Согласны, Дмитрий Иванович?

— Конечно, — просто сказал Писарев, — иначе и не может быть.

«Отставной губернский секретарь, из дворян, Михаил Илларионов Михайлов, предан суду Правительствующего Сената, по Высочайшему повелению, за распространение в Петербурге преступного сочинения под названием «К молодому поколению». В этом сочинении обра-

щают на себя внимание особенною дерзостью и важностью злоумышления следующие предметы:

1. Превратное истолкование и порицание действий Правительства в выражениях, составляющих оскорбление Величества, с намерением возбудить неуважение к верховной власти, к личным качествам Государя и к управлению его Государством, и с намеками или угрозами ниспровергнуть Правительство и Императорскую власть, если Государь не сделает добровольно уступок народу...»

Двадцать третьего ноября Александр читал Определение, пропущенное Государственным советом. Слова: «...лишить всех прав состояния и сослать в каторжную работу в рудниках на 12 лет и 6 месяцев, а по прекращении сих работ за истечением срока или по другим причинам поселить в Сибири навсегда» отчеркнул с раздражением мягким золотым пером. На первой странице начертал, так же брезгливо морщась: «Срок каторжной работы ограничиваю шестью годами, а в остальном быть по сему».

Опять людские спины скрывали от Писарева происходящее. Сегодня, 7 декабря, в Сенате ожидалось объявление приговора Михайлову. В зал допускались, конечно, по билетам; на литераторов билетов предусмотрено не было. Публика стояла на Галерной и на площади. Писарев пришел поздно, не хотел идти спервоначалу — так говорил. На самом деле хотелось стоять в толпе одному, без Баллода или Жуковского, без Раисы даже, хотелось наедине со всеми почувствовать значение происходящего и самому послать поэту пожелание — чего? здоровья ли, мужества? — четко ощущая связывающую их нить судьбы.

— Прощайте, Михаил Ларионович! — кричали в толпе. Стоя на подножке черной кареты, Михайлов ласково кивнул кому-то. Писарев не сумел встретиться глазами с осужденным. Михайлов, нагнувшись, уже вошел в ка-

рету, за ним, гремя шашкой, впрыгнул жандармский офицер, и карета, вздрогнув, быстро покатила прочь.

14 декабря, в годовщину возмущения двадцать пятого года, состоялась гражданская казнь Михайлова — палач преломил над уже обритой его головой тонкую юнкерскую шпагу, заранее подпиленную в двух местах за эфесом.

В «Ведомостях Санкт-Петербургской полиции» стояло:

«Сегодня в 8 ч. утра назначено публичное объявление на площади перед Сытным рынком, что в Петербургской части, отставному губернскому секретарю Мих. Михайлову Высочайше утвержденно мнения Государственного совета».

Газета получилась, конечно, уже вечером, никто ничего не знал.

«Народу было очень мало — человек до 200, не более, и все простой народ... Студентов положительно никого... По окончании толпа тотчас разошлась... Ни Шелгунова, ни других лиц, нами подозреваемых и мною виденных на похоронах Добролюбова, положительно не было...»

Государь повертел в руках донесение агента и пожал плечами.

— Так никого?

— Никого, ваше величество.

Александр хотел вспомнить имя из других лиц — этот, этот, который пишет, но не вспомнил и только поднял белый палец перед носом Шувалова. Палец эдак вот поднимал блаженные памяти родитель, и жест, затверженный от малолетства, пригодился ему сейчас.

— Скажи, предусмотрена ли возможность побега?

— На станции Ижора, ваше величество,— получено сообщение — желают отбить студенты, человек до двадцати. Во избежание могущих произойти осложнений осужденный в собственный возок посажен не будет, а

проследует позже на сутки, из Шлиссельбургской же крепости в возке проследует наряд жандармов, один — в арестантской шапке, ваше величество.

Александр медленно наклонил голову, одобряя, но словно бы и размышляя над полученным докладом.

— Университет? Чего ты хочешь? Говори.

— Полагаю сообразно с заключением министра юстиции выслать в отдаленные города нескольких посторонних лиц, замешанных в это дело, и нескольких студентов, главных руководителей беспорядков.— Секунду помедлив, добавил: — Это мнение так же и министра внутренних дел, государь. Остальным — на известных основаниях вернуться в университет.

Александр стоял, словно бы вслушиваясь, что происходит внутри его большого тела. Сказал:

— Исключить из университета весь четвертый курс с высылкою на родину под полицейский надзор.

Шувалов сдвинул каблуки.

— Университет закрыть.

Уголки губ на вытянутой вперед физиономии Шувалова вытянулись.

— Впрочем, это уже не твое... Закрыть впредь до пересмотра университетского устава, так как дальнейшее его существование на прежних основаниях не может быть признаваемо полезным для обучающегося в нем юношества.

Шувалов молча ел глазами императора. Путятина участь была решена. Он, Шувалов, в его дела не мешался — пока они, дела, не коснулись прерогатив власти, вверенной ежесекундной заботе жандармерии.

— Статья Николая Костомарова, позвольте обратить внимание вашего величества, об университетском уставе в «Санкт-Петербургских ведомостях».

— Читал,— сухо сказал Александр.— Не годится. «Слушателями записывать лиц всяческих возрастов и со-

словий, всякого разного звания». Напрасные мечтания. Отставить.

— Да, ваше величество, — опять сказал Шувалов.

— Впрочем, не твое это. Иди... Пстой! Скажи, есть ли в университете неблагонадежные профессора?

Шувалов замаялся. Список лежал у него в кармане, но интуиция подсказывала, что это уж слишком. Надлежало соблюсти приличия: на память повторить считалось бы служебным рвением, а иметь в кармане список расценилось бы, вероятно, вторжением в университетские дела излишним. Так расценилось бы, а, возможно, и иначе. Монаршие капризы известны, попадать не хотелось. На память Шувалов не помнил еще.

— Профессора?

Оба мгновение смотрели друг другу глаза в глаза. Белки у Александра начали выкатываться, как у отца. Шувалов струсил. Александр молча протянул руку, и тот вложил в эту руку аккуратно переписанный список.

— Костомаров, Павлов, Стасюлевич, Андреевский, Горлов, Кавелин, Спасович, Утин, Бекетов, Менделеев. И все?

— И другие, ваше величество, — брякнул Шувалов. Александр снова пожал плечами.

— А, — наконец-то вспомнил имя новомодного преемника добролюбовского. — Писаревский?

— Писарев, ваше величество?

— Писарев.

Александр забыл, а он, Шувалов, кажется, докладывал о Писареве — молод. Теперь предстояло напомнить.

— Писарев — не профессор, государь. Писарев лишь в этом году кончил вторым кандидатом, занимается в редакции «Русского слова». — Подумав, что эта характеристика оказывается слишком мягкой, поспешно добавил: — Замечен в беспорядках возле университета, имеет предосудительных знакомых.

— Вот, — Александр поднял палец. — Понял? Иди.

В начале года Владимир Жуковский уехал в Уфу. Место предоставилось не ахти какое — судебный исполнитель, но и бездельничать более стало невозможным. Стыдно: принялся за государственную службу, то есть в один встал ряд со всеми, от мала до велика, с валуевыми, шуваловыми, головнинными и прочими, кусающими от народного пирога со всех сторон. Быть чиновником в 1862 году у молодого поколения считалось позорным. Стыдно, а как иначе?

— Помогать, значит, будешь Александру Николаевичу Романову?

— А что мне делать?! Что делать?! Мне жить надо на что-то или нет?!

— Дела не найти в столице — скажите! Ищешь плохо. Мог быть червонцем, братец, а размениваешься на медные пятаки.

— Счастливый ты, — говорил Жуковский, глядя с действительной завистью на благодушествующего Писарева. — Завидую я тебе... Однако твоя философия тебе одному и подходит, более никому.

Проводили, уехал. Брат Жуковского, Николай, тоже знакомый Писарева, часто бывал у Баллода, но с ним Писарев не сошелся коротко, обоим только предстояло быть, числиться вместе в составляемых уже списках, бумагах, рапортах, докладах. Предстояло.

Составлялись списочки.

— Господа! — Кушелев, улыбаясь, поднялся, и сотрудники его замолчали, окончательно рассаживаясь. Курочкин отмахивал полы сюртука, словно крылья фрака, садился, всем видом показывая свою комильфотность, вставал, опять отмахивал сзади себя полы. садился, закидывал ногу на ногу, опять вставал. Все улыбались. Кушелев смотрел укоризненно.

— Уймись, — наконец сказал кто-то.

— Господа! Э... Счастлив уведомить вас, что я получил положительное известие...

— К нам едет ревизор!

Кушелев скорчил кислую мину: юмор весьма, милостивый государь, поверхностный.

— Известие... Общество любителей шахматной игры, о котором мы много говорили с Григорием Евлампиевичем... э... и вот — с Дмитрием Ивановичем... Общество шахматное, о котором столько попечения проявил всем нам известный Николай Гаврилович... Создал его... Общество имеет высочайше утвержденный устав! Следовательно, нет более надобности ни в каких формальностях, а просто требуется... эмм... извещение, подписанное старшиною Общества, что оное помещается на такой-то квартире, в такой-то улице...

— В Гагаринской, например, — пробурчал Курочкин.

Кушелев засмеялся:

— Хе-хе-хе-хе. Я, господа, был бы счастлив, но... э... это создаст дополнительные... неудовольствия... Двусмысленности...

Благосветлов поднялся.

— Простите, — отнесся он к графу, а затем и к Курочкину, — Николай, уймись-ка. Теперь вот что: положительно нужно узнать, есть ли достаточное количество желающих поступить в члены.

— Я полагаю, — осторожно сказал Кушелев, — число в сто пятьдесят — двести человек, по пятнадцати рублей в год.

— Куда пятнадцать! Все миллионщики, что ли!

— Уймись, говорю, Николай... Я предлагаю следующее: всем редакциям журналов и газет, — он скопился на Кушелева, как-никак все-таки издатель, — всем редакциям представить в выбранный центр, — при словах «выбранный центр» лицо Благосветлова на миг закаменело. —

представить списочек людей, за положение которых в обществе они отвечают во всех отношениях.

— Списочек — отлично.

Составили.

«Там собралось вчера человек до ста, почти исключительно литераторы, ибо по прочтении наскоро имен записавшихся у швейцара в книге встретились следующие: граф Кушелев-Безбородко, Вернадский, Лавров, Краевский, Панаев, Некрасов, оба Курочкины, Степанов, Толбин, Крестовский, Писарев, Писемский, Благодетель. Чернышевский, Апухтин, Рычков, Утин.

Из них, говорят, первые трое... избраны директорами. Сделано распоряжение, чтобы один из наших агентов, В., записался в Шахматный клуб членом. Там... первенствует некто Благодетель, занимающийся в редакции «Русского слова» ...говорят, очень озлоблен против правительства, как и все окружение его. О нем будут собраны ближайшие сведения...»

— Списочек — отлично, — Долгоруков донесение агента сунул в папочку, на коей с писарскими завитушками уже стояло: «ШАХМАТНЫЙ КЛУБ». — Отлично, — Долгоруков постучал пальцами по столу. Что же-с: все они в Шах-клубе каждый божий день изволят быть. Собрались в одном месте — плохо ли? Отлично, отлично! Он, шеф жандармов, сбережет коренные права правительства. А Головин-то, пожалуйста, уже говорит о необходимости некоторой свободы печати. Некоторой — это какой же, скажите на милость? Полный простор для развития материализма и демократической пропаганды. Чернышевский, Писарев, вообще эти два журнала — «Современник» и «Русское слово» — проб-то ставить негде в них...

Горестно наедине с собою Долгоруков усмехнулся.

Как не вспомнить Николая Павловича: «Больше твердости, господа!»

Вот из Брюсселя сообщают о желании Герцена хлопотать для своего сына разрешение возвратиться в Россию и вступить во владение инвестированным имением своего отца. Что ж — похвально и может дать, господа, самые разнообразные надежды на влияние и на самого родителя... Если, конечно, правда, что сын желает вернуться... Но что? Головнин предлагает войти по сему поводу в сношения с Герценом! В косвенные, но — в сношения с государственным преступником, не раз и не два, а две сотни раз доказавшим свою ненависть к российскому престолу!

А метод есть.

Долгоруков откинулся в кресле, принял мечтательную позу — глаза закрыл.

Метод придуман собственно им, князем Долгоруковым.

А есть барон Фиркс. Финансовый чиновник, следовательно, педантичен. Исполнителен. Тевтонского происхождения, следовательно, вдвойне рвется доказать преданность русскому монарху. Публицист, пишет под псевдонимом Шедо-Ферроти, следовательно, всю эту популярную у молодежи братию писак ненавидит, хе-хе, завидует. Вот и пусть пишет себе на здравие общества. «Lettre à M. Herzen par Schédo-Ferroti». «Письмо г-ну Герцену от Шедо-Ферроти». И издать, и распространить, и продавать во всех книжных лавчонках, и вообще везде, везде, везде! И любой грамотный, грамотный или хоть полуграмотный гражданин России прочитает, узнает, что это за птица такая — M. Herzen, с чем ее едят и как ей перья-то, перья как ошипывают! А не узнает — так слушок, хе, пустим.

Долгоруков оглянулся, словно кто-то мог прочитать его мысли.

Да-с, слушок. А что тут? Фиркс из его, подчиненного ему, князю Долгорукову, ведомства денежки получает, и немалые. Вот и отработывай, милый человек.

Общественное мнение следует создавать, формировать, поддерживать. А не договариваться с бунтовщиками и ждать, как там оно еще повернется. А в России людей, способных к делу, очень мало. Отчего это так, бог весть.

Головнин — Долгоруков слышал, ему соответствующие лица доложили, — говорил в Главном управлении цензуры, что государю угодно, чтобы цензура усилила свою бдительность и строгость против периодической литературы. Это хорошо, отлично. Но мало.

Головнин вместо того чтобы, как водится, дать указание, обратился к газетам да журналам: извольте, господа, сообщить свои мнения о новом цензурном уставе. И даже «Современник» и «Русское слово» записки представили. Ну, чудо, чудо, чудеса. Как, господа, вы желаете, чтобы с вашей пропагандой боролись? Так? Или эдак?

Долгоруков засмеялся, все пожимая плечами.

Однако же неудовлетворенность изменениями в обществе грозит более серьезными последствиями в обществе же. Государь это понимает ясно. И надежды на корпус жандармов возлагает, соответствующие серьезности момента. Нет, революции à la France в России не будет никогда, это вы, господа литераторы, оставьте попечение, но и любое потрясение основ невозможно никак допустить. И не допустим, не допустим.

Встряхнувшись, Долгоруков взял со стола колокольчик и позвонил.

— Кто у нас в Шахматном клубе записался членом? — медленно спросил у возникшей в дверях фигуры. — Вельяшев?

Фигура молча показала на помаженный, блестящий

пробор. Долгоруков, поджав губы, посмотрел в белую стрелку кожи на голове клеветы.

— Вызывайте, — щелкнул крышкой часов, — через час сорок.

— Слушаю-с.

16

В залах Думы проходили лекции — читался университетский курс, несколько разбавленный для разношерстной публики. Раиса с Поповой еще в феврале ходили слушать профессора истории Костомарова. Раиса вернулась оживленная, раскрасневшаяся, словно очнувшись от нервного оцепенения, в котором находилась с самого приезда. Писарев тоже повеселел, глядя на нее.

С самого, с самого, говорю, приезда Раиса — похоже на нее — отзывалась крайне раздраженно, была или же беспричинно грустна, или особо взвинченна, тискала руки. Один раз — Попова доносила — плакала. Получались ею письма, письма же отправлялись. Дело понятное — переживала разрыв. Ясно, что в Яковлевском ей более не быть, что ж, он понимал, привыкать к новому положению трудно, надо дать женщине привыкнуть. Он и терпел. В конце концов, все эти женские слезы, бабские страсти — преходящее. Женщина вольна в своих поступках наравне с мужчиною, но странно было бы отрицать присущие женщинам те или иные стороны характера. Даже у такой исключительной натуры, каковою является Раиса, даже у выдающегося для женщины беллетриста. Правда, пока ничего, сравнимого с давним (а, кажется, только что было) «Пустушково» она не написала, но напишет; напишет, он не сомневается. Пока же надобно как можно меньше внимания обращать на ее страсти, которые она себе сама и придумала. Пройдет.

Третьего дня заболела. Он вошел обеспокоенный, — конечно, обеспокоенный, — быстро взглянул. Только что, после лекций, она была так здорова с виду! Зачем же теперь разводить нытье?

— Что доктор сказал, Раиса?

— Митя, прикрой дверь, ведь сквозит, как ты не чувствуешь!

Он пошел и прикрыл дверь.

— Так что же?

— И не стучи, пожалуйста, сапогами. Ты и в дверь сейчас, прежде чем войти, громко постучал, — страдая, сказала Коренева.

Писарев, сидя подле кровати, громко захохотал.

— Митя! Господи!

Она зажала уши ладонями, отвернулась.

— Ну, полно, полно. Скажи, не нужно ли чего, а то мне идти надо сейчас.

С каким-то ужасом Коренева глядела на него, розовощекого, довольного собою несказанно. Только что вышли во второй книге его «Московские мыслители», он громко везде говорил, что крепко приложил Каткова, между тем Михаил Никифорович ее печатал, а хвалебный его Благосветлов только лишь расточал бурсацкие комплименты. Но Митя, Митя, с его умом — не понимать, что происходит. Не понимать, что он ее не только теряет, но давно, давно уже потерял. Временами ей становилось даже жалко его, беспечного, закованного, кажется, в броню самовлюбленности, ничего не замечающего вокруг. Она и знала, что он ездит к женщинам вместе с Баллодом, которого она терпеть не могла, вместе с Курочкиными обоими, а иногда и вместе с примерным семьянином Благосветловым. Что ж, она не осуждала Митю, она сама не могла дать ему то, на что, быть может, он рассчитывал, о чем, как о само собою разумеющемся, думали окружающие. В отсутствие меж-

ду ними близких отношений верили лишь Поповы, да и те... В конце концов, они с Митей часто оставались дома вдвоем.

От злости на себя, на Митю, на Благосветлова, на Поповых, на всех — она действительно вчера слегла в постель. Приходил доктор, дышал ей в лицо табаком, совершенно спокойно спрашивал, когда у нее были последние. Краснея, она сказала. «Ну-с, ну-с,— говорил тот,— нервы, голубка». И делал рукой полоскающий жест, показывая, что, дескать, раздевайтесь, раздевайтесь. Она не вдруг поняла, замешкалась, и он так же спокойно говорил: «Рубашку, голубка, рубашку повыше». И без стетоскопа лез ухом прямо ей в грудь, царапая усами кожу, задевал бородой торчащие соски. Она вздрагивала, незнамо уж с чего. «Нервы, голубка,— говорил тот с удовольствием,— нервы».

Теперь, после испытанного унижения, она вдруг действительно почувствовала себя плохо, тело заломило, сжало виски. Доктор прописал капли и, пообещав зайти завтра, наконец ушел. Митя, вернувшийся в четвертом, наверное, часу ночи, спал без задних ног. Это невозможно, он становился кутилой не лучше — или не хуже? — Курочкина. И ничего не замечал, ничего.

— Так что доктор?

— Сказал — женское,— сухо произнесла она, глядя в сторону.

— А! Ну, лежи.

— Постой, Митя. Сядь. Посиди немного со мною.

— Не могу, Раиса, ждут,— он уже стоял у двери,— быстро, пожалуйста, говори.

— Если Петя Гарднер приедет? — сказала Коренева, затрудняясь.— Он медик.

— Так и что? — Писарев искренне удивился.— И Баллод бывший медик. И тоже Петя. Тебе медиков мало? Или Петей?

— Мне внимания мало. А Петя заботливый человек.

— Извини, ты говоришь глупости. Даже, извини, не похоже на тебя. Какое тебе еще внимание? — он вернулся и снова сел на постели. — Все вокруг тебя скачут. Первая дама у нас, — он легко засмеялся, закидываясь. — Царица голосом и взором свой пышный оживляет пир. Видишь, даже стихотворцы отечественные за тебя. А я? Я, Раиса! Перестань же, в самом-то деле!

Она не ответила.

— Ей-богу, не понимаю, — он и плечами пожал, и развел руками, черты выразили недоумение. — У тебя женское, пройдет. — Он похлопал рукой по ее руке, лежащей поверх одеяла. — Пройдет. Перемелется — мука будет.

— Мука.

— Полно, полно... Все. Ушел.

Она пролежала ровно две недели. Митя заходил по несколько раз на дню, болтал, делился карточными победами, иногда — видно было — запинался, связывая рассказ о прошедшем дне, и она понимала, о чем он не договаривает. Победы победами, всякие, возможно, Митю ждали победы, искренне она ему желает настоящих-то побед, а пока за две недели проиграл он двести рублей, львиную часть того, что получил за обе первых книжки журнала, что вообще имел за душой. Варваре Дмитриевне и Верочке не послал ничего. Это было омерзительно. Да, так — омерзительно.

Она пыталась ему говорить — куда там! «Я эти деньги зарабатываю, я их и могу прокутить!» Заходил Митя каждый день, бесконечно толклась в комнате Попова, но она, Раиса, чувствовала в эти дни такое невыносимое одиночество, что, право же, готова руки была на себя наложить от тоски. Петя Гарднер не приехал: она не захотела глупых пересудов, достаточно за ее спиной пересудов. За письмами от Евгеша послать было некого.



На дом, договорились они, он писать не будет. Некого было послать за письмами и, соответственно, некому было отнести к пересылке ее письма. Он, конечно, уже невеста что думал. Говорил: не будешь писать — приеду. Хоть бы приехал! Но не приезжал. А Митя порхал, как мотылек. Тютек Митя, ох, Митя. Устала я, устала от твоих порханий, нету больше моих сил.

Первого марта она встала и, похудевшая, долго вглядывалась в зеркало, считая, что пора отыскивать в волосах первую седину. Седых волос не отыскалось, слава богу, но что-то изменилось в ней не только внешне: чувствовала — встала другой какой-то, новою. Может быть, подумала, встала почти Раисой Гарднер? Улыбнулась и покраснела, обрадовавшись этой мысли. Прошла по квартире, с удовольствием ощущая себя крепкой, духовно сильной, окончательно определившейся — сильнее и крепче, чем была она до сих пор. А до сих пор на ее душевную слабость никто не жаловался. И не пожалуется. Никто. Никогда.

Сегодня в зале Руадзе готовился вечер — чтения в пользу студенческой кассы, и они с Митей собирались присутствовать. Чернышевский должен был читать воспоминания о Добролюбе, должен был выступать младший Курочкин и кто-то из профессоров, она не помнила. Митя вошел, торопливый.

— Готова? Хороша, хороша, нечего смотреться.

Он хотел было поцеловать ее в щеку — отстранилась, как от постороннего человека, и обижаться-то не стоило на его вольности. Он не обратил внимания на ее досадливое движение, весь во власти расправившей его тайны.

— Знаешь ли — сбор пойдет в пользу Михаила Ларионовича. Хотя, конечно, это, — он прищелкнул пальцами, — куда меньше пользы принесет, чем дельная статья. Вон мои «Московские мыслители» вышли — сразу все встало на свои места!

Митя замолчал, глядя на нее, словно ожидая похвалы, подтверждения. Она улыбнулась ему, как ребенку.

— Поедем.

Они сели в четвертом ряду, Митя то и дело здоровался, вскакивая, а ей стыдно было в старом платье, она гнала эти глупые бабьи мысли, но все равно каждый раз, представляемая, испытывала неудобство. Один раз Митя сказал:

— Писательница Раиса Коренева, моя невеста.

Она, чуть покраснев, подала руку, господинчик махнул бородой по руке.

— Хватит, Митя, меня тут и так многие знают.

Действительно, знакомых лиц случилось очень много, зал переговаривался. Наконец вышел Чернышевский. Раздались два-три одиночных хлопка, и тут же все разом начали аплодировать. Скванно кланяясь, несколько бледный, Чернышевский с бесконечными своими «ну-с» и «гм» начал говорить — без текста, экспромтом — о Добролюбове. Она отвлеклась от своих мыслей, испытывая новую досаду.

— Да, господи, Митя, что же он так говорит? И не слышно ничего, и не понятно. А ты его чуть не богом чтишь.

Писарев недовольно стрельнул глазами на Раису, ничего не ответил, потом все-таки тихонько сказал:

— Он вообще выступать не мастер...

Еще раз искоса посмотрел на Раису и вдруг быстрая, как всегда, мысль мелькнула: женщина. Женщина все-таки не может отрешиться от мелочей. Ну, в самом деле, так ли важно, как говорит Николай Гаврилович. Важно, что он говорит, черт возьми! Даже такая женщина, как Раиса, не может оценить важности произносимого: Добролюбов, первый критик России, первым сделал перо литератора оружием пострашней картечи! Теперь его имя — знамя, которое держит Дмитрий Писарев.

Хотел сказать Раисе о знамени и не сказал.

Чернышевский закончил, встал, неловко поклонился и пошел со сцены, провожаемый редкими хлопками. Выскочил Василий Курочкин, тряхнул мужицкой гривой, закричал без всякого преуведомления:

— «Сплетник»! Из песен Беранже!

Зал взорвался. «Сплетник», напечатанный в прошлом году, в «Искре», пользовался популярностью, его знал почти каждый студент. Все понимали, что речь тут вовсе не о сплетнях.

*Господин Искарютов —
Добродушнейший чудак:
Патриот из патриотов,
Добрый малый, весельчак...*

По лицу Писарева гуляла улыбка.

*Чтец усердный всех журналов,
Он способен и готов
Самых рьяных либералов
Напугать потоком слов.*

Читал Курочкин, поднимая кулак и уперев другую руку в бок сюртука.

*Вскрикнет громко: «Гласность! Гласность!
Проводник святых идей!»
Но кто ведает людей,
Шепчет, чувствуя опасность:
Тише, тише, господа!
Господин Искарютов,
Патриот из патриотов —
Приближается сюда!*

Зал уже ревел, рефрен «Тише, тише, господа» встречался неистовством. Захваченная общим порывом, она прильнула к Митиному плечу, и он, тоже раскраснев-

шийся более, чем обычно, глядел радостно, счастливо принимая ее восторг, ее чувство единомышленницы.

— Молодец, Вася! — закричал Писарев. Его голос потонул в общем гуле. Курочкин сбежал со сцены, подняв руки, как триумфатор.

Вышел небольшого роста человек в пенсне, сказал, поглядев в зал:

— Гм.

— Кто это?

— Профессор Павлов.

— Я, господа, буду говорить о нашем юбилее — тысячелетии России.

Опять бешено заплодировали.

Павлов начал читать, но послышалось: «Громче, Платон Васильевич», «громче» и в публику — «тише! тише!» Павлов начал выкрикивать. Голос у него оказался петушиный, и повышенный тон создавал впечатление намеренного нажима, экспрессии.

— Как в древней, так и в новой! России! были известные общественные! группы! — кричал Павлов, — пользовавшиеся! теми или другими правами! Только масса! населения! всегда стояла вне! правового порядка!

— Правильно! — закричали из дальних рядов.

— Положение ее постепенно настолько! ухудшилось! что можно было ожидать страшного! народного! взрыва!

Опять по залу начал ходить гул.

— К счастью, правительство это поняло и приступило к реформам, — тише обычного сказал Павлов.

— Громче! — попросили снова.

— Ко времени вступления на престол! — закричал Павлов, — ныне благополучно! здравствующего! государя! чаша народных! страданий! переполнилась!

Вызывали его неотступно, наконец он вышел, постоял несколько мгновений и поднял руку. Все замолкли. Публика, ощущающая себя единым целым, готовым руко-

плескать, стучать ногами, вопить, выслушивавшая более двух часов непрерывные намеки, иносказания, а то и попросту откровенности, ждала.

— Имеющий уши да слышит! — наконец сказал Павлов и тут же, как чертик, скрылся в кулису.

Шквал упал сверху как волна. Митя топал ногами изо всей силы, Раиса, только что готовая кричать, зажмурилась, теперь уже не понимая, что она чувствует. Пик энергии, только что толкающий ее с места, прошел, она ощутила страшную усталость, словно выпили ее всю до дна, уцепилась за Митин рукав. А он... Он вскочил, не слышал и не слушал ее.

— Митя... Митя...

Зал ревел, стулья, казалось, посыпались к ногам встающих. Запели «Камаринскую». Она, еле стоя на ногах, смотрела и смотрела на поющего Писарева, прощаясь и прощаясь с этим в общем-то хорошим, когда-то близким, стоящим рядом человеком.

Наконец он увидел, что ей нехорошо.

— Эка... Не надо было и приезжать, только встала вчера. Говорил же тебе! — досада на миг прошла по его лицу, и снова горячечный восторг окрасил розовым щеки. — Да ничего, пройдет. Не обращай внимания. Главное, все сказано, Раиса! Вот что значит вовремя и хорошо сказать! Видишь, как слово движет людьми! — он говорил словно в забытьи, и она опять со страхом взглянула в пылающий синий огонь его глаз: нет, не мое, не мое!

— Поедем, — с усилием сказала Коренева.

Он пожал плечами. Извиняясь, отодвигая не обращающих на них внимания бешено бьющих в ладоши людей, они прошли по рядам и спустились в швейцарскую. Литературный вечер закончился.

— Подожди минуточку. Я сейчас, — Писарев задержал ее за дверями. — Тут дело есть.

— Извини, Митя, может быть, потом? Я устала, ус-

тала! Не бросай меня,— сказала и сама вымученно улыбнулась получившейся фразе.

Засмеялся, довольный, счастливый.

— Ни за что не брошу. Но ты забыла, что мне журнал надо вести. Евлампич только ругаться мастер большой. Если эта статья Павлова цензурою уже разрешена, так представляешь — можно успеть в февральскую еще книжку, выпустим третьего и четвертого марта, завтра, а нет — послезавтра.

Он не замечал, что ей не до журнальных дел, не до всего этого шума и гама. Не хотел замечать и не мог заметить.

— Так минуто, Раиса,— оставил ее у резной прито-локи. Она осталась стоять, словно ожидая не спутника своего, а любого, кто подойдет. Неутихающего рева за спиною, в зале, она словно бы не слышала, отошла несколько шагов в сторону, чтобы не мешать стоящим в проходе аплодирующим господам, заденут локтями, ей-богу.

Вот, думала, все, окончательно все. Она глубоко сочувствует Мите, но она устала, у-ста-ла. Хочется поля, луга, леса, тихого дома. А той жизнью, которою живет Митя, она прожила в мечтах еще несколько лет назад, более не желает. Все, не желает.

— Раиса! Представь — Бекетов цензуrowал! Едем! Быстренько, мне еще успеть в типографию к Тиблену,— Митя, подскочив, тряс в воздухе пачкою листов.— Вот! Поехали!

— У вас же Рахманинов цензор,— еще сказала она почти равнодушно.

— Неважно, это одна шайка, хотя Бекетов везде и говорит, что он либерал. Цензора сменяются, словно караульные на часах. Утомительно непрерывно бдить, вот и сменяются. Рахманинов узнает, что Бекетов пропустил, почти не станет читать. Эх! — он стукнул рукописью по рукаву сюртука.— Павлов не дал подписанный Беке-

товым экземпляр! Ну, понятно, ему нужно доказательство... Ладно, едем скорее.

Больше ничего не сказав, она пошла, наклонив голову, впереди него к выходу.

17

Что, не замечать того, чего нельзя не заметить? Смотреть через розовые очки? Так и ступать поверх мерзостей? Да уж никакие не розовые, а вогнутые, что ли, нужны очки — отдалить самую жизнь, увидеть в перспективе грязь, неустройство и не узнать их в лицо. Так и можно заключить, что нет их совсем. Вогнутые очки филистерам еще Гейне предлагал, и они их с удовольствием носят! Ну что, поверим, что можно любые по желанию очки цеплять на нос? Во всяком случае, власти предержавшие нас усиленно заверяют, что можно. И сами надевают то те, то эти — в зависимости от обстоятельств. А что в результате? А в результате, господа, окончательно испорченное общественное зрение. И спасет его только вмешательство хирурга. Тут не помогут чайные примочки на английский манер, усиленно рекомендуемые господином Катковым. Жаль, глаз не поддается операции. Когда-нибудь, лет через триста — четырехста, скальпель медика сможет поправить что-то в глазном хрусталике, то-то будет веселиться очередной российский Романов! Приступил к глазу с уверенной рукой, удалил «лишнее» — больной кричит «ура!». Он видит то, что должно видеть. То-то, говорю, обрадуется любой и чиновник, что Романовы! Подчиненных возможно станет к оператору отправлять! Чем же не любо, миленькие мои?

Еще и спасибо, поди, скажут. Привычка к очкам губительна, известно, для зрения. Уж взялся носить, так не снимай. Снимешь — плывет все, качается. Скорей назад! Или зажмуриться можно, вызвать в воображении

те сладостные образы, которые только что душу согревали. И так можно, говорю.

А можно и продолжать всматриваться, разглядывать вдруг, по снятию очков, приблизившуюся, уродливую в своей наготе даль. Всматриваться, да и корреспондировать зажмурившимся, что там, в близкой нашей дали, видится на самом-то деле. Тут и одно слово сколько понаделать может, вспомним хоть и Павлова. Одно слово — сколько, а уж «Русское слово», наполовину состоящее из моих слов, — ого-го!

Ну, я знаю, что я человек увлекающийся. Иным вообще человек быть не может, если он человек, а не скотина, чтобы жрать, спать да девок отдирать! Я, я уж буду говорить больше и больше, и воодушевление говорящего, которым еще Демосфен сам себя, братцы, подогревал, у меня присутствует в самой замечательной полноте-с!

Как у Гоголя-то в предисловии к «Мертвым душам». Хоть с полки взять и прочитать: «...окурил упоительным куревом людские очи... чудно польстил им...» — один, «вызвал наружу все, что ежеминутно перед очами» — другой. Вот еще: «...всю страшную, потрясающую тину мелочей, опутавших нашу жизнь». Кому из двух лучше живется? Что и спрашивать, а я — во вторых, горжусь тем... Энергию свою передавать со страницы, отдавать, не надобно. Первый — свеж, второй — изнурен. И чуть сними эти вогнутые очки, мучают химеры, обступающие, видимые яснее, чем прочее. И долбить, долбить, долбить головы тупоумам, долбить чугунные затылки — сколько уходит сил. В момент, когда пробьется дыра, последние могут уйти силы, сам упадешь в открытый гроб. Разом закроется за тобою крышка, но вдруг ли совершилась смерть?

Герой сгорает вдруг, но готовит подвиг всю жизнь сознательного действия. Можно было бы самому не сго-

реть! О, можно было бы! Ан выбора нет, нет примирения с тем, что видишь, и приходится говорить, нельзя, нельзя помириться! Труд говорящего так-то тяжел, милые мои, да ведь иначе тоже — умирать. Или молчать, что смерти подобно, или говорить, мучая и себя, и слушающих. «Блажен незлобивый поэт», — Некрасов говорит. А «блаженны нищие духом» — это раньше Николая Алексеевича, куда раньше, сказано под вещую, господа, диктовку. Ах, хочется, хочется блаженства, да никак нельзя. «Блаженны плачущие», — говорит господь и я, господи прости, хе-хе, вместе с ним. «Блаженны плачущие, ибо они утешатся».

Право слово, вовсе не желаю дописаться до бессмертия, хотя, воля ваша, признаться наедине с собою, рад составлять Евангелие от Дмитрия Писарева. Не божий промысел, не дух диктует — разум говорит, логическая необходимость общественных перемен. Бог — разум, только. Свободно высказаться о нынешних неудобствах и странностях — одно желание, высказаться, чтобы грядущий из тьмы читатель, сняв личные печати моего письма, открыл и суть, и движущие причины моих мыслей. Разбудить спящий мозг слушающего, читающего — вот задача. И решу я, я, Дмитрий Иванович Писарев, решу и решаю. Дайте мне только такого читателя, который желает проснуться, очки смахнуть с глаз. С очей.

Раиса, Раиса...

Я говорю, говорю...

Песня долгá, пока солнышко взойдет, роса очи выест. Но — петь, петь, громко петь.

Катков: «Ни одна литература в мире не представляет такого изобилия литературных скандалов, как наша маленькая, скудная, едва начавшая жить, литература без науки, едва только выработавшая себе язык».

Приложил Катков!

Ну, напишем: «Скандалы неизбежны, потому что вам

на каждом шагу представляется неотвязная дилемма: терпеть насилие или подымать крик, а иногда приходится даже делать в одно время и то и другое. Разве было бы лучше, если бы несправедливые поступки проходили без огласки, если бы нелепые мнения принимались без спора? Восставать против обилия скандалов — значит, другими словами, проклинать зарождающуюся гласность».

Катков себя, поди, почитает олицетворением солидности и патриотизма. Все, мать их, такие патриоты, что хоть куда. А кто скандалит — не патриот, вся и недолга. Не патриот — ату его, господа!

Нет, мы — патриоты, но только мы молоды. Сама мысль в России молода. А Катков: не моги, дескать, вмешиваться в общественную жизнь, там все без тебя давно устроено, ты, мол, воспевай красоты нив и берегов, а более не ступи пяди, более — не литература. Как бы не так!

А мы ему: «Почти вся масса ума и таланта, порождаемая русскою почвою, с неудержимой порывистостью бросается в литературу и находит в ее различных родах полное удовлетворение своему стремлению к деятельности».

Как, говорю, печать поставил. Клеймы у меня личные, собственные, господин Михаил Никифорович, Раисин приятель, благодетель рода человеческого. Значит, в незрелости наших суждений погодите упрекать. Молодая мысль перебродит, потяжелеет, сама сдвинет горы, только дай!

Вспомнить, в какой среде прошло наше детство, как протекало воспитание. Страшно вспомнить. И что теперь? Теперь так: «Мы, становясь на ноги, принуждены были разрывать связь с нашим прошедшим, переделывать сверху донизу весь строй наших понятий, выкуривать из наших понятий, выкуривать из нашего мозга ту нелепую демонологию, которая заменяла нам в детстве трезвые понятия о мире».

Мы говорим о необходимости переустройства для блага отчизны, а нам талдычат, что мы, дескать, мешаем плакать навзрыд при словах «матушка-Русь православная». Мы говорим, что надобно отображать явления действительной жизни и высказывать взгляд на эти явления, а нам — что мы не представляем своих героев сказочными богатырями и не наваливаем им на плечи невероятных подвигов самоотвержения. А вокруг-то живая, а не сказочная жизнь.

Так: «Вокруг нас кипит живая жизнь; что ни шаг, то предмет для размышления, и притом такой предмет, который непременно надо обсудить, чтобы иметь возможность идти дальше; тут сама жизнь задает вопрос и шевелит мысль, успевай только обдумывать и решать; успевай только пробиваться и разрушать действительные препятствия».

И ведь хитрецы. Спроси их, нужно ли что-либо делать для устройства России, так сразу закричат, что радуют о благостных преобразованиях.

Ну, получи: «Нам предлагают углубиться в самих себя, заняться диалектическими выкладками, воскресить покойный гегелизм и зарыться по уши в какую-нибудь отвлеченную систему, которая не успела даже выработать себе ясного языка. Мы с удовольствием готовы пользоваться философской диалектикой как орудием борьбы, как средством разрушать предрассудки, но когда философская диалектика уходит в область слов, когда она, теряя из виду действительность, забывая условия места и времени, начинает расплываться в общих рассуждениях, не приводящих и не могущих привести ни к какому осязательно-практическому, жизненному результату, тогда мы отвертываемся от этой диалектики и находим, что заниматься ею скучно, а спорить с тем, кто ею занимается, бесполезно».

Катков и иже с ними спорят из-за слов да на мелочах

останавливаются, а на деле — глубинный интерес: незыблемость того, что уже однажды устроено для них. И хочется им — раз и навсегда. Ну, как не претендовать на обладание истиной, требовать себе авторитета. Господин Катков априори ставит себя выше толпы нашей. Это мы, я — толпа для него. И как не родиться тут наивному негодованию, когда эта толпа идет своим путем? И не обращает внимания на радетелей, хватающих за рукав. Что остается им, как не озлобиться и с тем утратить вообще понимание происходящего? А аргументы, аргументы! «Мир этот существует, и христианский смысл говорит нам, что если мир существует, то Бог его терпит, что Он в какой-либо мере положил в нем Свое благоволение и что самое зло обращается в орудие к раскрытию истины, к осуществлению блага». И приговор над всею литературой делается — кому же не ясно? — со смертельной ненавистью к литератору-сопернику. Раздраженная солидность Михаила Никифоровича эдак и прет из «Русского вестника». Ну, мели, Емеля, твоя неделя. А мы на «вестник» — «слово», тоже, между прочим, русское. Забыли, что печатное слово в нашем обществе — опасное оружие? Оружие — слово...

Гарднер вошел тихо, ожидать нельзя было, что войдет так тихо, потихоньку, без стука; войдет и встанет у притолоки, словно вдруг проявившееся привидение. Раиса вскрикнула, рванулась было к нему, но только ответила на неотрывный взгляд Евгеша — странный, надо признаться, взгляд выпуклых победительных его глаз. Наконец он, чуть улыбаясь, тронул пальцами усы, взгляд потеплел, и она, все-таки рванувшись, как рвутся к любимому миллионы миллионов женщин, припала к его желтому охотничьему кунтушу.

— Ну-ну-ну,— Гарднер поцеловал ее в теплую голову.— Вот и приехал, вот и приехал. Ждала?

Сияя, она лишь покивала, снова обхватила всего его, большого, крепкого, и тут же они отскочили друг от друга. В коридоре простучали быстрые решительные шажки.

— Где? — спрашивал Митин голос.— Прошел к Раисе?

В дверь резко постучали, и Митя, весь в красных пятнах, влетел в комнату. Улыбаясь, Гарднер поклонился и, помедлив, руку протянул.

— Здравствуйте,— отрывисто сказал Писарев, отвечая на рукопожатие. Быстро осмотрел его — кунтуш, сапоги.— На охоту изволили собраться?

Вопроса такого Гарднер не ожидал, но то, что тютек, собственно, попал в точку — он, Евгений Гарднер, приехал, действительно, крупную дичь отстрелить,— было смешно. Да, смешно. И Гарднер захохотал, откидываясь и показывая великолепные зубы. Раиса тоже засмеялась, глядя на эти его зубы. Ох, зубы! Смерть, а не зубы.

— Проездом в Базель, потом на воды. Еду, как все порядочные люди, морем.

— Да?

Это «да» относилось к эпитету «порядочный», но Гарднер подумал, что выражается сомнение в незыблемости его решения ехать. Он-то знал, что сомнения имели основательную почву, и поэтому сказал:

— Уже билет заказан, Дмитрий Иванович.

— Когда же в Европу?

Тютек вел себя нехорошо, плохо вел себя. В вопросах явно слышалась издевка. Раиса, он видел, уже и посмотрела испуганно. Надо было сразу оборвать нахала.

Ответил с возможной грубостью в голосе:

— Не знаю... Через неделю. Или через десять дней, что ли. Я не спешу. Да. Побуду. Раиса,— он повернул-

ся, — покажете мне Петербург, не так ли? Я ведь столицы, собственно, толком и не знаю. Исаакий...

— Да-да, — поспешно сказала Коренева.

— В цветочную выставку можно, — в тон добавил Писарев, — открылась только что. Вам, как сельскому хозяину, интересно, господин прапорщик.

— Обязательно! Раиса, не забудьте в цветочную выставку.

Он покраснел: «прапорщик» наконец-то возымел действие. «Прапорщика» Гарднер стеснялся. Да, прапорщик. А ты-то в каких сам чинах? Прапорщик. Офицер, а не студентик или кто там... писака дребанный. И что наскакивать-то? Смерил соперника взглядом. Хорошего разговора сразу не получилось — к лучшему. На охоте только сразу порскнуть, а напускать по стоячему — даром и время терять. Сразу порскнуть. Сам и напрашивается. В одного дуплетом — вьюить! Бах! Бах!

— Дуплетом, — сказал, отвечая собственным мыслям.

— Что-с?

— Что-с? Я говорю: мы с Раисой Александровной осмотрим Исаакиевский и выставку, так сказать, дуплетом, за раз.

Писарев засмеялся, дергая плечами.

— Идите оба. Я сейчас выйду. Митя, тебе в редакцию, ты говорил?

Они вышли, Гарднер, поклонившись, остался стоять у дверей, словно страж. Писарев тоже остановился. Но было глупо стоять здесь так, тем более — соперничать с фатом. Раисе он надоест тут же, иного и не может стать. Писарев фыркнул и пошел себе. В конце концов, много думать о такой ерунде не приходится, порядочная женщина сама во всем разберется, а уж тем более Раиса, все понимает. Раиса, Раиза, Роза моя уж разберется, в самом-то деле! У Кушелева предстоял банчок,

графа надо было наказать на четвертной билет как минимум, как минимум.

Семьдесят рублей долга Кушелеву — это-то пустое, разочтемся при выплате гонорара, ведь пишется сейчас, как никогда, много и хорошо, это дело мы решим, а все-таки появление Гарднера, с которым, считалось, покончено раз и навсегда, все-таки появление Гарднера — некстати, что ни говори. Признаться, из колеи выбивает. Надо сегодня же повторить свое предложение Раисе. Пока же он свободен, волен собою распоряжаться, волен играть, ездить в известный переулок, коль скоро Раиса как скала непоколебимая... Скала — и для всех скала, не так ли, господин прапорщик? О, вы, милый усач, таких крепостей не брали, думаю, никогда в жизни! Тут умному человеку не подступиться, не то что тебе, балбесу толстозадому.

Весело зашагал по весенней улице, разбрызгивая грязь.

Радостный, выиграв более сотни, явился домой во втором часу. Усталость не давила на сердце, дышалось легко. Все — легко, все пройдет. В доме спали, только у Раисы горел свет. И вдруг екнуло в груди — полоска света из-под высокой раисиной двери мерцала тревожно, желтый лучик, лежащий на паркете, трепетал, покрываясь тенями, силился, кажется, высказать что-то, предостеречь. От чего? Сердце екнуло и упало куда-то в желудок. Остановился перед дверью: тихо. Уже легла, читает, небось? Пожалуй, и не пустит — поздно, и так боится, что услышит Попова, как он входит к ней посреди ночи. Тихо постучал, но, вспомнив тут же, что она всегда говорила, что надо, наоборот, не таиться, показывая, что тут ничего нет, постучал громко, громко спросил, можно ли, и тут же рассердился на себя: показываю, что ничего нет, когда есть, есть, есть!

— Можно к тебе?

Она не ложилась, оказалась одетой, необычно бледной, посмотрела с каким-то непонятым испугом, как недавно смотрела в зале Руадзе. Тогда он подумал, что женское в ней берет верх над сутью твердого, умного человека, теперь же ее испуг не понравился.

— Ты смотришь так, словно виновата. Господин прапорщик не прячется ли под кроватью?

Та вспыхнула:

— Да никакой моей вины нет. А под кровать сам загляни.

— Прости, пожалуйста, — Митя сразу сдал позиции. — Я... — Он хотел сказать, что пришел для серьезного разговора, но почему-то вырвалось: — Выиграл сто двадцать четыре рубля!

— Очень рада за тебя.

— Кушелев говорит: разорите меня, Дмитрий Иванович! Если бы на самом-то деле — с удовольствием. Прокатились бы с тобою по европам! С шиком! Не то, что этот сукин кот в венгерке!

Она вспыхнула вновь — на этот раз, видно, уже с настоящей злобой, и Митя испугался: злобной Раиса бывала редко, тут уж к ней не подступись; вспыхнула, хотела что-то сказать, но не сказала, а только сухо попросила, чтобы он, наконец, сел и выслушал.

— Да. Сижу, слушаю.

Вздохнула, собираясь для неприятного разговора, еще успела подумать, не отложить ли до завтра или, лучше всего, как и просил Евгеша, сказать после, потом, когда свершится, но не дала себе поддаться слабости, да и что? Мите давно все сказано раз и навсегда, осталось только подтвердить решенное.

— Евгений Николаевич оказал мне честь, попросив стать его женой.

Непосредственность Митина тут же показала себя — засмеялся, засмеялся, захохотал, вскидываясь. Рассме-

шил в первое мгновение оборот «оказал честь». Древний речевой оборот, воля ваша, в настоящем случае выглядел преуморительно: Евгений Гарднер, место пустое, штаны со шпорами, оказал честь, слышите, честь — Раисе, Раисе! Ну, умора, умора, господин прапорщик! Однако Раиса сидела неподвижно, только на все еще покрасневшем лице ее, всегда вдруг темневшем от волнения, дрожали губы. Сидела неподвижно, и Митя постепенно стихал, наконец, только сказал еще несколько раз: «Ха-ха, ха-ха-ха...» Почему-то в теле осталась дрожь; он сделал внутреннее усилие и дрожь прекратил. В тишине Раиса сухо произнесла:

— Я приняла предложение. Мы обручились. Свадьба 18 апреля.

Писарев почувствовал, как на него упала холодная чугунная плита и погребла веселые, горячие вечера с разноцветными рубашками карт, что сами, как и слова игры, горячили кровь: «Вы, Дмитрий Иванович?» — «Угол! Валет». — «Так-с. Восемь рубликов-с». — «На пэ. Шестерка». — «Пас». — «Хе-хе-хе-с... Девяносто шесть». — «Пас».

«Пас, пас, пас», — застучало в голове. Словечко капитуляции отрезвило. Писарев вскочил, сжал виски руками, отнял руки и с убежденностью, страстно, словно заклиная, выговорил:

— Не может быть! Не! Мо! Жет! Быть!

— Да перестань, Митя. Все давно уже сказано, я не понимаю, почему для тебя явилось откровением наше решение. Наша совместная жизнь здесь, у Поповых, только укрепила меня. Перестань, — Коренева встала и, подружески сострадавая, дотронулась до его руки. — Ты полагал, что я тут к тебе привыкну? К жизни твоей? Ты мне уготовил участь комнатной жены, мужа поджидающей — после его походов?

— Раиса!

— Да-да, — она в волнении прошлась по комнате. —

Я окончательно убедилась, что жить с тобою невозможно. И я никак бы не поняла женщину, готовую связать с тобою судьбу, Митя! Да, Митя! Я очень, очень ценю твой талант, ты слушаешь меня?

По несчастному писаревскому лицу гуляли тени. Он сидел, маленький, скукоженный, чем-то неуловимо напоминавший сейчас обиженного зайчишку из сказочного раешника. Больным — да, уставшим — да, но разгромленным его еще не видел до сих пор никто. Наконец он поднял голову.

— Послушай, Раиса. Гм... Послушай. Я тебе вот что предлагаю. Сядь.

— Да я не хочу ничего слушать, все решено.

Шелестя платьем, она села у ломберного столика, подперла рукой гладко зачесанную голову.

— Все. Устала. Спать хочу. Извини, Митя.

— Послушай,— словно в забытьи, продолжал Писарев,— вот что: мы с тобой завтра венчаемся...— Она сделала энергичный жест.— Да подожди! Мы завтра венчаемся, и прямо из-под венца ты уезжаешь с Гарднером куда вам благоугодно. Слушай! Я выдам тебе паспорт, все, что полагается. Уедешь куда хочешь, Раиса. А когда прозреешь... Да слушай! Он же просто фат, глуп как пробка. Когда прозреешь, вернешься ко мне. И я даю честное слово, что никогда, ни при каких обстоятельствах, ни единым звуком не напомню тебе о твоих заблуждениях,— тут он выпрямился.— Никогда. Это умрет! — Она смотрела с изумлением.— Ну,— снова сник,— я все понимаю, увлеклась. Каждый из нас имеет право на личную жизнь, на увлечения, не так ли? Я считал и продолжаю считать, что личная жизнь каждого — его личное дело, никто не должен вмешиваться.— Она усмехнулась, и он тут же кивнул, отвечая на ее усмешку.— Я и не вмешиваюсь, я просто хочу помочь тебе избежать ошибки. Это у тебя поверхностное, Раиса,— повысил голос,

с силой произнес: — Поверхностное, временное! Пройдет, что тогда? Куда ты — ни жена, ни вдова?

— Боже мой! — таким же характерным движением она взялась за голову. — Боже мой! Ты сумасшедший. — Еще выше подняла руки, и грудь ее поднялась вслед за руками. Опять сжавшийся в кресле Писарев затравленным взглядом следил за женщиной. — Ты ничего не хочешь понимать! Ты даже не можешь ничего понять! О! — она закинулась, закрыла глаза. — Как я устала, ты не представляешь.

Тут он бросился, чтобы обнять, остановить, но Коренева успела заслониться. — Митя! М... Митя! Уходи! — бешено указала на дверь, освободившись. — Я могу и к черту послать! Ты ли не знаешь? Уходи отсюда! — Быстро поправила оборки на платье, снова ткнула пальцем в дверную ручку, дышала тяжело. — Вот тебе бог, а вот порог, Митя. Простим друг друга, и делу конец.

Писарев, растерзанный, выбежал вон. В комнате, побросавшись из угла в угол, наконец присел на кровати, сгорбился. Жизни не стало. Не стало жизни. Эта мысль вызвала другую. Усмехнулся, представив, как достает из ящика пистолет, заряжает пулю, подносит руку к виску. Поднес руку, словно бы держащую пистолет, к виску, чуть отклоняясь головою, нажал курок. Упал на постели, заплакал. Пистолета не было, да и он (поднял голову) ни за что не застрелится. Оставлять свою жизнь? Глупо, глупо. Опять сел на постели. Глупо. Я не желаю стреляться. Однако же вызвать — другое дело. Вызвать дурака. Драка — другое дело. Гарднер от Крымской войны в тылу прятался, небось и стрелять толком не умеет. Впрочем, даже если и умеет. Драка — другое дело, бой, поединок — другое. И он, Дмитрий Писарев, не может быть убитым, этого просто не может произойти. Зареванный Митя тихонько засмеялся. Очевидность выхода из тупи-

ка представлялась настолько ясной, неизбежно правильной, что действовать следовало немедленно.

Дуэльный кодекс даже ему известен: если тебя вызовут, ты можешь, теряя честь, отклонить дуэль, но вот оскорбление дворянин перенести не имеет права, обидчика должен вызвать. Митя еще раз засмеялся. В петушиной глупости Гарднера он не сомневался. Следовало немедленно, пользуясь вдохновением, сочинить послание, неизбежно долженствующее кончиться картелью.

Быстро взял со стола лист, стукнул пером в чернильницу, поставил сверху эпиграф: «Дуракам счастье», начал без помарок писать:

«Милостивый государь,

Евгений Николаевич!

Как вы легко можете представить, я вовсе не рад тому, что вы женитесь на моей двоюродной сестре. Не имея высокого понятия о вашем уме и характере, я просто считаю вас за дурака и фата и с свойственной мне откровенностью выражаю вам это мнение. Я выражал его и другим, говоря по поводу вашей свадьбы русскую поговорку: «не в коня корм» и варьирую ее иногда так: «не в осла корм».

На миг оторвался от бумаги. В ушах стоял звон, щеки, чувствовал, горели. Так, так — надобно действовать кардинальными средствами. Быстро продолжал:

«Получив это письмо, вы не будете знать, что с ним делать. Я укажу вам три образа действия:

1. Или вы можете спрятать это письмо в карман, притвориться, как будто вовсе его не получали. Можете даже повеликодушничать со мною, оставаясь в прежних отношениях, и даже видеть меня шафером на вашей свадьбе;

во-2, вы можете вызвать меня на дуэль, и я буду к вашим услугам;

в-3, вы можете донести на меня 3-му Отделению, и меня посадят под арест.

В первом случае мне будет приятно знать, что вы проглотили непозолоченную пилюлю. Во втором — мне приятно будет сорвать зло на вас или на себе. В третьем — мне будет приятно, что вы сделали подлость. Во всяком случае мне приятно подлить каплю горечи в ваше незаслуженное счастье, которое дается вам на долю только потому, что теперь весна пробуждает чувственность женщин и усыпляет мозговую деятельность.

Предупреждаю вас, что я оставил у себя копию с этого письма и, когда мне вздумается, покажу ее кому мне угодно».

Подумал, все ли сказано. Ведь не поймет, дурак. Кретин. Сволочь. Не обидится. Приписал еще:

«Если б я вас уважал, я не написал бы этого письма. Письмо это в сущности не дерзость, это только откровенно выраженное мнение. Если вы с ним согласны, то проглотите пилюлю и смолчите, если, паче чаяния, не согласны, то протестуйте. Мы даже можем назначить...»

Подумал, кого взять в секунданты. Беллетрист Афанасьев-Чужбинский — сотрудник «Русского слова», старый вояка, картежник и балагур. Чужбинский — то, что надо: «в дуэлях классик и педант». Отлично! Мы, действительно, хоть сейчас можем назначить место и время. То есть, как секундант, Александр Степанович назначит место и время купно с секундантом этого кретина... Наверняка Петя Гарднер окажется...

«...Можем даже затеять диспут, в котором я буду доказывать, что вы дурак и фат; вы же можете утверждать совершенно противоположное.

Готовый к услугам вашим,
Д. П.».

Поднял руку с пером над законченным посланием. Прислушался — все спали. «Ладно, — подумал, — дело, считай, сделано. Все еще, Раица, можно поправить.

Завтра, завтра. Впрочем, завтра уже наступило». Спать было невозможно.

Балахон, в котором он ходил дома еще со студенческих, мазановских времен, в котором он чувствовал себя Аполлоном Тианским, римским всадником, Овидием, всеми вместе, сейчас напомнил и о студенческих бессонных ночах. Куда? Достал часы, щелкнул крышкой — рано. Трактиры открываются в пять, рано. Подошел к зеркалу, долго вглядывался в себя, осунувшегося. Глупо, глупо, глупо, бессмысленно. Напроповедовал свободу чувств, а сам что? Непобедимый логик, а? Где твоя логика, воля где? Нет, бороться! Бороться! Письмо, уверен, свое дело сделает, письмо отправим завтра же. Бороться, работать! Он — сильный, новый человек, таковой, как выведен Иваном Сергеевичем Тургеневым Евгений Базаров в последнем романе.

Писарев уселся за стол, отодвинул письмо к Гарднеру на самый край. Мысль о том, что имечко для своего героя Иван Сергеевич выбрал не очень удачное: имя чисто литературное, его могут давать дураки-папаши своим дуракам-детям, такое имя носят и в жизни, и в литературе одни лишь бездельники, хоть вспомнить шаркуна Онегина или — бросил взгляд на письмо — нашего друга прапорщика. Мысль эта мелькнула и вылетела из головы, желание работать, писать, как всегда, захватило. Еще успел подумать: если то, что произошло только что, не выбило его из колеи, то он — молодец, как говорит Баллод, молодчик. Да, на жизненные катастрофы надобно смотреть сверху вниз. Базаров — пример нашему поколению, это человек новый во всех смыслах.

Митя слышал, конечно, что Тургенев из-за Добролюбова поссорился с Некрасовым, ушел из «Современника». Некрасов, Николай Алексеевич, принял сторону Чернышевского с Добролюбовым, и отличный, надо сказать, делают они журнал. И он сам, Дмитрий Писарев, вполне

смог бы — любого заменить в «Современнике», да что думать об этом! У нас не хуже! А Тургенев замечательную штуку написал! Главное — сегодняшнюю, всех, всех нас изобразил замечательно верно.

Совсем отрешившись от событий сегодняшнего дня, бросил на чистый лист:

«Новый роман Тургенева дает нам все то, чем мы привыкли наслаждаться в его произведениях. Художественная отделка безукоризненно хороша; характеры и положения, сцены и картины нарисованы так наглядно и в то же время так мягко, что самый отчаянный отрицатель искусства почувствует при чтении романа какое-то непонятное наслаждение...»

Остановился. Надобно было объяснить, чем, собственно, должен наслаждаться читатель. Главный герой, Базаров, беспричинно груб, резок, остальные герои — мелкие, малоинтересны. Связывающего все повествование плана, кажется, и вовсе нет, есть группы картин, характеров — только. А в том дело, милые мои, что Базаров — из того меньшинства, пусть и незначительного, которое во все времена выражало, так или иначе, недовольство окружающей жизнью, формами ее существования. Да, и Онегин тоже в принципе из них, и Печорин, и Рудин, и Бельтов...

Написал: «Немножко Онегиным, немножко Печориным бывал и до сих пор бывает у нас всякий маломальски умный человек, владеющий обеспеченным состоянием, выросший в атмосфере братства и не получивший серьезного образования».

И он, Дмитрий Писарев, мог бы превратиться в эдакого скучающего трутня или хоть в Рудина или Бельтова, если бы не умел работать, не понимал бы ясно, что приносит пользу.

Далекие часы уже не раз перезванивали за стеной, мгlistый петербургский рассвет постепенно заполз в ком-

нату. Писарев работал, рука бегала быстро, почти без помарок писал, правда, вот один раз резко отчеркнул написанное, снова начал строчить. Счастье — забыл про Кореневу, спящую в тридцати, почитай, метрах от него. Кореновой снилось, что ледоход принес на льдине в Яковлевское собаку, большого желтого пса с мягкими ушами, желтого, словно охотничий Евгешин костюм, и вот она, Раиса, обнимает эту собаку, целует, а та лижет ее шершавым, влажным языком. Коренева улыбалась во сне, а Митя писал про рудиных и бельтовых: «Верно, по крайней мере, то, что переделать условия жизни у них не хватает сил, а ужиться с этими условиями они не умеют».

Вот так — переделать. Но практическими-то людьми рудины не сделались. Это главное. И к ним, к рудиным, можно обратиться лишь с укором и насмешкой: «Об чем вы поете, чего вы ищете, чего просите от жизни? Вам небось счастья хочется, да ведь мало ли что! Счастье надо завоевать. Есть силы — берите его. Нет сил — молчите, а то и без вас тошно».

Эдак вот, милые — не руками махать, а брать, самим брать счастье в жизни. Борься, — бросил взгляд на письмо, — бороться!

Как хорошо написал тогда Николай Гаврилович — поперек всего доброго у нас стоит азиатский порядок дел. И нужно быть просто-таки суеверным человеком, чтобы в болтовне и всяческом обличительстве усматривать доброе дело. Нет, милые мои, надобно изменить причины непорядков, тут нужны не припарки, а рвотное, все существо, весь организм необходимо вывернуть наизнанку. Вот Иван Сергеевич и вложил в базаровские уста: «Грубейшее суеверие нас душит». Именно! Курсивом выделить эти слова. У нас-то дурачков сколько, восторженных дурачков. Обманная реформа крестьян, обманные надежды, а все верят! Это черт знает что такое!

Верят! А у Базарова все есть — воля, ум, энергия. Эх, да приложить-то ее некуда! Вся сила ушла в смерть, смерть описана у Тургенева великолепно! Что еще мог сделать Базаров, кроме как умереть? До шестьдесят первого-то года, год, два назад? Да ничего и не мог сделать... А сейчас? Бросил перо, уперся руками в стол, словно собираясь оттолкнуть его от себя, откинулся. Подумал, что, собственно, базаровым на свете нехорошо живется. Делать нечего, любить некого, стало быть, нечем и наслаждаться. Склонившись, записал эту мысль, снова откинулся. Что же тогда, милостивые государи мои, прикажете делать, чем жить?

«Жить, пока живется, есть сухой хлеб, когда нет ростбифу, быть с женщинами, когда нельзя любить женщину, а вообще не мечтать об апельсиновых деревьях и пальмах, когда под ногами снеговые сугробы и холодные тундры».

Писарев встал, запахнулся в балахон, так замер, всматриваясь в окно, словно всматриваясь, как несколько часов назад, в самого себя. Базаров — это он, Писарев. Так он себя и ощущает. Главная мысль уже была выписана, сейчас он снова думал то же самое: «В борьбу со злом я пойду тогда, когда почувствую себя сильным. До тех пор жить сам по себе, как живется, не мирясь с господствующим злом и не давая ему над собой никакой власти. Я — чужой среди существующего порядка вещей, и мне до него нет никакого дела. Занимаюсь я хлебным ремеслом, думаю — что хочу, и высказываю — что можно высказать. Что еще нам, «базаровым», делать?»

Успокоительная эта мысль почему-то не принесла облегчения. Чувствуя себя бесконечно разбитым, он кое-как разделся, не в обычай свой разбрасывая вещи по стульям, повалился на смятую постель, сделав еще одно усилие, и даже, кажется, тонко простонав, завернулся в одеяло. Заснул.

ЧАСТЬ II

1

Весь конец марта и начало апреля он находился в знакомом по прошлому состоянию душевной неуверенности. Однажды — два года назад — так уже было у него, тогда закончилось плохо, лечебницей доктора Штейна. Тогда он не просто перезанимался. Он входил в новый возраст, юность кончалась, начиналась молодость: ломка сознания, в котором все прежде стояло незыблемо, на своих местах, ломка сознания не прошла бесследно. Ну и, конечно, в университете он взвалил на себя непосильную ношу. И заниматься, и писать самостоятельную работу; новые литературские увлечения начали в то время проявляться... Нервное переутомление привело к четырем месяцам в лечебнице. А потом он вылез из окна, спрыгнул со второго этажа, убежал.

Он помнил сейчас это давнее состояние невозможной муки — муки в замкнутом пространстве комнаты, которую нужно мерять, мерять шагами из угла в угол, а окно, окно, глухо заколоченное, замазанное на зиму, тянет, затягивает в бездну черных стекол. Одновременно хотелось и разбить стекло, выброситься наружу, и — тут же! — наоборот, спрятаться, забиться поглубже, подальше от всего, от всех, завернуться в одеяло, накрыться им с головою, так, скорчившись, затихнуть на постели.

Весной шестидесятого, когда отворили рамы и в комнату его вошел наконец свежий, сырой дух весенней Невы, в первую же ночь он почувствовал, как подметки

жжет, словно угли были рассыпаны на крашенных половицах лечебницы. И ясно понималось: если сейчас не оторвешь ноги от пола, не взлетишь над ним — умрешь, перестанешь существовать. Словно толкал кто его — это ощущение невозможности бездействовать, желание резко, безостановочного, неукротимого движения, приведшее тогда к тому, что он, оставшись один, вышиб стекло, даже не подумав как-то защитить лицо и руки от порезов, выбрался в расстегнутой рубаше на карниз, цепляясь за осыпающуюся штукатурку каменного наличника, мгновение еще держался у окна, а потом, сумев даже не закричать, спрыгнул вниз, в черный сугроб перед клумбой. Спрыгнул удачно, словно циркач записной, побежал, остужая кровоточащие кисти ночным холодным воздухом, принимая раскрытой грудью этот воздух долгожданной свободы, движения, жизни...

Помнил чувство тогдашнее: действовать! действовать! двигаться! делать что-то! бежать! Не убеги тогда — покончил бы с собою, или жизнь сама бы пресеклась, не получая для себя душевной энергии.

Вот такое ощущение — не бежать, так пропал — сейчас, наоборот, мешало жить, сейчас, когда у него существовала вполне определенная возможность писать, выплескивать энергию.

Гарднер снял на Петроградской стороне квартиру, Раиса к нему съехала от Поповых — до замужества! Раиса вполне справедливо ни пяди не отдавала глупейшим правилам приличия, для нее всегда было безразлично, «что будет говорить княгиня Марья Алексевна». Однако же — до замужества, черт возьми, переехала, и, как там они живут, неизвестно, вернее, — скривился, — известно уж, господа. Когда Раиса съехала, Митя несколько дней гулял от всей души, пытаюсь утешиться, гулял — надоело. Крепился, письмо Гарднеру не отсылал, только всем, кому можно и кому нельзя, рассказал о вероломстве

Раисы. Уж, кажется, все наборщики у Тиблена знали, какую Дмитрий Иванович переживает личную трагедию. За всем тем бешено хотелось писать, писать, писать, как тогда — бежать, бежать, бежать. Если сидел и работал — прекрасное охватывало чувство: чувство силы, уверенности, то есть спокойствия, которого сразу так не хватало, лишь вставал из-за стола.

Выразил себя в ответе московским филистерам в статье «Бедная русская мысль» — делал ее в эти дни, выразил состояние раздвоенности, не мог и там не написать о происходящем в собственной жизни, поведал миру, конечно, не называя имен. Раиса прочитает наверняка. «Область неизвестного, непредвиденного и случайного еще так велика, мы еще так мало знаем и внешнюю природу, и самих себя, что даже в частной жизни наши смелые замыслы и последовательные теории постоянно разбиваются в прах», — написав так, подумал, что уж слишком круто взял. Мои собственные теории, подумал, никак в прах не разбиваются. Натура и обстоятельства — другое дело, глупо держаться за теорию, когда обстоятельства выше нее. И опять подумал, что и здесь взял через край. Обстоятельства могут быть выше теории, но сама теория, в обстоятельства эти упершись, остается-таки целой и невредимой. Да, целой и невредимой, даже и рассыпавшись в прах. Продолжил: «...разбиваются в прах то об внешние обстоятельства, то об нашу собственную психическую натуру». Быстро продолжил, торопясь высказать самоочевидное: «Кто из нас не знает, например, что ревность — чепуха, что чувство свободно, что полюбить и разлюбить не от нас зависит и что женщина не виновата, если изменяет вам и отдается другому?» То есть, позвольте, как же это не виновата?! — вскинулся. Виновата, да еще как! Быстро, быстро продолжал, торопясь: «Кто из нас не ратовал словом и пером за свободу женщины? А пусть случится этому бойцу испытать в своей

любви огорчение! Что же выйдет? Неужели вы думаете, что он утешит себя своими теоретическими доводами и успокоится в своей безукоризненной гуманной философии?» Нет, не успокоится! Не все еще, господин прапорщик, потеряно! Я... Да я... Вскочил, напыжился, заходил по комнате. Нет уж, помилуйте, соглашаться... не согласен! Быстро, быстро, быстро записал: «Нет, помилуйте! Этот непобедимый диалектик, этот вдохновенный философ полезет на стены и наделает глупостей, на которые, может быть, не решился бы самый дюжинный смертный». Остановился, подумал: чужую беду руками разведу, а к своей беде ума не приложу. Вздохнув, записал и половицу сюда же.

После того как вылил чувства на бумагу, несколько остыл, и четвертого числа решил провести рекогносцировку, костюм вычистил лично, не прибегая к услугам поповского денщика, раскатился к Раисе, по дороге смиряя себя изо всех сил, мысленно репетируя, как будет балбесу руку пожимать, и — не приняли. В бешенстве вернувшись, письмо Гарднеру переписал, отправил, подписав сегодняшним, четвертым апреля. Отправил — тихо. Злился. Наконец принесли ответ — письмо к Поповой: Раиса уведомляла ее, Попову, что любые отношения между ею, Кореновой, и Дмитрием Ивановичем более невозможны. Бросился, теряя последнее, бросился, нацарапал какое-то безумное послание, записочку, дескать, неужели и дружбу забыть навсегда, с детских-то лет и прочее там. Порывался написать еще что-нибудь, смирил себя, начал ждать ответа, черпал вдохновение в работе, занимал себя осмысленно, продуманно, ни минуты не оставляя пустой. И никаких женщин. Никаких женщин. Нет. Готовился. Глупо, конечно, но — готовился к дуэли. Вспоминал Базарова, его дуэль с Кирсановым в «Отцах и детях». Ну, нелепость, так что же — ломать законы самой жизни ради принципа? А если я не хочу? Получа-

ется — струсить и попятиться, а потом мучиться угрызениями совести. Вовсе не желаю превратить свою жизнь в логическую выкладку — лучше и не скажешь, как в «Базарове». Нет, милые мои, и я, как Базаров, слишком умен, чтобы быть стойком, да и страдать за свои убеждения. Я убежден, что дуэль — глупость, но ум оставим нынче под спудом. Мысль свободна, а живем в живом мире, руководствуясь практическим смыслом. И сами практикой будем руководствоваться...

Восьмого числа — наконец-то, наконец-то — настала пасха. Колокола доносились глухо, нехороший звук тек, словно по жестяному желобу, дребезжал, разбавленный сыростью. Сегодня Писарев не работал, и по редакции дел не нашлось. Валялся, что с ним редко бывало, на кровати, глядел в потолок. Мысли крутились вокруг последней статьи — пропустят ли? Почти месяц назад Главное управление цензуры высочайше было похерено, а все фараоново семя цензуры из министерства народного просвещения передано в министерство внутренних дел. Променили кукушку на ястреба! Сел на постели: внизу раздался звонок. Вошел Хрущов.

— Полеживаешь, Митя? В халате! Боже мой! А халат-то! Подожди, подожди... — Хрущов протянул руку к полю.

Писарев запахнулся. Халат он купил третьего дня в Апраксином дворе, действительно, точь-в-точь такой, как был у Гарднера в Яковлевском. Это, конечно, просто глупость — купить такой же. Наедине с собою Митя тогда подумал, что он представит себя на минуту Гарднером, халат призван был помочь ему объяснить, в конце-то концов объяснить, если ни он, он, Дмитрий Писарев, с его разумом, ни окружающие — никто не может ему объяснить, что же такого Раиса нашла в прапорщике.

Заплатил много, по дороге домой вдруг решил, что будет чувствовать себя в халате как бы *внутри* Евгения

свет Николаевича, ждал этого интересного чувства, однако же, увы, ничего, ровным счетом ничего не ощутил. В раздражении бросил халат на пол, но потом поднял, встряхнул и надел. Сегодня облачился в первый раз, уже равнодушно, и вот на поди: Гарднер-то, небось, халат приволок в Петербург, Хрущов бывает у Гарднера, и что же теперь получается? Порозовел лицом, отвел Иванову руку:

— Оставь. Разве не знаешь, что теперь в таких халатах все дураки ходят?

Хрущов, хмыкнув, уселся. Писарев выглядел, как всегда, отлично, никак невозможно подумать, что это оставленный любовник. В том, что у них с Раисой существовали близкие отношения, Хрущов, как и прочие, не сомневался. Из-за того и весь сыр-бор сейчас.

— Не кокетничай, Писарев. Нельзя назвать дураком того, кто способен хорошо мыслить.

Митя сбросил халат, натянул сюртук.

— Над способностью хорошо мыслить есть более высокая способность — умение организовать эти мысли в единое целое, пронизать, не смейся, пронизать эти мысли единой целью, систематически действовать в одном направлении.

— Например, — все усмехаясь, сказал Хрущов, — твоя теория систематического эгоизма — высшее твое проявление.

— Именно! Мой характер всегда верен самому себе, он готов торжествовать над чувствами и понятиями во имя одной, главной жизненной идеи.

— Эх, Митя, — Хрущов даже вздохнул. — Эх, Митя. — Приобнял Писарева. — Что твоя идея? Оппозиция всему? У Тургенева в новом романе — все ругай, все отрицай, безусловная свобода ото всего. — Он повторил: — Ото всего. Тут ничего нет, как бы сказать? — ничего зиждительного. Сегодня Костомаров — историк читал в Думе, так что

там устроили, только он начал говорить умеренные вещи! Кричали: «Подлец! Станислава на шею!» У нас уж кто не оппозиционер, тот непорядочный человек. Так сейчас и получается. Все подряд не ругаешь — значит, Александру Николаевичу готов любое место лизать!

— Не знаешь — не болтай! — Писарев взглянул недовольно. — Студенческие организации и передовая профессура решили сообща — сообща! — лекции прекратить. Решили и сегодня должны были объявить.

— И объявили, как только Костомаров кончил. А он услышал, на кафедру вернулся и говорит: «Наука, дескать, должна идти своей дорогой, я буду продолжать чтение лекций, господа, не впутываясь в разные житейские обстоятельства». Дальше и закричал кто-то из первого ряда «подлеца». Костомаров весь затрясся — человек впечатлительный, известное дело, — затрясся, снова на кафедру взошел да и выпалил: «Я не понимаю тех гладиаторов, которые своими страданиями хотят доставить удовольствие публике...» И еще: «Я вижу перед собой репетиловых, из которых через несколько лет выйдут расплюевы». Что поднялось!

Писарев снова заходил по комнате, не слушая больше Хрущова, расписывающего, как после вторичного ухода Костомарова в зале поднялся кавардак. К профессору Костомарову вся передовая молодежь относилась с уважением. теперь, следовало ожидать, уважения более не станет. Жаль! В служении науке Костомаров совершенно прав... Не поняли они друг друга. Посмотрел на говорящего Хрущова: что за время! Никто друг друга не может понять. Сказал:

— А Базарова ты не понял совершенно. Это, по-твоему, только ругатель, а Базаров — человек нового типа. Такие люди еще придут. Сейчас начинают приходиться. Только им пока делать ничего невозможно.

— Удобная позиция, — засмеялся Хрущов.

— Напрасно, напрасно смеешься, миленький. Чем спорить по мелочам, надо сейчас экономить силы и ждать, а всю свою энергию отдать науке. Силы надо тратить только на большие дела. Придет время — Базаровы начнут действовать.

— Ой-ой! Как страшно!

Писарев остановился.

— Ты зачем пришел?

— Пришел по поручению Раисы Александровны, — не скрываясь, Хрущов бросил насмешливый взгляд на лежащий поверх раскрытой постели халат. — Она просила еще раз передать тебе, что все кончено, что отношения между вами прекращены. Восемнадцатого, как в бумагах пишется, сего месяца она венчается с Евгением Николаевичем Гарднером, тебе известным. Чему быть, того не миновать. Все. Прощай.

Хлопнул дверь, прошагал по коридору, по лестнице, хлопнул дверь вниз. Писарев некоторое время стоял в оцепенении. Не миновать. Не миновать. Бросился, в исступлении бросился на гарднеровский халат, пытаюсь порвать, руками, зубами, крепкую, расшитую материю — не поддавалась, удалось только оторвать один рукав, надорвать второй. Он начал бешено дергать витые шнурки и... отпустил проклятую хламиду, слезы потекли легко, обильно, очищая душу. Сходил умылся, слушая, как Попова, стоя над ним, советует не убиваться так.

В комнате подошел к бюро, отпер ключиком крышку, вытащил аккуратно сложенные листочки, быстро просмотрел, засунул в сюртук, в потайной карман, на самое дно. Это было общественное дело, которому следовало дать ход незамедлительно, — сбор подписей под адресом государю. Постоял, приводя мысли в порядок, плотно взялся руками за щеки, провел ладонями по лицу. Незамедлительно. Поехал в Шахматный клуб. Соскочив с извозчика, тут же, у подъезда, наткнулся на приятного моло-

дого человека, ровесника, судя по всему, ровесника, который так почтительно, с простой улыбкой на открытом лице всегда кланялся ему в клубном буфете. Сейчас молодой человек снова улыбнулся, поклонился, и Писарев машинально поклонился в ответ, подал руку.

— Позвольте рекомендоваться самому,— молодой человек робко ответил на рукопожатие,— Вельяшев. Ваш искренний и верный читатель... почитатель. Поклонник!

Порозовевший — от ветра ли? — Писарев размышлял мгновение. Как всегда, решение принял быстро. Да и что размышлять — свой, свой, это было самоочевидным. В конце концов, чем больше подписей, тем лучше. Сунул руку в глубь куртука, вытянул адрес. Он не сомневался, что поступает правильно.

— Возьмите. Передадите потом товарищам.

Влетел, более не разговаривая с новым знакомцем, в двери. Надобно было проиграться в пух или же набраться, чтобы ехать потом... в соответственное, с трезва — противно. Мысли остались на пороге клуба вместе с Вельяшевым.

На следующий же день в III Отделение поступило донесение, копии с которого велено было в дела приобщить сразу нескольким господам литераторам:

«В Шах-клубе ходит по рукам воззвание «Земская дума»... В том же клубе предлагают подписывать адрес для поднесения государю, составленный, как там говорили, профессором Утиным. Пока он подписан не более, как 15 лицами, между коими замечены следующие фамилии: Василий Курочкин, Вернадский, Писарев и полковник Лавров... Адрес кончается заметкою, что добровольное дарование конституции спасет Россию от тяжких смут и волнений и вместо раздора даст мир и новую жизнь».

В середине апреля вышел «Современник» со статьей Максима Антоновича. Огромная статья, сумбурная, перескакивающая с пассажа на пассаж и ничего не доказывающая, утверждала, собственно говоря, одно — Иван Сергеевич Тургенев пишет плохо. Не то что, господа, совсем плохо, ранее писал он хорошо, то есть лучше, чем теперь, но воспринять новый его роман совершенно невозможно: пасквиль, ушат помоев на головы молодого поколения, всего лучшего, что имеется в только что встающем на поги обществе.

Этого Максима Антоновича Писарев видел в Шах-клубе, они кланялись. Высокий жилистый человек, призванный заменить Добролюбова, при жизни Добролюбова был на вторых ролях.

Писарев был обескуражен недолго. Дураку надобно немедленно отвечать. Самое плохое, что можно выудить из «современниковской» статьи — обличение образа преобразователя России. Иван, мол, Сергеевич Тургенев показал его таковым. Нет, так: даже Иван Сергеевич, господа, таковым видит революционера. То, что революционеры не такие, не все поймут из Максима Антоновича, как раз наоборот — подумают, что вот они. В синих очках, с пледом на плечах, грубят, женщин хватают да вино пьют. Еще и стреляют примерных господ дворян.

Улыбочка появилась на писаревском лице. Он, Дмитрий Писарев, синих очков не носит, но дворянчика нашего подстрелит за милую душу! Да... Вот ведь дурак Антонович... И где? В журнале Чернышевского и Некрасова! Чем Николай Гаврилович руководствовался, пропускающая кривобокою и хромающую статейку, — разве тем, что внешне Базаров чрезвычайно напоминает покойного Добролюбова, и Чернышевский за друга оскорбился? Но оскорбиться-то можно лишь тогда, когда литературный

образ, внешне похожий, действительно намалеван черными красками. Как же это Чернышевскому-то в голову пришло? Чудеса... И что же теперь?

В дверь постучали, вошел Попов:

— Я сейчас в редакцию, Дмитрий Иванович. Писать ответ «Современнику» ведь будете? — он поднял усталые глаза. — Будете.

— Еще бы! Скажите Григорию Евлампиевичу — в апрельский номер чтобы успеть. Обязательно!

— Скажу.

Попов некоторое время молча посидел на стуле, потом тяжело поднялся.

— Какая-то в сердце, Дмитрий Иванович, какая-то... черт знает что, одним словом. Неуверенность во всем — в себе, в жизни... мда-с... Во всем. Слишком себя любим, слишком о себе заботимся — вот и следствие оного. А ведь пора, пора бы знать: чем более в себя погружаешься, тем больше и сердце мельчает! Охо-хо...

— Что вы, Василий Петрович, ересь какую несете, — Писарев поглядел холодно, готовый видеть в короткой тираде квартиросдатчика личный упрек. — По мне, так чем более я в себя, как вы изволили сказать, погружаюсь, тем больше я в себе уверен и, кстати, тем больше пользы окружающим принесу!

Василий Петрович вздохнул, ушел. В последнее время и с ним, бедолагой, что-то стало твориться — устал. Благосветлов недавно говорил ему, Писареву, что, дескать, кадету нашему надобно отдохнуть. А как отдыхать — самое, самое время действовать! Не спать! Не мириться ни с чем! Ни с кем! Ни с кем и ни с чем, господа!

Писарев подумал о себе так, как никогда бы не написал о себе в журнале: сравнил себя с весенней Невой. Несколько дней над столицей стояло солнце, но ветер дул с моря, ощущался холод, шинелей никто не снимал. Эта глубокая, продутая ветром ясь, как бы стоящая в

сердце, широко простиралась над петровой рекою, уже очистившейся ото льда и тяжело взволнованной ветром. И в нем, Дмитрие Писареве, происходил невидимый процесс очищения, ясенелось, уже развиднелось, горизонты были видны далеко, открыто, но охваченная ветром душа перемогалась, двигалась тяжело, как и свинцовые волны Невы.

Венчание состоялось восемнадцатого. Прапорщик с подкрученными усами, Раиса... Раиса!.. Раиса в белом платье, Ванька Хрущов и Петя Гарднер с шаферскими лентами через плечо — представлялось ясно, увидеть не удалось. Хотел, растравляя душу, приехать и поздравить, войти, склоняя скорбную главу, в божий храм, навсегда — да полно, навсегда ли? — отдающий Раису другому, упиться горем в последний раз и закаменеть в нем — не дали. Не мог, не мог, никак не мог помириться с мыслью, что не увидит Раису. Хотел пройти чрез все, стерпеть, доказать себе свою силу — не дали. Скандала боишься, дуболом со шпорами? Ах, как он жалел, что, поддавшись порыву смирения после первого письма Раисы к Поповой, нацарапал несколько слов к Гарднеру — несколько жалких слов поверженного в прах. Вот как никогда нельзя изменять самому себе! Нельзя мириться с врагами! Какая была глупость, ах, какая глупость! Ну, ужо вам, Евгений Николаевич, будет вам история! «Милостивый государь!

Супруга Ваша написала сегодня к г-же Поповой, что сближение между мною и ею невозможно. Только надежда на возобновление дружеских отношений с нею, отношений, которыми я дорожу больше всего на свете, побудила меня написать к Вам то письмо, которое дало Вам возможность уклониться от дуэли. Теперь, обманувшись в этой надежде, я беру это письмо назад и, если этого мало, готов повторить Вам те комплименты, которые Вас оскорбили в первом моем письме.

Д. Писарев».

Написал, как ранее собирался, и записочку к Афанасьеву-Чужбинскому. Александр Степанович всю писаревскую историю знал досконально, как знал ее любой сотрудник «Русского слова».

И новая записка к Гарднеру была готова:

«Милостивый государь!

Сегодня вечером или завтра утром приедет к Вам доверенное лицо для определения условий по известному Вам делу.

Надеюсь, что Вы не уедете из города до решения этого любопытного дела.

Д. Писарев».

Не успел и заклеить — только поставил точку, внизу завизжала Попова. Митя бросился в коридор и тут же начал медленно отступать, пораженный зрелищем идущего на него Евгения Николаевича Гарднера — собственной персоной. Гарднер, тяжело дыша, приступал и приступал к нему, Дмитрию Писареву, и Митя пятился и пятился назад, глядел на Гарднера, как кролик на удава, пока локтем не задел о дверной косяк. Сознание вернулось. Краска бросилась в лицо.

— Вон отсюда! — показал ручкою.

Так же тяжело дыша, Гарднер выговорил с ненавистью и презрением:

— Тютек! У, тютек! — Он взмахнул рукой, и поперек налившегося Митинога лица лег след от ожога хлыстом. — Помни, тютек! — Попова закричала.

Писарев, инстинктивно закрывшийся руками, заходящаяся в крике писательница Попова — никто не препятствовал счастливому новобрачному. Выпятив грудь, он медленно сложил хлыст в несколько раз, искаженные сейчас черты красавца мужчины еще более перекосило — хотел еще что-то сказать, но только повернулся, окинув обоих презрительным взглядом, неторопливо прошагал,

хлопнул дверью. Словно продолжая начатое уже движение, Митя отступил в свою комнату. Перед глазами стояло белое мерцание. Митя, срываясь, захохотал ли, заплакал. Стыд разрывал его, ломал, силы не было терпеть. Но истерика кончилась. Выпил воды. Кончилась истерика. Злобно улыбнулся, потирая след от удара. Замыслил ответ. Поднял с пола только что написанную записочку — вручать ли теперь? Улыбочка не сходила с обезображенного злобой и болью лица...

В тот же день неподалеку от квартиры штабс-капитана Попова написалось следующее:

«О ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ МЕРАХ»

Либеральные стремления молодого поколения обнаруживаются с некоторых пор необыкновенным брожением умов, усилившимся в особенности со времен бывших осенью минувшего года студенческих беспорядков, которые встретили большое сочувствие во всех почти учебных заведениях, военных и гражданских, преимущественно же в С.-Петербургской Медико-хирургической академии. Молодые люди образованных сословий, офицеры военных академий, литераторы, некоторые профессора явили себя защитниками студентов и готовили протесты против мер, которые правительство сочло нужным принять в отношении сопротивлявшихся законоположениям и власти. Проникающие притом в Россию из-за границы разные возмутительные сочинения, отчасти перепечатываемые здесь тайно, распространение воззваний «Великорусс» и «К молодому поколению», арестование и наказание литератора Михайлова, на которого многие смотрели как бы на невинную политическую жертву, и революционное направление некоторых журналов, не говоря уж о скрытых подстрекателях, — непрерывно возбуждали пламенное настроение молодежи. Выходка на публичном чтении про-

фессора Павлова, удаление его от столицы и беспорядки затем на лекции профессора Костомарова дали сильное развитие обнаружившемуся против правительства недовольствию и вызвали новые манифестации со стороны возмутителей, именно: протесты против высылки Павлова из С.-Петербурга и адреса как об его возвращении, так равно о прощении Михайлова.

Подача сих протестов и адресов была приостановлена, но в составлении их нельзя не подозревать некоторые лица, прежде уже обращавшие на себя внимание своими действиями против государственного порядка, и существование в столице тайных кружков, стремящихся произвести политический переворот, почти несомненно. Предположение это подкрепляется еще более:

а) секретными наблюдениями за лицами, обнаруживающими неприязненные чувства к правительству;

в) замеченными в разных местах подозрительными собраниями;

с) учреждением в конце минувшего года особенного клуба, в котором под предлогом игры в шахматы члены оногo, почти исключительно литераторы, собираются для обсуждения современных вопросов, и, наконец,

д) появлением в последнее время новых воззваний возмутительного содержания: «К офицерам», «Земская дума», «Русское правительство под покровительством Шедо-Ферроти».

Такое расположение умов, при враждебных чувствах к власти и существующим учреждениям, угрожает в будущем пагубными последствиями. Для противодействия вредным замыслам необходимо усилить явное и тайное наблюдение за подозрительными лицами в тех местах, где революционный дух более укоренился. Но это сопряжено с продолжительностью времени, тогда как настоящее положение дел требовало бы действия безотлагательного. При таком убеждении и при неудаче стараний, употреб-

ленных к отысканию тайных типографий, казалось бы полезным, не ожидая предполагаемого усиления полицейских средств, произвести одновременный строжайший обыск в квартирах сомнительных лиц; но успех подобной меры может быть действителен только при сочувствии и искусстве тех, которым она будет поручена. Кроме того, прежде, нежели на то решиться, надобно будет, по согласованию с министром внутренних дел и с.-петербургским военным губернатором, определить, в каких местах содержать лиц, которых, может быть, придется арестовать в значительном числе, и каким образом должно будет вести дело их после задержания.

Подробное обсуждение сих вопросов чрезвычайно важно, ибо малейшая неловкость или неудача в правительственных распоряжениях столь обширного размера может преждевременно произвести взрыв, коего последствий нельзя вперед исчислить. Последствия эти будут особенно чувствительны, если главные власти поколеблются в своих намерениях, перейдут от строгости к снисходительным уступкам, а не поддержат самым сильным образом начатого образа действий.

Взвесив все вышеизложенное и основываясь на опыте, может быть, окажется менее опасным и более удобным прежде всего воспользоваться общественным расположением к князю Суворову, дабы предоставить ему, призвав к себе порознь вышеупомянутых сомнительных лиц и проникнув в их предложения, предварить их, что они подозреваются, что за ними строго следят и что всякий предосудительный поступок подвергнет их сильному наказанию».

(В этом месте Александр взял карандаш и, собираясь отчеркнуть абзац, поднял руку в генеральском шитье над докладной запиской, размышляя. Решительно написал на полях: «По моему мнению, подобное предварение не поведет ни к чему, а, напротив того, даст возможность

главным коноводам уничтожить и скрыть все бумаги, могущие их уличить». Еще мгновение помедлил, держа руку над бумагой, подчеркнул слова, начиная с «даст возможность...» Абзац отчеркнул квадратными скобками.)

«После подобного предварения никакой обыск не должен уже возбудить укора. Притом, так как, по всему вероятно, у весьма немногих найдутся явные улики виновности, то их следовало бы, если обыск состоится, заранее разделить на категории и, с тем вместе, определить меры взыскания, а именно:

1) на лица, у которых окажутся собственноручные возмутительные сочинения или адресованные к ним письма, доказывающие, что они принимали или принимают участие в преступных происках;

2) на лица, у которых хотя и найдены будут возмутительные сочинения, но которых невозможно уличить в участии составления оных, и

3) на лица, у которых ничего подозрительного не окажется.

Первых надлежало бы беспрекословно подвергнуть форменному следствию и предать суду, вторых удалить административным порядком из столицы на жительство в разные губернии под надзор полиции, а третьих оставить в С.-Петербурге с учреждением за ними явного полицейского наблюдения, дабы им дать возможность оправдаться в падающем на них подозрении.

Одновременно с исполнением вышеуказанного предположения насчет внезапного обыска следовало бы учредить комиссию как для определения приведенных категорий, так и для разбора бумаг, которые могут быть забраны у лиц, подвергаемых обыску. Комиссию эту казалось бы полезным составить под председательством доверенного высшего чиновника из членов от министерства внутренних дел, юстиции, военного, от с.-петербургского военного генерал-губернатора и от корпуса жандармов».

Единственный адресат вслух прочитал:

— 27 апреля 1862 года.— И удовлетворенно высказался: — Отлично. Отлично. И мысль — отличная. Молодец.

— Счастлив, государь, — Долгоруков сиял.

Александр встал, заходил по кабинету, остановился перед низким, на гнутых ножках секретером, ласково положил мягкую ладонь на крышку.

— Так: Особая следственная комиссия. Вернемся к этому вопросу. Особая следственная комиссия для расследования дел о политических преступлениях. Вернемся.

Уселся снова, взял в руки следующую бумагу.

**«СПИСОК ЛИЦАМ,
У КОТОРЫХ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ
СДЕЛАТЬ ОДНОВРЕМЕННЫЙ
СТРОЖАЙШИЙ ОБЫСК.**

1. Литератор Чернышевский Подозревается в составлении воззвания «Великорусс», в участии составления прочих воззваний и в постоянном возбуждении враждебных чувств к правительству.
2. Подполковник Шелгунов Подозревается в том же и, кроме того, был в тесной дружбе с преступником Михайловым.
3. Полковник Обручев Подозревается в участии составления воззвания «Великорусс» и находится в беспрестанных сношениях с Чернышевским.
4. Два брата Серно-Соловьевичи То же

5. Профессор Пыпин
6. Захарьин, служащий в пароходном обществе «Кавказ и Меркурий»
7. Елисеев, литератор
8. Благосветлов, литератор

9. Писарев, литератор

То же
Находится в подозрительных сношениях с Чернышевским.

То же
Обнаруживает постоянно враждебные чувства к престолу и правительству и первенствует в Шах-клубе, где ведет разные разговоры. Приятель и сотрудник Благосветлова, подозревается в составлении некоторых воззваний. Бывал на студенческих сходках, изъявлял сочувствие студентам, обратил на себя внимание нерасположением правительству».

Александр заглянул в конец списка. Там стояло:
«50. Волков, бывший студент здешнего университета
Бросил бумагу на стол, устремил взор в даль Отечества, коим призван был руководствовать. Богом призван.

— Хорошо.

Наложил резолюцию: «Иметь в виду».

3

Главное — армяк. Так просто оказалось: послал солдата — тот принес. Хорошо, милые мои, быть офицером, хоть бы и прапорщиком, хе-хе-с! Денщик имеется. В пререкания не вступает, вопросов не задает.

Попов, покручивая головой и хмурясь, послал денщика к дворнику, дворник за пятак серебром — хороши ли деньги?! — отдал свой армяк Дмитрию Ивановичу напрокат вместе с шапкой. На Литейном, дождавшись вечера, Писарев зашел в лавочку «Le théâtre» и, покрываясь концентрическими пятнами, но вытягиваясь и держа по возможности надменно, купил у смуглой мадмуазель накладную бороду.

— Мерси, — принимая деньги, мадмуазель улыбнулась и показала крупные лошадиные зубы. — Петер, мсье вё келькшез...

— Но, мерси, мерси, сэ ту.

— Мерси. Бон шанс! ¹ — она снова улыбнулась, так, словно в самом деле все понимала.

Никаких шансов, а все сто процентов мои, — Дмитрий Иванович быстро шел по Литейному, ощупывая сверток в кармане. Примерять в лавочке не стал и сейчас опасался, что борода окажется великоватой. Под насмешливым — а могла бы и не улыбаться! — взглядом мадмуазели ткнул пальцем в первую попавшуюся бороду на прилавке под стеклом, торопился — как бы кто не увидел его здесь.

Пока дошел к себе, продрог. Первые числа мая, всегда холодные в Питере, давали себя знать особенно вечером. Вошел, сразу, не снявши шинели, бросился к зеркалу, начал примерять — велика. Велика, но сойдет.

Завтра они должны были быть на Царскосельском вокзале — это сама Раиса сказала Благосветлову, придя в его, Писарева, отсутствие в редакцию. Приходила прощаться: завтра уезжает с мужем. Прощалась, конечно, с умыслом: дескать, все. Все.

¹ — Может быть, господин хочет что-нибудь...

— Нет, спасибо, спасибо, это все.

— Спасибо. Удачи! (франц.).

— Плюнь, Дмитрий Иванович! — Благосветлов вчера глядел сочувственно, однако и с оттенком нетерпения. — Плюнь, сколько можно. Плюнь. Тиблен счет передал? — он, шевеля фельдфебельскими баками, нацепил очки — носил их с недавнего времени — и углубился в принесенную из типографии бумажку. — Скоро и его сиятельству туго станет. Вставим ему фитиль! Вставим! Эх! — вышел из-за стола. — Плюнь, Дмитрий Иванович, мы не графья. Женщина... что ж... понимаю... Это пройдет, а дуэль свою — брось, брось...

— Он прислал ответ: на дуэль соглашается, но сроку требует десять дней и дуэль назначает в Москве.

— Почему?

Писарев покусал губы:

— Жену, пишет, необходимо устроить, а также дела.

— Извини, Дмитрий Иванович, — Благосветлов взглянул из-под очков, — ты сейчас в Москву не можешь ехать. У тебя статья не окончена и... вообще журнал. У тебя и денег нет — в Москву.

Ясная мысль отобразилась на жесткой благосветловской физиономии: баловство, убьют еще без толку, совсем ни к чему.

— Я... не знаю, — Писарев характерно потер руки, словно под рукойником. — Одно знаю: струсил. Струсил! И Чужбинский говорит — право выбора места дуэли принадлежит секундантам, а не субъектам дуэли. Есть дуэльный кодекс, по параграфу 198-му — так.

— Охо-хо, — Благосветлов побарабанил пальцами по столу. — Что же делать? Надо это решительно. Как-то... решительно! Он твоих мук и не стоит, Дмитрий Иванович.

— Я так это дело оставить не могу и не оставлю.

— И не оставляй! Пощупай ему морду тоже! Во! — пошел в свои комнаты, пошуршал там, с грохотом отодвинул и задвинул ящик, вышел с тяжелым охотничьим

арапником, еще и раздвоенным на конце.— На-ко, брат, вжарь ему! Вжарь! — затряс кулаком.— И делу конец!

Знакомая уже злобная полуулыбочка появилась на лице Писарева.

— А ведь как в воду глядел, Григорий Евлампиевич. Я и собирался что-нибудь в этом роде... Завтра уезжают?

— Завтра!

Оба литератора дико смотрели друг на друга. Писарев вскочил:

— Надо подготовиться!

— Что там готовиться! Не спускать им! Никому!

Однако подготовился, подготовился отлично. Надобно было подобраться незаметно, неузнанным, иначе толку не станет — они отвернут в сторону или... того хуже... Гарднер успеет ранее. Этого, признавался сам себе, никак не хотелось, нет, никак.

На вокзале играла музыка. Как всегда по утрам, музыканты в зеленых мундирах Семеновского полка выдували медь на холодный воздух. В армяке, в вонючей шапке, сползающей на глаза, в подвязанной бороде — чувствовал себя прескверно. Идти сквозь главное здание не решился, могли не пустить в этаким маскараде. Несколько экипажей стояли у дверей, однако извозчичьей толчеи не было — поезд еще не подали, пассажиров оказалось немного, и ему невозможно стало затеряться среди них. Редкие сторонились и осматривали с ног до головы — из-под метущего перрон армяка выглядывали начищенные господские сапоги, глаза на юном лице бородача сверкали, поблескивали, и сам он нервно постукивал арапником по ладони.

— Пу-у, пу-у, пу-у,— доносилась музыка. Казармы Семеновского полка и огромный Семеновский плац, начинающиеся сразу за вокзалом, были прихвачены с утра

ледяным маревом. Сейчас развиднелось. Звуки неслись в продуваемое небо. По плацу — далеко было видно — кое-где, зеркала и посверкивая, лежали весенние лужи, и совсем далеко, на другом конце плаца, выходящего к Звенигородской улице, маршировала рота.

Борода мешала усмехнуться: вспомнил, как у них в Третьей Петербургской гимназии хорошо было поставлено военное дело, как он, Митя Писарев, старательно маршировал — на левом, увы, фланге. Как маршировал, как гордился успехами во фрунтовом деле.

Писарев чуть-чуть подобрел от воспоминаний.

Армяк нещадно парил — ветер дул, как всегда, сырой, холодный, но под овчиной жгло теплом, ветер не пробивал армяка. Из пакгауза выметало на булыжник муку, невесомые крошки скапливались на всем, оседали. Кажется, и во рту уже была мука. Пожевав, Писарев сплюнул, попал на серые, все в расходящихся трещинах бревна пакгауза. Оглянулся — было стыдно, но никто и не смотрел. Из открытых дверей выходили, обсыпанные белым, мужики, поднимая одно плечо, сваливали мешки на стоящие тут же дровни, мешки шлепались, вздевая мгновенно уносимое облачко белой пыли. Колпаки грузчиков совершали безостановочное движение. Никто, никто не смотрел. Ноги устали стоять на одном месте. В ладном передвижении мужиков было нечто притягивающее, магнетическое. Митя вдруг ощутил свою физическую слабость и, сопротивляясь ей, борясь, расправил плечи, армяк распахнулся, обнажив сюртук.

— Шабаш! — слабо раздалось за стеной. Цепочка медленно развалилась...

Только что освободившийся от ноши мужик, выпятив кривую бороду, уставился на Писарева. Понять фигуру оказалось делом недостаточным, и мужик просто сказал распространенное матерное слово. И потом еще. Он заметил арапник и несколько отступил назад. Но непо-

нятный человек не ответил и не разъяснился — Писарев подхватил полы и, сжимая свое оружие, шагнул мимо.

Далеко, — а увидел сразу, сразу сердце дало сигнал: «Раиса! Раиса!» — далеко из главного здания вышла мадам Гарднер. Была она в темном, как всегда, и сейчас, первую порою весны, лицо ее светило светлее зимнего снега, как тогда, в Москве, когда они ездили на Воробьевы горы. Не с темными тонами платья и короткой шубейки, а с синею шляпкой соединялось любимое навсегда лицо. Раиса шла, светясь, на фоне всего окружающего, всей жизни; удивительным казалось, как это люди не расступаются перед нею, не провожают ее восхищенными взглядами, не идут вслед. «Пу-у, пу-у, пу-у-у!» — пели трубы семеновцев для Раисы. Странно, что она была одна. Задыхающийся, Митя остановился, уже не зная, что предпринять, но тут из тех же дальних дверей вышел Гарднер и, широко шагая в развевающейся вокруг ног шинели, начал догонять жену. Видно было, что в руке он держал медные полтинничные жетоны. Свисток машины вызвал ответный раскатывающийся свист где-то неподалеку, уже на перроне, и Писарев, очнувшись, начал двигаться навстречу Раисе и Гарднеру, держась в стороне, за кустиками. Решимость его быстро таяла — далекими, уже уехавшими казались оба супруга. Изменить что-то было, конечно же, невозможно. Но тут паровоз, вываливая из грушевидной трубы клочья белого пара, догнал Раису, она, шагнув в сторону от края, счастливо обернулась к мужу, и он, только что хмурый, озабоченный поездкой, куплею мест, отправкой, всем, что предшествовало этому все начальные дни мая, — он готовно улыбнулся в ответ. Машина — «ша-пуф», «ша-пуф», «ша-пуф» — шла мимо них. Замелькали вагоны. Изогнувшись, Раиса обернулась, с сияющим лицом протянула руку.

— А-ах-х-х!

Писарев выскочил, как чертик из коробки. Борода сползла, он на бегу сдернул ее и бросил. Гарднер остановился. Писарев прокричал что-то — слышно не было из-за поезда, Раиса хотела схватить его за рукав — не достала, хотела заступить дорогу, но подвернулся каблук, она закачалась, Гарднер бросился к ней, и тут же тяжелый хлыст перекрестил его, словно казачья шашка, — от уха до уха. Через мгновение толпа окружила лежащих на дебаркадере Писарева и Гарднера, от здания под звуки полковой музыки трусил, приседая под тяжестью амуниции, жандарм, от багажного сарая бежал второй. Жетоны, выкатившиеся из руки Гарднера, кто-то уже успел подобрать.

Протокол «О нарушении тишины и спокойствия в публичном месте» Раиса подписала как свидетельница. Взбешенная, на следующий день она держала в руках еще одну бумагу.

«Любезный Иван Петрович!

Ты бываешь у г. Гарднера. Передай ему, пожалуйста, как я смотрю на наше взаимное положение. Когда он ударил меня хлыстом, я потребовал от него немедленного удовлетворения путем дуэли. Он отклонил немедленную дуэль; тогда я, не желая оставаться с неотмщенной обидой, расправился с ним путем хлыста, оскорбил его публично, потому что не мог стреляться в вокзале и не хотел застрелить его из-за угла.

Теперь его дело вызвать меня. Если же он этого не делает, я больше ничего не желаю. На удар хлыстом, данный мне в квартире, я ответил ударом хлыста в публичном месте. Теперь я к его услугам. Ему предстоит вызвать меня.

Преданный тебе

Д. Писарев».

— Да что же это?! Господи! Иван!

Хрущов мягко взял записку из рук Раисы.

— Ну, ну. Устроится.

— Да что «ну, ну»! У меня уж ни жалости, ни понимания, ничего к нему не осталось. А полиция? Мы ехать собрались, а теперь целое дело! И слушаться будет у приставы Каретной части!

— Ну, ну, — повторил Хрущов, — устроится. Евгений когда вызывает его?

Раиса и руками всплеснула.

— Да вы что, белены все объелись, в самом-то деле? — Она нервно заходила по кабинету Ивана Петровича, сжимая и сжимаемая руки. Хрущов невольно засмотрелся на эти руки — белые, сильные, на узкую кисть с вытянутыми пальцами. Хрущов знал отлично, как редкие женщины посылают в окружающее их пространство нечто... нечто, флюиды, что ли, какие. «Да, — подумал Хрущов не в первый раз, — тяжело, конечно, Мите приходилось, столько лет рядом с нею, уж опутан, конечно, весь». Хрущов не сомневался, что сила, исходящая от таких, как Раиса, женщин, есть сила чисто животная, физиологическая, но вот как мог такой ум, как Писарев, принять силу чувственности за нравственную силу — вопрос. Вопрос. Исполдволь Хрущов оглядел новобрачную с ног до головы, вспоминая, как не в шутку собирался и он за нею ухаживать — тогда, зимою, в Москве. Вдохнул, поджимая губы. Неизвестно, кому повезло — Гарднеру или Писареву.

— Да ты не слушаешь, Иван?

— Да-да-да?

— Я говорю — никакой дуэли я не позволю. И Евгеша, и Митя, оба подадут приставу о неимении претензий, и делу конец.

— Но позволь, — Хрущов сделал недоуменный жест, — законы чести... все-таки... Евгений как офицер...

Она вспыхнула:

— Все, Иван, все. Евгений его прощает. Да, прощает! Вы все не знаете, какой это великодушный человек!

— Ну, ну,— еще раз сказал Хрущов, не решив, как относиться к гарднеровскому великодушию.— Но тогда и получится все, как Митя написал.— Он снова взял записку.— Оскорбление на Евгении Николаевиче. Евгений, правда, порядочно-таки его, кажется, помял. Физически он несомненно сильнее.— Раиса снова вспыхнула.— Но...— Хрущов усмехнулся.— Ты Митю не знаешь, что ли? Он ведь на этом не остановится, доведет ведь до конца.

— Сейчас же, прошу, поезжай к нему, Иван. Понимаю, что тебе не хочется, но прошу, поезжай и привези его сюда. Меня-то уж,— коротко улыбнулась,— послушается. Последний раз поговорим и кончим на этом. И все, все!

4

С Варфоломеем Зайцевым Писарев познакомился еще в январе при открытии Шахматного клуба. Когда Кушелев, сам себе рукоплеская, двинулся вверх по лестнице, литераторы шумно устремились за ним следом; у дверей остался только сухощавый молодой человек в короткой, видимо, с чужого плеча визитке. Редкая бородка, щеки впалые; молодой человек посмотрел влажными, словно бы плачущими глазами вслед уходящим. Писарев равнодушно решил, что у студента нет билета и он ждет кого-либо из устроителей, чтобы войти в залу. Так оно и оказалось. В эту минуту с шумом вошел опоздавший Благовосветлов и, отдав швейцару шубу, трость и шапку, повернулся к щуплому:

— Здорово! Стесняешься, что ли? — Благовосветлов был в отличном настроении.— Графьев пугаешься?

Студент не улыбнулся, а только, зачем-то нацепив

пенсне, словно в пенсне ему было удобнее произнести то, что он собирался выговорить, вдруг спокойно пустил в ответ длинную немецкую фразу, содержащую чудовищное ругательство в адрес всех графов на свете, а также их родителей. Наверное, так умели выражаться лишь в портовых трущобах Гамбурга. Благосветлов, поняв с пятое на десятое, захохотал. Писарев с одобрением оглянулся на говорившего. Было интересно в натуре видеть человека, не стесненного никакими условностями. Тем более что графья, ничего не слыша, и не могли оскорбиться.

— Дмитрий Иванович! — закричал Благосветлов, простирая свою ладонь вверх. — Познакомься с москвичом Варфоломеем!

Писарев спустился с полмарша лестницы.

— Дмитрий Писарев.

— Зайтцефф, — сказал студент, спокойно ерничая. — Же сюи трэ зоро до фэр коннесанс авэк отер селебрэ¹.

Благосветлов опять захохотал.

— Хотя всех литераторов, а также и художников, а также и музыкантов, — продолжал откровенный малый, — я хотел...

— Все! — остановил его Благосветлов. — Имей совесть! Эва что на нашего брата находит, когда его в салоны не пускают.

— Рылом не вышли, — скромно сказал Зайцев на отеческом языке себе под нос, — другим возьмем.

— Студент-медик Московского университета, — рекомендовал Благосветлов, — желает у нас переводить и стать ненавистным самому себе литератором. А вообще-то у него критический склад мышления. Ему бы статьи писать! Не хуже тебя, Дмитрий Иванович, получится! — Благосветлов не пренебрег возможностью выпустить стрелу. — И мужичка любит, а не только... Гм... Пойдемте, пой-

¹ Счастлив познакомиться со знаменитым литератором (франц.)

демте. Есть хочется. Сейчас — речи, Кушелев любитель речи говорить. На первое речи, — говорил Благодетель, под локоточек увлекая Зайцева, — на второе — гм... второе... Ха-ха. Это не ваша дача в Сокольниках — голым чаем угощаете. Не стесняйся, я сам тебя рекомендую.

Зайцев оглянулся на Писарева, и тот, вдруг увидев в его глазах не придурочное, как ему показалось после зайцевской тирады на немецком, а истинное, искреннее смущение, вдруг вспомнил. О Зайцеве Писареву говорил Шелгунов. Вспомнилось: «Чрезвычайно стеснительный человек, потому любит аффектацию. А человек замечательный». Весьма неясно о каком-то москвиче-активисте говорил и Баллод, поминалось и то, что «там у них в Сокольниках удобная дача». Для чего удобная? Для всего, — был ответ. Тогда Митя, постигавший (в пику отсутствующей Раисе!) школу мужского воспитания, только готовно засмеялся.

— Значит, всех писателей?

— Не всех, а тех, кто пользы не приносит.

Они стояли уже за фразными спинами в зале. На красноречивый кивок Писарева Зайцев энергично помотал головой.

— Что вы! Здесь люди разные! Николай Гаврилович... Лавров... Я думаю, — сказал Зайцев, заглядывая Писареву в лицо, — мы с вами тоже сойдемся, Дмитрий Иванович. Современный писатель есть критик и публицист, не так ли? — он уже говорил под нос. — А красоты природы и страстные лобзания господина Пушкина мы с удовольствием освищем, — тут Зайцев, видимо, собрался высказать вторую немецкую фразу, но, по всей вероятности, порох весь был израсходован в первый раз, и, сняв рывком нацепленное для произнесения фразы пенсне, он лишь пробормотал: — Освищем...

За время, что прошло с января, Писарев с Зайцевым

действительно сошелся. И на «ты» перешли, много раз говорили во время приездов его в Петербург.

Вчера Зайцев снова приехал, при встрече начал с комплиментов последней Митиной работе, только что прочитанной им в редакции.

— Ты хорошую статью написал. Тургенев сам не понимает, какой персонаж он вызвал к жизни. Базаров — это же революционер! Ни у него, ни у тебя так прямо не сказано, но ведь очевидно.

Варфоломей стеснительно улыбнулся, словно стыдился своего понимания.

— Базаров сейчас первая фигура общественной мысли, ты уловил главное.

В любое другое время похвала доставила бы Мите самые приятные чувства. Теперь же он, едва завидев товарища и не дав ему договорить, вылил на него поток жалоб на личные неурядицы. По мере рассказа лицо Зайцева каменело.

— Брось, в самом-то деле, — наконец сказал он. — Ну, что это за метода — борода, армяк... и все — ради женщины. Ну, себя же уважай. Ты ли это, право же...

Зайцев с затруднением подбирал слова — сочувствовал, но отчасти и не понимал причины столь глубоких переживаний.

— Будет.

Еще сутки назад упреки в отсутствии самоуважения заставили бы Писарева вспыхнуть и, быть может, наговорить черт-те что. Сейчас они заставили его встряхнуться.

Зайцев отошел в сторонку, его люстриновое пальто мелькнуло у лотка папиросника. Варфоломей взял трость под мышку, с удовольствием выпустил дымок сведенными в трубочку губами, потом высыпал на руку мелочь. Мелькнул позеленевший екатерининский пятикопеечник. Зайцев удовлетворенно засунул деньги в карман.

— Ну, что ты стоишь, как изваяние? В магазине «Феникс» — знаешь, на углу Невского и Садовой? — в витрине чучело, точь-в-точь как ты сейчас.

Писарев промолчал. Потом спросил:

— Ты в Питер надолго?

Зайцев все затягивался дымом. Медный набалдашник его трости тускло поблескивал.

— Нет, — наконец сказал неохотно, — сейчас домой, потом вернуться надо через короткое время. Однако прощай, — Варфоломей колебался, сказать ли Писареву о делах, которыми он был занят последнее время. Писарев, оглушенный вчерашним, вряд ли был готов выслушать серьезные вещи, тем более что и всегда он декларирует, что его главное дело — писать для «Русского слова», только писать. — Ты куда сейчас?

— В типографию. Запаздывает моя статья...

Писарев скривился: вспомнил, что там, в статье, ни к селу, ни к городу помянул про отношения с Раисой. Поздно, хоть Раиса и наверняка прочтает. Поправить ничего нельзя. Вот тебе и урок. Написал о свободе каждой личности распорядиться собою — получи, миленький, результат. То есть что я? Не результат, а претворение собственных же идей в реальной жизни. Как захотела, так и сделала. Ну — более ни слез, ни вздохов. Работа и работа...

— В типографию, посмотрю, что осталось от меня после цензуры. — Они пожали друг другу руки, Зайцев повернулся и пошел, помахивая тросточкой.

У Тиблена к Писареву сразу подошел фактор, ведающий бумагой и красками. Того и другого не хватало, а владелец проявлял странное небрежение, словно бы ждал чего-то.

— Или мы прекращаемся, Дмитрий Иванович? — фактор чесал за ухом, осыпая перхоть на плечи. — Прогораем? Нешто к тому идет? То-то на вас, Дмитрий Ива-

нович, выражение лица имеется,— изысканно выразился фактор.

— Нет, нет, нет, никакого, уважаемый, выраженья нет. Набор что? Готов?

Быстро ссыпался по нескольким ступенькам вниз, к наборщикам, взял текст оригинала, там и сям помеченный красной тушью цензуры. По мелочам оказалось не так много, но в четвертой части, где он бросил между прочим: «отдельный человек во всей своей деятельности, во всех свойствах и особенностях своей личности зависит от окружающих обстоятельств, от количества и качества идей, находящихся в обращении между его современниками...» И далее — о Петре, который не мог сделать того, чего не позволяло время, в четвертой части оказалось изъятие. Собственно, говорилось о том, что заслуга Александра нашего Николаевича не столь велика. Велика ли заслуга от распоряжения, «которое теперь кажется нам естественным, необходимым и во всяком случае вовсе не удивительным»? Сразу за словом «удивительным» вымаран был целый абзац, ничего... ничего, вроде бы, не содержащий такого... Ну, обстоятельства заставили государя дать Манифест, обстоятельства, а не его добрая воля, ну, это же ясно из написанного как божий день — снял цензор. Ну, ладно.

— Замечательно, Дмитрий Иванович, изволите писать, — сказал наборщик за спиной.

— Да? — рассеянно спросил Писарев, продолжая рассматривать набор.— Вы интересуетесь литературой?

— А как же иначе, Дмитрий Иванович,— молодой парень удивился его удивлению.— Хлеб свой знаю, как добыть. С разумением, стало быть, набираю. У иных, у того же Григория Евлампиевича, дай ему бог здоровья самого лучшего, у Григория Евлампиевича строки, как, прости господи, курица лапой нацарапала. А у вас, у вас другой вид совсем, строчка выглядит ровно, и помарок

нет, буквочки все ясные-преясные. Не работа, удовольствие одно бесконечное!

— Благодарствуйте,— Писарев поклонился, снова уткнулся в рукопись.

В третьей главе отсутствовали сразу три абзаца — не такие, право же, большие и важные, но все-таки... Главное — фраза, что Петру так же было мало дела до русского народа, как и Лейбницу, фраза, по разумению цензора, наверное, впрямую оскорблявшая всю царскую фамилию и всех прежних государей и государей предбудущих. Остальные два абзаца из выброшенных так или иначе сию очевидную мысль иллюстрировали. Ну, господи! Деньги не даром получаете.

Еще раз перечитал завершающую фразу: «Но бедная русская мысль спала очень крепко, и ее отдельные разрозненные проявления, растрчиваясь в неравной, но не бесплодной борьбе, глохли и замирали, как слабый стон, вырывающийся из наболевшей груди». Концовка осталась в неприкосновенности. Бене¹.

Типографские своды хороши были. Рассеянно дотронулся до серой штукатурки стены, и представилось, что это тюремные своды нащупывает напрасно мятущаяся рука. На миг отрешился от мерного шума работающих машин. Наборщик давно уже говорил что-то над ухом.

— Что? Да, пускайте тираж.

Висящий гул работы напоминал гул питейного зала, но этот гул мог пропасть, отступить, и растворенная в ушах тишина начинала давить на барабанные перепонки, как давила на голову тишина в лечебнице Штейна. Ну вот, удар и поношения случились — настоящие, не вымышленные, и что же? Ни слез, ни бессонных ночей — ну, может, одна или две бессонные ночи. А главное — не было неспособности к труду, главное.

¹ Хорошо (*итал.*)

«...Неравной, но не бесплодной борьбе...» «Борьба» — слово произнеслось не первый раз и как бы само собою. Как бы не так! «Вся жизнь отдельного человека сдавлена и спутана в своих проявлениях в угоду отвлеченного понятия государства, именно от того, что всякий отдельный человек бывает прежде всего чиновником, солдатом, учителем, купцом, министром, а собственно человеком бывает в досужие минуты, в свободное от служебных обязанностей время». Так было в России до Петра и есть нынче, миленькие, и будет после Петра, после нас, какой бы ни пришел новый Романов. Почти так он, собственно, и написал. И ничего... Вот именно, ничего. Речь, действительно, о государстве, о внешней политической форме. Форма изменяется, а в судьбе народа никаких изменений не происходит. Отчего же так-то? Поговорить с Баллодом?

...А публицист свое делает дело — решает важнейшую задачу, господа, — силится изменить настроение умов, вот что! Полистайте, милые мои, яснее ясного сказано у меня: «Разве один человек может мучить десятки миллионов людей, если эти десятки миллионов не хотят, чтобы их мучили?» Ну, я говорю о Калигуле... У какого грядущего императора будет в сенаторах рыжий жеребец? У какого-нибудь будет, право слово... «А если десятки миллионов соглашаются быть пассивным орудием в руках полоумного Калигулы, то Калигула-то, собственно, ни в чем не виноват»... Как не виноват? А так: «...не он, так другой, не другой, так третий; зло заключается не в том человеке, который его делает, а в том настроении умов, которое его допускает и терпит». Да, стряхнуть с себя роковую апатию — вот задача, задача, задача борьбы.

Характерно поднял, вздернул голову. Есть народ, мимо которого идут все исторические события. Народ не замечает их течения, как не замечает и смены одного властелина другим. Пустое! Вопрос лишь в количестве кро-

ви, которой новый государь зальет народ, а то, что кровь будет пролита, несомненно, само собою разумеется. И народ, да, спит, а проснется ли? Мы не знаем. Может статься, от нас зависит время его пробуждения. Писал, что проснется он сам по себе. А сейчас думаю — нет, не так, разве мы все не стараемся разбудить его как можно скорее? Чем же иначе я занимаюсь здесь, скажите на милость?

И пробуждение его будет страшным. Пробуждение его будет страшным.

Пробуждение его будет страшным, потому что такие картины увидит вычистившееся его зрение, что сокрушит он все, до чего сможет со сна дотянуться. В будущем. Потому что «мы молоды, как народ, и если счастье дастся нам в руки, так не иначе, как в будущем, впереди, в неизвестной, заманчивой голубой дали».

— Пускайте тираж!

Выскочил на свежий воздух, торопясь увидеть голубую невскую даль, полную счастья и — «Осторожнее, господин хороший!». Чуть не сшиб, выскакивая, проходившего мимо рабочего. Картуз, плисовый воротник, гарусный зеленый шарф — парень нарядился для какого-то праздника. Испещренное оспинами лицо невидяще глянуло в лицо Писарева. Рабочий остановился, они некоторое время изучали друг друга. Потом проходящий неизвестно чему усмехнулся и тронулся себе дальше, Писарев поглядел ему вслед.

...Приезды Зайцева в Петербург совпадали или с появлением прокламаций, или же с возникающими вдруг разговорами о тайной организации, зреющей в недрах радикальных кругов. Разговоры — дело пустое, это Писарев определял четко, их с приездом Варфоломея и не связывал, а вот прокламации... Баллод — не так много и вре-

мени прошло — спрашивал, не знает ли Писарев в типографии «Русского слова» надежного наборщика. Писарев тогда, подумав, ответил отрицательно. Уже ясно было, для чего Петр ищет рабочего.

Дружба дружбой: Писарев был откровенен, как он был откровенен с каждым, кто давал малейший повод для душевных излияний. Писарев был откровенен, а Баллод — нет. Только посмеивался в усы и снова становился мрачно недоступным. Однако в последнее время Баллод, видимо, нервничал. Нервничал и Зайцев. А ему, Дмитрию Писареву, пора перестать нервничать. Пора, пора, и не покоя сердце просит, как писал стихотворец, а дѣла, дѣла. Ничего более не служит душевному успокоению, миленькие мои.

5

Валуевская записка «О надзоре за типографиями, литографиями и другими подобными заведениями» была подана еще в конце апреля.

«Рассматривая ближе причину безуспешности полицейских разысканий и таможенных преград, нельзя не убедиться, что она лежит в неполноте и неудобоприменимости существующих постановлений по части надзора за произведениями печати и за теми заведениями, где оные в разных видах и при разных условиях предаются тиснению».

Бунтарям собственным и бунтарству привозному, лондонскому, необходимо, наконец, положить предел. Существующее законодательство, господа, совершенно неудовлетворительно, и необходимость серьезных мер назрела.

«Министерство внутренних дел считает, что необходимо ввести, хотя временно, некоторые правила, которые, не изменяя существующего законодательства, облегчили бы его практическое применение».

Во-первых, необходимо запретить продажу типографских машин и других типографских принадлежностей без надлежащего разрешения полиции.

Во-вторых, всем без исключения лицам, имеющим типографские и литографические станки, а также прочее оборудование, необходимо предписать прохождение регистрации и сходное же разрешение получить.

В-третьих, так же точно необходимо предписать регистрацию печатаемых рукописей, для чего составить и вести в Управлении полиции соответствующую учетную книгу.

8 мая Комитет министров записку Валуевскую рассмотрел и утвердил. А 12 мая, в то время как Писарев сидел в типографии, сверяя текст после вмешательства цензуры, государь одобрил новый цензурный циркуляр Головнина. Министерству народного просвещения и внутренних дел предоставлено, господа, право отнимать у журналов и газет возможность публиковать политические статьи и прекращать — временно прекращать, до восьми месяцев сроку, — журналы и газеты, упорствующие в противуправительственном направлении. Это наша победа, господа. Государь в милости своей, между нами, берет через край. Подвигнуть государя на ясный и твердый шаг — большое, большое благо. Вот, нуте-с, посмотрим, каково им теперь станется. Уже несколько дней в городе разбрасывают новую прокламацию — «Молодая Россия».

Прямое воззвание к цареубийству, к убиению всех членов царствующего дома и всех приверженцев его. Чего уж далее! Провозглашение самых крайних социалистических начал и обещание «русской, красной, социальной республики». Что же делать? Ясно — учредить «Следственную комиссию для рассмотрения дел о распространении революционных воззваний и антиправительственной пропаганды среди населения и в вой-

сках». И председателем комиссии — князя Голицына. Что — старик? Старичок цепкий. Он? Он разберет, разберет...

Надев очки, которые болтались у него на длинном черном шнуре из кожи — золотая цепочка, будучи тонкою, рвалась, а будучи толстою, тяжелила, старичок все-таки довольно близко поднес бумагу к глазам и, косясь на стоящего рядом секретаря, читал:

«Офицеры.

Настало время каждому честному офицеру спросить у своей совести, чего ему держаться в виду совершающихся событий.

Жизнь России невозможна без коренных реформ. Правительство само это осознало, оно даже приступило к ним и — струсило. Эгоистическое, не любящее России, оно втягивает государство с пути реформы в путь революционный. Оно само нарушает мирный ход реформ незаконными поступками, непрерывно являясь вооруженным бунтовщиком против мирной России: то стреляет без нужды по народу, то сечет его и ссылает в каторгу, то наполняет казематы студентами, то хватает мировых посредников. Реформа, сопровождающаяся заточением, ссылками, каторгой и обгаряемая кровью, есть уже настоящая революция...»

— Эка, куда метнул! — довольно сказал князь Голицын, словно бы подражая гоголевскому городничему. Секретарь помнил сочинения г. Гоголя, а князь Голицын — не помнил. Зато князь отлично помнил, кого он, князь, внешне напоминает — поэта российского Гавриила Романовича Державина, мало что действительного статского — эка невидаль, а деятеля, пользующегося любовью и высших особ, и простого народа. Красный с золотым шитьем мундир сидел на седовласом князе удивительно, как го-

ворили люди знающие, похоже. В молодости князь видел Гаврилу Романовича и теперь с удовольствием подражал и державинскому равнодушию на советах, и державинскому вдруг прорывавшемуся восторгу и ажитации.

— Молодец! — еще раз сказал Голицын, широко отводя бумагу в сторону. — Мерзавец! Люблю... Молодец, молодец. Мерзавец!

— «Правительство первое стало прибегать к оружию, оно само начало революцию и разовьет ее дальнейшими своими действиями. Отечеству нашему предстоит пора великих бедствий...»

Князь загрустил и голову опустил долу:

— Истинно, о, господи, истинно... Пока всех таких не возьмем... Истинно.

Секретарь почтительно смотрел сверху на старичка в расшитом мундире.

— Читай сам, голубчик, ровным голосом.

Секретарь, статский советник, взял у Голицына прокламацию и в который раз начал читать:

— «Столкновение между правительством, упорствующим остановить жизнь России, и силой этой жизни — неизбежно...» — Князь кивал головой, засыпая. «Из каких элементов составятся противные стороны? Положительно можно сказать, что партии сложатся не по сословиям, а по убеждениям. В этом столкновении сословия перемешаются». — Голицын неодобрительно цыкнул зубом, пробормотал что-то себе под нос — не понравилось. Секретарь на мгновение приостановился, затем продолжал читать: — «И потому ваша задача — не искать, к какому пристать сословию, а к каким пристать убеждениям. И обдумать это, поверив свои и чужие убеждения, надобно теперь же. В минуту столкновения рассуждать будет поздно — можно наделать горьких ошибок, в которых вечно придется раскаиваться...»



— Да уж,— энергически сказал председатель особой комиссии, просыпаясь,— ошибок делать никак нельзя. Это он правильно... того... загнул... Молодец!

— Василий Андреевич сообщает: предположительно известно, кто сочинитель, а также — из какой типографии вышло, ваше сиятельство,— почтительно сказал секретарь.

— А... Молодец, молодец князь Василь Андреич, молодец,— пробурчал Голицын, впадая опять в первую ипостась Державина. — Ну те-с?

— «На каждом человеке прежде всего лежит служба истине и Отечеству. Каждый русский знает, что для блага его Родины — необходимо: освободить крестьян с землей, выдав помещикам вознаграждение, освободить народ от чиновников, от плетей и розг; дать всем сословиям одинаковые права на развитие своего благосостояния; дать обществу свободу самому распоряжаться своими делами, установить законы и налоги через своих выборных; не хватать никого без суда по-разбойничьи; устроить суд гласный; и дать каждому право свободно высказывать свои мысли...»

Старик только головой качал, слушая.

— «Само правительство не может отвергнуть честности этих убеждений. А между тем оно повернет вас против них...»

— Кого — вас? Не понял.

— Листок обращен к офицерам, ваше сиятельство.

— А! Да! Продолжай.

— «Вас, русских, заставит убивать русских, давить жизнь России. Даст вам роль бесчестную для того только, чтобы безотчетно распоряжаться достоянием России, чтобы вашими штыками поддерживать насилие, произвол и разврат, для того, наконец, чтобы вас же самих держать в унижении...»

— Молодец!

— «Офицеры, подумайте о времени, которое мы переживаем, подумайте о бедном, угнетенном народе, о нашей жалкой Родине».

Старичок пожевал губами.

— Это все, голубчик, я уже в «Колоколе» читывал.

Словно в ответ на слово «колокол», почти над головой раздался мелодичный перезвон колоколов Петропавловки. Следственная комиссия заседала прямо в крепости — предусмотрительно, предусмотрительно! Теперь князь Голицын сидел на втором этаже комендантского дома — в пятидесяти, почитай, саженях от колокольной.

— Последний абзац, — секретарь не удивился обнаруженному кругу чтения председателя особой следственной комиссии. В конце концов, князю знакомство с лондонскими пропагандистами полагалось, могло стать, по силе возложенной на него государем миссии. — Последний абзац сочинителем подписан, видимо, самолично:

«В первый день пасхи воззвание это поразило долго-руко-долгоухое шпионство в самую шишку честолюбия: в дворцовой церкви, перед самым носом государя, оно было роздано в большом количестве...»

— Помню, — брезгливо вякнул Голицын. — И подпись: «Карманная типография»?

— Да-с, ваше сиятельство...

Старичок цыкнул зубом совсем громко, как вурдалак. Секретарь стоял недвижимо.

— Нуте-с, докладывай, голубчик, подробно, обо всей этой затее князь Василь Андреича с этим... Шедо-Ферроти.

Секретарь набрал воздуха. Дело докладывалось длительное.

Герцен, конечно, не смолчал после выступления новоявленного публициста и, что ветер дует от Цепного моста, раскусил в момент (говорили же Долгорукову, что глупая затея, так нет). Герцен отправил письмо Брунно-

ву, нашему послу в Лондоне. Повод — получение им, Александром Ивановичем Герценом, анонимных писем с угрозой убийства. Ни угроз, ни, тем более, писем Герцен ничуть не боялся — случись в Лондоне убийство Герцена, русское правительство выглядело бы весьма кисло. Однако меры надо было взять, и свое письмо послу Герцен напечатал еще в октябре прошлого года, в 109 номере «Колокола».

— Позвольте,— секретарь не мог скрыть ехидства, хотя за ехидство пред лицом Голицына многим рисковал,— позвольте напомнить: «Бруты и Кассии III Отделения» называлось у него.

Старик сделал неопределенный жест рукавом в позу-ментах. То ли это означало, что он, Голицын, знает дело лучше секретаря, то ли, наоборот, соответствовало полному незнанию оною. Вытянутое лицо старика еще более вытянулось, верхняя губа в раздражении полезла на нижнюю. Секретарь неопределенный жест понял правильно и далее продолжал уже бесчувственно, как немецкая музыкальная машина.

Прочитав открытое письмо, в котором его сравнивали, мягко говоря, с удобрением, Шедо-Ферроти отправил в «Колокол» свое письмо: у вас, Александр Иванович, полная гласность, так вот и мое мнение извольте опубликовать. Я считаю вас человеком и нескромным, и хвастливым — понять из моего письма это можно более чем ясно. У вас гласность — публикуйте-с, милостисдарь! Издатель же «Колокола» совершенно спокойно ответил, что не станет публиковать никаких материалов в защиту того правительства, противу которого «Колокол» и издается.

— За оскорбление на дуэль, небось, не вызывает,— сказал старик себе под нос, словно вспоминая молодость.

— Точно так, ваше сиятельство. Личные оскорбления Герцен пропускает мимо ушей.

— Ну-те-с.

Шедо-Ферроти выпустил вторую брошюру — там и первое письмо к Герцену, и второе, и наглый отказ Герцена в публикации, и комментарии на отказ сей. Получилось очень хорошо, отлично! Шедо-Ферроти издал брошюру в Берлине, а распространил в России.

Старик, все отлично знавший, усмехнулся: само имя Герцена запрещено было употреблять в России. Князь Василий Андреевич полагал, что теперь, прочитав сочинение его подотчетного литератора, публика составит о Герцене вполне определенное мнение — возражения Герцена в Россию проникали куда с большим трудом. Старик вздохнул:

— Охо-хо... Хорошо бы, если бы так...

— Простите, ваше сиятельство?

— Следующую читай.

— Появилась впервые в марте, ваше сиятельство, затем снова в мае.

— «Карманная»?

— Точно так, «Карманная типография». «Русское правительство под покровительством Шедо-Ферроти». «Напечатано в Петербурге, в Карманной типографии».

«В действиях нашего правительства, подавляющего всякое проявление жизни, замечается новая черта — трусливая подлость иезуитов. Не переставая ссылатъ, засекаютъ, пытать, расстреливать, оно употребляет скрытные, подлые, но вполне достойные его меры там, где нельзя ничего сделать грубым насилием. На днях оно пустило в продажу брошюру, написанную каким-то Шедо-Ферроти и направленную против Герцена (Искандера). Первоначально она была напечатана в количестве 400 экземпляров, в виде пробы, в скором же времени выйдет еще в значительном количестве. Брошюра эта написана чрезвычайно хитро и на людей, мало читавших издания Герцена, может произвести действие, ожидаемое правительством. Автор ее, стараясь подорвать доверие общества

к Герцену, выставляет его человеком, стремящимся захватить власть в свои руки при будущем перевороте в России, в виде подлой насмешки ставит его на одну доску с коронованными особами и упрекает его в перемене своих убеждений.

Оставив подобное мнение о Герцене при Шедо-Ферроти и нашем правительстве, мы спросим вас, гнилые столпы деспотизма: неужели вы думаете подобными мерами ослабить огромное влияние, производимое изданиями Герцена на общество? Нет, вам остается одно — убить Герцена. Не предавайте смеху подобную грустную мысль. Она ваша, и, несмотря на ловкую диалектику Шедо-Ферроти, ему не вполне удалось замаскировать и предать посмеянию подобную мысль.

Трудности, которые пришлось нам одолевать, прежде чем наш голос мог раздаться в печати, были так велики, и силы наши пока еще так мало организованы, что мы теперь не можем входить в подобный разбор этой брошюры, но, вероятно, Герцен не преминет дать пощечину в своем «Колоколе» как Шедо-Ферроти, так и нашему правительству».

— Всего-то?

— Следует, — секретарь подсчитал, — семь типографских знаков «тире», — секретарские губы выговорили: «ти-ре». — Заключение: «Интересно бы знать, во сколько обходится это покровительство».

— И все?

— И подпись: «Напечатано в Петербурге, в Карманной типографии», ваше сиятельство.

— Слабовато, голубчик, слабовато... А я-то, господи прости, уж подумал... Молодец! Мерзавец... Слабовато... Проглотили пилюлю.

— Точно так, ваше сиятельство.

Зайцев уехал, а потом, двенадцатого мая, в день выхода запоздавшей апрельской книжки с писаревской «Бедной русской мыслью», появился снова.

В последнюю неделю Писарев вдруг решил франтить, купил на Литейном костюм цвета синей сахарной бумаги, шелковый галстук. Чуть было не взял и приказчиьи перчатки, но в последний момент разум возобладал — и так он выглядел нарядившимся парвеню. Костюм носил назло себе. Галстук искрил и издавал злобный металлический треск, отлично выражая настроение своего владельца.

Зайцев, поздоровавшись, пробормотал, что приехал по семейным делам, спросил, как Писарев думает управлять с новыми цензурными правилами.

— Прикроют лучший журнал России на законных основаниях, куда пойдешь, брат?

Писарев даже руку поднял — беспечно махнуть этой рукой, но руку опустил. Зайцев был прав. В майский, скажем, номер идут сразу три его, Писарева, работы — хватит и послать домой, и прожить до июня безбедно, и банчок-с, банчок-с составить с перехлестом. Хватит. А действительно закроют — что будет?

— Не пропаду.

Зайцев засмеялся:

— Спрашиваю, что делать тогда будешь, Дмитрий Иванович? Де-лать? А?

— Дело найду! — Писарев вскочил. Редакционный кабинет Благосветлова показался ему бесконечно маленьким, тесным. — Меня-то не заставят молчать!

Добрыми глазками Зайцев глядел на Писарева сквозь очки.

— Сейчас, неуравновешенный брат мой, дам прочитать нечто.

Тяжело дыша от минутного возбуждения, Писарев шлепнулся обратно в кресло, в котором сидел. Зайцев повернулся, вытащил из-за стола раскрывающийся, как пасть, докторский саквояж.

— Такой саквояж,— сказал Митя с некоторой злобой.— Такой саквояж, ежели он не путешествующий англичанин и не сам господин Катков, в России может иметь только доктор из Соболева переулка. Ха-ха-ха! Ходить по номерам и проверять, нет ли у девочек славных болезней.— Он начал снова возбуждаться, последнее время выходил из себя по малейшему поводу, а Зайцев сейчас его задел сильно: подумайте — что он, Писарев, будет делать? Зарабатывать пером! Вот что! Не первый год пером кормлюсь, захочу — четыре тысячи в год буду снимать с перидики! Слава богу!

Зайцев рылся в саквояже, руку подsunул под лежащее сверху белье.

— Ты представляешь себе издание, в котором ты мог бы сейчас сотрудничать? — пробормотал, склоненный, как бы из саквояжа, все шуруя рукой, стараясь достать что-то, спрятанное глубоко, непомятым. Фалдочки старого пиджака Зайцева разъезжались в стороны.

Возбуждение с Мити тут же схлынуло. Зайцев обладал удивительной способностью смотреть на вещи предельно реально.

— На-ко. Случайно нашел на вокзале.

Машинально заправляя выбивающийся из жилетки галстук, Писарев прочитал: «Молодая Россия».

— Опять прокламация? Да это целый манускрипт! Отлично.

Он вдруг рассмеялся, дернул тугой узел на шее, потянул, галстук уполз в карман, как змея; Писарев преобразился, забытое добродушие, редкое у него, а в последнее время — особенно редкое, охватило.

— «Россия вступает в революционный период» —

так... «Снизу слышится глухой и затаенный ропот народа...» — так. — Он громко прочитал: — «Опираясь на сотни тысяч штыков, царь отрезывает у большей части народа (у казенных крестьян) землю, полученную им от своих отцов и дедов, делает это в видах государственной необходимости и в то же время как бы в насмешку над бедным, ограбляемым крестьянином, дарит по несколько тысяч десятин генералам, покрывшим русское оружие неувядаемую славою побед над безоружными толпами крестьян, чиновникам, вся заслуга которых — немилосердный грабеж народа, тем, которые умеют ловчее подать тарелку, налить вина, красивее танцуют, лучше льстят!» Отлично! Точно, емко. Я бы не написал лучше!

Зайцев похихикал в ответ.

— «В современном общественном строе, — продолжал читать Писарев, — в котором все ложно, все нелепо...» Правильно!

— Не кричи.

Он продолжал уже про себя, шевеля губами, словно нерадивый гимназист: «Выход из этого гнетущего, страшного положения, губящего современного человека, и на борьбу с которым тратятся его лучшие силы, один — революция, революция кровавая и неумолимая, — революция, которая должна изменить радикально все, все без исключения, основы современного общества и погубить сторонников нынешнего порядка.

Мы не страшимся ее, хотя и знаем, что прольется река крови, что погибнут, быть может, и невинные жертвы; мы предвидим все это и все-таки приветствуем ее наступление, мы готовы жертвовать лично своими головами, только пришла бы поскорее она, давно желанная!»

Писарев, бледный, хотел сорвать душивший его галстук, но галстук давно был снят. Вдруг со страхом ощутил на шее удушающий нажим веревки.

— Страшно? — вкрадчиво спросил Зайцев. Его маленькие глазки неотступно следили за товарищем. — Читай!

Писарев опустил глаза к прокламации. Она начиналась большой цитатой из Искандера, и теперь ему же и выдавалось по первое число — отстал, многое сделал, но отстал! Так приходилось понимать авторов: Герцен против насильственных мер — в сторону Герцена. «Мы изучали историю Запада, и это изучение не прошло для нас даром; мы будем последовательнее не только жалких революционеров 48 года, но и великих террористов 92 года; мы не испугаемся, если увидим, что для ниспровержения современного порядка приходится пролить втрое больше крови, чем пролито якобинцами в 90 годах».

Поднял голову:

— Что-то уж очень много крови, воля твоя. Прямо ошпарило. И от «Великорусса», гляди, отмежевываются — либералы. А так ли? Что же они сами предлагают, кроме крови?

— Никакого примирения со всей этой сволочью, — глухо ответил Зайцев из угла. — А предлагают, после неизбежной крови, вот что — замену деспотического правления царской монархии республиканско-федеративным союзом областей во главе с Национальным и областными собраниями. Ну, читай, читай.

— Выборность судов самим народом... Правильное распределение налогов... Создание общественных фабрик... Это как же — «выбранными от общества управляющими, периодически дающими отчет обществу»?

— Так.

— Общественные лавки — так... Товары... «по той цене, которой они действительно стоят». Кто ж будет продавать товары по той цене, которой они действительно стоят? — Писарев был уже в полной растерянности.

— Общественные лавки, Митя. Об-ще-ствен-ны-е.

— А вот это отлично, — загорелся Писарев, — правильно: «Мы требуем полного освобождения женщины, дарования ей всех тех политических и гражданских прав, какими будут пользоваться мужчины, требуем уничтожения брака, как явления в высшей степени безнравственного и немыслимого при полном равенстве полов, а следовательно, уничтожения семьи, препятствующей развитию человека, и без которого немыслимо уничтожение наследства». Черт возьми!

Улыбаясь, Зайцев встал и посмотрел в окно:

— Что-то дымно. Горит где-то.

— «Но наша главная надежда на молодежь...» — Писарев снова оторвался от текста: — Я тоже так считаю, Варфоломей. — Зайцев смотрел в окно. — Ты слышишь? Я согласен: «Она заключает в себе все лучшее России, все живое, все, что станет на стороне движения, все, что готово пожертвовать собой для блага народа». Так! «Да здравствует социальная и демократическая республика русская!»

— Видишь, — с мефистофельской улыбочкой проговорил Зайцев, — ты уж и распропагандирован подчистую.

— Так! — Писарев встал. — Что-то Евлампиева долго нет. Так. А теперь разберем, Варфоломей, твоё сочинение.

— Нашел на вокзале, — отстраняющий жест Зайцева.

— Разберем. Тут что хорошо — все ясно и определено. А то все талдычат о благе народа, а здесь прямо сказано: кровавая революция. И иного пути нет.

— А ты, Писарев, как считаешь?

Он помолчал. словно бы специально к разговору, с улицы все сильнее и сильнее пахло гарью.

— Не знаю... Что-то... чересчур... может быть.

— Ишь, как ты за ясность вступаешься: «что-то», «может быть». — Зайцев передразнил. — А ты понимаешь, что эта прокламация сейчас не должна пройти бесследно ни для кого. Понимаешь, — он приблизил свое

лицо к взволнованному лицу Писарева, — ни для кого. Это — начало. — Отодвинулся, сложил руки на животе, хмыкнул: — Вся глупость о семье и браке. Ладно, пороку лишь подбавили. Не это главное, что тебе понравилось. У тебя момент такой сейчас.

Писарев вспыхнул.

— Тише, брат, тише... Прочитав, — зайцевский палец потыкал в желтую бумагу прокламации, — каждый должен будет сделать выбор. Читают уж второй день во всем Питере, пока ты пестуешь свои обиды да новыми костюмами утешаешься.

Не ответил на издевку. В костюме было жарко, теплынь стояла необычная для этого времени года. Словно что-то с трудом проворачивая в собственных мыслях — новое для него ощущение, — стоял у благосветловского стола и молчал. Наконец сказал:

— Тут первый раз говорится о республике, Варфоломей. Вот это и ценно. А река крови многих людей отпугнет от хорошего дела. Не только наших либералов, но и таких, как Искандер. Попомни. А так, что ж. — Твердо сказал: — В государстве необходимы перемены.

Зайцев мелко засмеялся, похлопал Писарева по плечу, снова похлопал:

— Искандер! Искандер далеко, а мы ту-ута!

— Напрасно смеешься! — Писарев высвободился. Было неприятно, что с ним взят вдруг такой странный тон. Прокламация ли возбуждала, или он — прав Зайцев, прав — сам находится в возбужденном состоянии, хотя, кажется, все силы уходят в работу, от того ли, от другого — кровь по телу пошла быстрее. — Напрасно смеешься! Герцен призывает к делу, понимаешь ли, к делу. — Сказав знакомое и любимое слово, несколько успокоился. — Сейчас не к крови призывать надо, а собирать силы, учить народ, давать ему понятные для него знания, потом, — Писарев совсем уже впал в привыч-

ный тон, — другие знания, проповедовать пользу естественных наук... А о положении в стране точно сказано, что уж тут.

Зайцев смотрел, ничем не выдавая своих чувств. Прокламацию он привез в типографию Баллода. Баллод успел напечатать уже несколько сотен экземпляров, но вот насколько откровенен Баллод с Писаревым? То, что они вместе играют в карты и ездят к женщинам, еще ни о чем не говорит. Мало ли кто с кем играет в карты. Ну, приятели. А Писарев — излишне нервен. Действует прокламация ошеломляюще — это главное.

Уложил сдвоенный листочек в саквояж.

— Поразмысли на покое. Все серьезные люди должны сейчас объединиться вокруг радикального знамени.

Писарев не успел ответить. Наступила усталость, все тело зудило жаром. Он начал раздеваться; снял пиджак, бросил, потянул воротничок, воротничок почему-то положил на краешек гнutoго еврампиева стула, потянул сорочку. Провел по свободной груди рукой:

— Жарко, Варфоломей!

Краешком глаза наблюдал за Зайцевым, отметил — удивлен, но не подает вида. А он, Дмитрий Писарев, возжелал сейчас раздеться, и разденется. Захочет — голым на улицу выйдет! Впрочем, голым — не захочет. Заберут. Неосознанный — против чего? кого? — протест заставлял дурачиться. В государстве необходимы перемены! Взятся за помочи от панталон, когда влетел в комнату Благосветлов, мгновение смотрел на Писарева, в полуразобранном виде стоящего у стола, на Зайцева, держащего в обеих руках перед собой, действительно, как ученый заяц, свой саквояж. Благосветлов дышал, как загнанный.

— Вы что, не чувствуете ничего?! — заорал. Бросился к окну. Мимо окна с грохотом промчались пожарные дроги, было видно, как пристяжная осыпала пену в пыль, пена, полопавшись, осела. — Где ваш хваленый лите-

раторский нюх? Вся Охта горит! Вчера на одной улице началось, черт их раздери совсем! А сегодня и на Большой, и на Малой!

Все еще тяжело дыша, Благосветлов уселся за свой стол, достал папиросу, закурил, подержал перед глазами горящую спичку, пока она не догорела до крупных желтых ногтей бывшего семинариста. Бросил спичку в пепельницу.

Писарев вместе с Зайцевым — оба стояли у окна. Высунувшись, Зайцев старался углядеть поднятые сигналы — стена загораживала, и видимые отовсюду шары на каланче оказались скрытыми.

— Что смотришь? — проворчал Благосветлов. — «Сбор всех частей». Говорят тебе, Фома неверующий... Да-с... Теперь нам не зевать.

— То есть? Тушить, что ли, бежать? Суеты добавить?

Благосветлов посмотрел на Дмитрия Ивановича. Потом они переглянулись с Зайцевым, неизвестно, что было в их глазах, но лица у обоих помрачнели, и Зайцев, подняв плечи, еще и развел коротко руками.

— Ладно, ладно, что ж... Хоть неделей бы позже... Ладно. У нас номер хороший получился, — кивок в сторону затягивающего галстук Писарева, на этот раз Благосветлов глядел доброжелательно, — хороший номер... Охо-хо. Дмитрий Иванович, юноша влюбленный. — Толстые пальцы Григория Евлампиевича забарабанили по жесткому сукну стола. — Боюсь. Честно признаюсь: страшно. Пока майский номер лежит в наборе, скорее давайте тираж. — Еще побарабанил по столу...

Ежегодные отчеты, получаемые Долгоруковым по части состояния дел в отечественной литературе, занимали его

сильно. В литераторах, неоднократно напоминал государь, в литераторах заключалось главное зло.

Дураки у Долгорукова не служили. Дураков не держал. Каков отчет, а? Каков отчет! Слог... Слог-то какой! Самому, — оглянувшись по привычке, словно кто-то мог бы подслушать собственные его мысли, — самому иной раз мыслью не охватить сказанное. Арсеньев у нас мастер, показать государю не стыдно. Да... Не стыдно. Молод, проходит по статской, а уже надворный советник. Ловок! *«О политическом направлении литературы».*

Что ж, молодые люди, у каждого в жизни своя является фортуна. И у него, Василия Долгорукова, фортуна сия была, и он, Василий Долгоруков, дамочку эту не упустил, так — старик скривился, показав зубы, — руку протянул — хап! Моя! Четырнадцатого декабря двадцать пятого года, будучи корнетом лейб-гвардии конного полка, находясь в Зимнем дворце с внутренним караулом, обратил на себя внимание государя Николая Павловича твердостью выражения лица и суждений. Вот и... пошло. И пошло. Военным министерством управлял, государи мои...

Стал читать.

«Главною задачей русской литературы последнего времени было выяснить политическое значение народа по отношению его к верховной власти. С этой целью наши публицисты обратились прежде всего к исторической критике: в до-Петровской эпохе, как на политическую самобытность народа — самоуправление, — они указывали на мирские суды, сходки, соборы, уложения, на Новгородское вече, и особенно опирались на избрание государем Михаила Федоровича с «записью», которую они считают равной ограничению власти. Последующие затем события — усиление монархического принципа и ущерб демократическому началу и образование привилегированных сословий — писатели наши признают явлениями враждеб-

ными в жизни русского народа. По их мнению, должно разрушать все, что было введено у нас императором Петром I — централизацию, бюрократию, притязания казенного права, иерархию, основы чинов и сословий, постановления для собственности и личности; должно уничтожить все реформы, не имевшие ничего общего с русской жизнью, потребности которой вследствие немецкого бюрократизма были не известны; народ подвергся невежеству и бедности; явились корыстолюбие и несправедливость судов. Самую власть императорскую называли, хотя не открыто, деспотизмом, произволом, гнетом.

Для ослабления же в современниках уважения к этой власти темою своих исторических сочинений избирали большею частью одни только несветлые стороны жизни некоторых наших императоров и императриц или старались представить в невыгодном свете узаконения тогдашнего времени. В тех же видах порицались и органы верховной власти — привилегированные сословия. Дворянство, по мнению писателей-демократов, составляло опричину Петра I, предавалось вместе с ним разного рода оргиям и, получив в свое заведование некоторые отрасли управления, сделалось изменником народу; самое увеличение прав дворян было следствием благодарности Екатерины II этому сословию за услуги, оказанные ей при возведении ее на престол. Не менее сильны были нападки на класс служащих и на духовенство. Одним словом, публицисты, защищая народ, давали ясно понять, что под именем народа разумеют один непривилегированный класс, который они называют «меньшею братией», и только этому сословию стараются придать политическое значение. Бывший профессор С.-Петербургского университета, Павлов, в напечатанной им статье «Тысячелетие России» между прочим выразил: «обстоятельства избавления России от иноплеменников и избрание Михаила Федоровича имеют глубокое значение. Кто освободил Рос-

сию? Русский народ в лице нижегородского мясника. Кто избрал на Московский престол царя? Также русский народ в лице выборных земского собора. Кто, наконец, спас жизнь избранного сею землею царя? Опять тот же русский народ, в лице мужика. Итак, дом Романовых своим восшествием на престол, жизнью своего родоначальника, одним словом, всем обязан русскому народу.

Переходя затем к современному положению простого народа, писатели, под видом содействия материальному и политическому его благосостоянию, высказывали мысли, несогласные с сущностью высочайше утвержденных 19 февраля 1861 года положений о крестьянах и с протекающими из них правительственными распоряжениями. Было несколько статей, в которых говорилось, что помещичьи земли некогда принадлежали и должны принадлежать крестьянам и даже дворовым людям; критиковались или, лучше сказать, перетолковывались некоторые постановления губернских по крестьянским делам присутствий, и вообще порицались многие действия административных и судебных мест по отношению их к быту крестьян. С другой стороны, было помещено несколько рассказов из быта простого народа. Изображаемые в них отношения высших сословий к низшим, по своему оскорбительному для первых содержанию, могли возмущать и усиливать неостывшую еще вражду крестьян против прежних владельцев. В таких статьях крестьянское сословие представлялось обыкновенно забитым, угнетенным; напротив, в статьях о мятежах, бунтах, о разбойниках, каторжниках — восхвалялись молодечество, удаль, отвага и предприимчивость русского человека.

Таким образом, возвышая простой класс людей и в ущерб других сословий и проводя идеи о равенстве прав, о равномерности распределения богатств, литераторы наши незаметно проповедывали учение социализма и коммуниз-

ма. Сочувствие к первому фактически доказывается и тем, между прочим, что некоторые из наших писателей в бытность на выставке в Лондоне посещали, как известно, Герцена, который сам о себе печатно объявил, что он неисправимый социалист...»

Василий Андреевич увлекся чтением и оторвался только тогда, когда почувствовал, что спина затекла. Он переменил позу, вытянул ноги под столом, упершись каблуками в воощеный паркет кабинета. Хорошо излагает... Представить к следующему чину без доклада государю. Отчеты III Отделения, возглавляемого князем Василием Андреевичем Долгоруковым, государь ему лично доверил, ему же лично указал следить строго. Он, лично он, за все несет ответственность. Князь даже привстал над столом, но каблуки не сумели оттолкнуться, и читающий лишь снова, поворочавшись, углубился в бумагу:

«...В связи с направлением социальным проводилось у нас учение о материализме, к счастью, имевшее немногих представителей и появлявшееся преимущественно в журналах «Современник» и «Русское слово»; имея целью объяснить все существующее законами физической природы, оно отвергает все нравственные начала — бессмертие, религию и, наконец, самое бытие Творца. Впрочем, учение это имеет несколько оттенков; так — одни признают даже божественность Спасителя, но не признают святости церкви, ее обрядов, постановлений и т. п. Последователи сего учения люди большею частью молодые или недоучившиеся.

Все вышеупомянутые идеи излагались весьма отрывочно, осторожно, а иногда иносказательно. Чтобы понять автора, проповедывающего то или другое учение, необходимо читать все его сочинения в совокупности; иначе — отдельные мысли о таком учении легко ускользают от внимания цензуры...»

Тут Долгоруков гневно оторвался от доклада. Сколь-

ко же можно талдычить! А государь... гм, — оглянулся, не видит ли кто мыслей его, — государь уперся, прости господи, как баран. Ясно же, что цензура вся должна быть у него в подчинении! Ни Валуев, ни Головнин — оба-два господина дела не видят, не видят! Вот же ему, Долгорукову, докладывают: «Легко ускользает»! Ах, боже мой! Но Валуев на государя имеет влияние. На государя и на государыню — хуже того. Ну, что теперь скажет, теперь поглядим. Куда уж яснее дело ведут:

«Но если писатели остерегались явно высказывать свои социальные и атеистические убеждения, то этого вовсе не заметно в статьях их политического содержания, имевших предметом обсуждение современных вопросов и распоряжений правительства. Выражая вообще горячее сочувствие к совершающимся в Отечестве преобразованиям, литераторы, даже самые умеренные, не скрывали единодушно убеждения, что правительство, вступив на этот путь, не может уже остановиться на половине принятых им реформ; но для счастья страны должно, представляя более простора свободной общественной деятельности, развивать признанные им начала в формах самых обширных. В венце действий правительства они желали видеть ответственность министров, утверждение законов и бюджета выборными от всех сословий; одним словом, желали учреждения у нас представительного правления. При таком убеждении литераторы сильно порицали разного рода установления и вкравшиеся в оные злоупотребления, а равно личности, не только исторические, но современные, служащие представителями прежнего порядка дел.

Такое направление было столь обще, что сочинения без политической мысли, или нравственные, весьма редко появлялись на страницах наших журналов, заключающих в себе главным образом всю литературу настоящего времени (издание сочинений отдельных почти вы-

велось из употребления). На авторов означенных сочинений сыпались упреки, обвинения в отсталости, в обскурантизме и даже предательстве. Ревностные глашатаи политической свободы и равенства, необузданные преследователи стеснений и ограничений всякого рода — поставили в литературе непреодолимые границы для автора, расходящегося в своих воззрениях с их утопическими мечтами; враги произвола в обществах людей — они деспотствовали в области мышления; соболезнуя о государственных преступниках, — налагали тяжелые нравственные оковы на беспристрастного и самостоятельного писателя. Все прежние авторы, служащие украшением русской литературы, подверглись оскорбительным отзывам современных критиков...»

Отчет Долгоруков велел размножить в пяти экземплярах. Первый — Александру Николаевичу, второй — в личный, его, князя, архив, третий — министру внутренних дел Валуеву (подумав про Валуева, так и представил себе его шведскую бороду, жилистую шею), четвертый — министру просвещения Головнину (плавал бы себе адмирал по морю да заключал договора с морскими державами, нет — просвещать ему надо. Вот и допросецился. Пора положить предел). Пятый экземпляр шел, как полагается, в архив III Отделения, для сугубо служебного, если станет надобность, пользования.

Надобность возникала, возникла уже, можно сказать. Каждый должен, ваше величество, заниматься своим делом, тогда в государстве будет порядок. Оглянулся. А Валуев, государь, Валуев... Результаты подобного доклада могли быть и непредсказуемы. Пожевал губами. Надобно подкрепление. И найдем оное, тем более что господа писатели сами нам его предоставили...

Потянул к себе прокламацию «Молодая Россия». Мда-с. Вот и призывают к крови, к огню. А столица — горит. Загорелась в тот же почти день, что разбрасывали

возмутительные листки эти. Понимаете? Призвали к огню, и загорелось. Еще, еще, еще раз оглянулся, не видит ли кто, не помнит ли кто его, князя Василия Андреевича, секретного приказа, отданного совершенно верному человеку сразу же после прочтения очередной прокламации. Подумал: эти оглядки наедине с собою — совершенно лишние. И давно пора ему на воды. Скажем, в Карлсбад. Немцы хорошо успокаивают водами. И вообще — никто и ничего не видел и не слышал и не помнит. И он, генерал-адъютант князь Долгоруков, не помнит. Ничего совершенно не помнит. То есть что я... То, что нужно, слава богу всемогущему, помнит, а то, что не нужно — и не помнит. Вот так оно будет совершенно точно. Совершенно точно: жгут. Жгут, жгут Петербург, город святого Петра, ключ-город, врата Российской империи, столицу.

Коротко дернул колокольчик. Мягко сказал вошедшему дежурному офицеру:

— Гм. Поджигателей непременно надобно сыскать.

Дежурный четко отжался в дверь.

Мда-с. «Молодая Россия» распространилась четырнадцатого, началось через два дня — раскачивались! — то есть шестнадцатого... Уж май какой стоит — благодать. Травы, травы, небось, в имении-то вымахали уже... Горело и, дай бог памяти, года два назад в Измайловском полку, и весь полк почти выгорел, хем-хем, дотла. Курили служивые в неположенных для того местах... Ну, нынче у нас двадцать первое, — начал загибать пальцы, — двадцать первое. Строения у нас в столице, благодаря создателю, большею частью деревянные, за исключением каменных домов наиболее состоятельных лиц. И в каменных строениях — водопроводы, слава тебе, заведены, а в прочих — не заведены. Охо-хо, жалко людей — сколько людей, поди, пострадают, и сами погорят, и пожитки не успеют вынести. Однако, впрочем, народ оповещен! Народ готов! Горит-то уж с шестнадцатого!

Самолично выглянул в дверь, дежурный, сидящий на банкетке в коридоре, гремя саблей, вскочил.

— Сыскать всене непременно! Понял ли? К завтраму сыскать!..

Двадцать второго началось почему-то опять на Охте, и тут уж действительно вся Малая и Большая Охты выгорели почти полностью. Писарев стоял у себя на Васильевском, против Кадетского корпуса, на набережной. Василий Петрович назначен был командовать отрядом, посылаемым на помощь пожарным. Писарев собирался ехать, если возможно будет, с ним вместе, но, несмотря на обещание Попова, что он предупредит караул, в корпус его, Писарева, не пустили, сам Василий Петрович не показывался, и Писарев не знал, что делать, волновался. То ли он опоздал, то ли команда выехала раньше назначенного. Он только, нервно похаживая у ворот вытянувшегося вдоль Первой линии здания, смотрел на несколько столбов дыма, поднимающихся за Невой. Загорелось, видно было, и в Ямской, сильно загорелось. Что он мог сделать один? Эта последняя прокламация, он говорил вчера Баллоду, появилась как раз к пожарам. Прокламация — хорошая, но можно написать лучше. Вместе с растерянностью в последнее время он ощущал какую-то новую, удивительную и удивляющую его твердость. Сейчас, полной грудью вдыхая гарь Петербурга, бездействуя, он физически чувствовал эту новую в себе силу. Чувство вольного отрешения поднимало его над окружающим и неразрывными нитями — одновременно — связывало с ним. Он помнил, как однажды читал стихи на открытие памятника Николаю Павловичу. Зимой, в Москве, на Воробьевых горах. Райса была, Петя Гарднер (Секундант! Секундант несостоявшийся!), Ваня Хрущов. И теперь ни стихов тех он не помнил, ни людей тех рядом с ним нет, навсегда — неужели навсегда? — навсегда нет, а чувство силы, безудержной власти над

жизнью, так радостно проявившееся в морозные дни полного счастья и спокойствия, — это чувство сейчас нарастало и нарастало. Он словно бы пил, наслаждаясь и захлебываясь, глушил, как кушелевское шампанское у него на Гагаринской, пил, не останавливаясь, полными глотками, не слыша бесконечной суматохи и сутолоки за спиной. Он делал то, что должен был делать, он снова был полностью уверен в себе. Он был — оказывается! — он был счастлив!

Звук трубы заставил Писарева очнуться. Посмотрел назад — ворота корпуса запирались, а Василия Петровича так и не было. Ладно! Овладеть собой — главное. Этого он добился, сейчас стало совершенно ясно — добился. И, значит, можно потушить любой пожар, загоревшийся в сердце ли, в соседней ли улице — везде и всюду. Повернулся, чтобы идти, но потянули за рукав.

— Любуешься, окаянный, делом нечестивых рук своих? — гладко выговорил старушечий голос за спиной. Обернулся. Старуха стояла перед ним небольшая, но крепкая, щеки и руки ее вымазаны были сажей, сажа лежала и на платке, и на платье. — Студент или господин какой, не разберу, а все одно — грех! Грех! Бог проклянет! — громко закричала старуха. Народ начал останавливаться. Сообразив, что может произойти, Писарев с деланной неторопливостью пересек узкую набережную и подошел уже не к проходной, а к самим воротам.

— Штабс-капитан Попов! — как пароль, резко выпалил в испуганные глаза кадета. Мальчишка открыл рот и, словно рот и порученные ему ворота соединились, потянул железный штырь. Ворота открылись, Писарев, успев получить только один, правда, ощутимый толчок в спину, заскочил за чугунную решетку и сам быстро переложил засов.

— Обоз выехал? — спросил, словно имел право спрашивать. — Я в обоз штабс-капитана Попова!

Сразу за воротами лежал огромный корпусной плац.
— Точно так!

Несколько человек уже держались за решетку снаружи.

— Господа жгут! Лю-и-ди! Жгут! — кричала старуха. — Крестьянам воля таперича дана, господа ить недовольные стали! Недовольные! Анафема им!

— Тащи его, бей! — закричали еще голоса, — этот поджег!

Решетку затрясли; кадетик, пришедши в себя, схватился одновременно за ружье и за свисток, на свист уже бежал от плаца офицер. Писарев, извернувшись, потирал ушибленное место. Болело. Быстро пошел навстречу офицеру, тот цепко взял его за плечо.

— Кто таков? — обернулся к воротам: — Почему пропустил?! Что? А?! Отвечать! — и вдруг изменил тон: — Дмитрий Иванович? Вы-то как здесь?

Писарев только выдохнул:

— Фу!

— Не узнаете, Дмитрий Иванович? — быстро говорил офицер. — Э, а пулечку расписали у вас знатную. Остались в убытке, вот и не узнаете! — Снова повернулся к воротам: — Ар-разойдись! — К Писареву: — Сюда! И я вам теперь отслужу. Раз-з..! Караул! К воротам, ж-жива! Сюда, Дмитрий Иванович!

Из кордегардии выбежали, встали у ворот, Писарева завели туда же; все потирая спину, он сел на скамью возле пустых ружейных пирамид.

— Извините, имя-отчество запомятовал ваше. Вы меня, можно сказать, спасли. — Сердце колотилось, крутил головой. — А я-то стоял, — вспомнил свои мысли на набережной, — стоял, дурак! Право, спасли.

— И то. Слухи разные в народе ходят, дураки повторяют. При такой жаре скоро Нева загорится... Борисов! Забыли, Дмитрий Иванович, а я у вас двадцать восемь

рубλικов взял! Капитан Борисов. Я тут прикомандирован к кадетикам временно, по месту моей постоянной службы ремонт производят, верите — негде присесть, так я тут, знаете ли, тут.— Русые волосы капитана, плотно прижатые фуражкой, на миг отразили, словно зеркало, солнечный луч из открытого окна. Борисов резко снял фуражку, и волосы плеснули по лбу.— Жарко,— он вытер лоб платком и спрятал платок в задний карман, под офицерский китель.— Сейчас бы в лагеря куда-нибудь, ей-богу, чем пожары тушить... Купаться... Да вы, Дмитрий Иванович, приходите в себя, приходите, ничего уж...— Капитан по-доброму засмеялся.

Стало стыдно за обнаруженный перед малознакомым человеком страх, начал раздражаться, но пересилил себя — все-таки сила была, была! — пересилил себя: на кого злишься? Сам, действительно, стоял посреди всеобщего движения, стоял посреди сутолоки, мыслил, мыслитель! Вот и домыслился.

Борисов сел рядом с ним.

— Ничего, Дмитрий Иванович, сейчас разойдутся... А когда же к вам? — подмигнул: — Отыграться не желаете? Ску-ука. Корпус почти весь отрабатывает летние боевые действия против Шамиля, ха-ха-ха-ха! Алексеевское училище представляет Шамиля! Умора! Если б не пожар, на дежурстве вообще нечего б делать было. Так хоть обоз снарядишь иной раз... Выпить хотите?

— Да что вы! А можно ли вам-то на дежурстве? Да я и... не так, чтобы очень...

— Все можно,— со вздохом сказал Борисов.— Мое начальство не взыскивает... Я ведь слышал, что она кричала: господа сами жгут!

Снова ощутил некоторый холодок под ложечкой, соединяемый с болью между лопатками.

Борисов расстегнул верхние пуговицы кителя и положил фуражку рядом с собой на скамью, на которой сидели оба.

— Какие тут господа! Уж если жгут, я вам скажу: поляки жгут, больше некому. Вон дыму напустили, — он кивнул. В окно, только что пропускавшее солнечные лучи, полз серый дымок.

— Зачем полякам жечь, Борисов? Ну, зачем? Смысл какой в этом?

— Вам бы все смысл, Дмитрий Иванович, — осторожно сказал капитан, выказывая, кажется, некоторое знакомство с писаревскими идеями. — А никакого смысла. Так, гадость сделать русским, вот и весь смысл. Что сейчас в Варшаве-то — сами, небось, газеты читаете. Не повторился бы тридцатый год. А наместник... Придумал — Царство Польское! Кое-кому царицей очень захотелось быть.

Писарев засмеялся.

— Конечно... Надо — твердой рукой. Эх, да что наши все разговоры по гостиним да вот... по караульным помещениям, — Борисов обвел рукой кордегардию. — Пустое занятие.

— Да, — сказал Писарев сухо. Спорить было бесполезно.

— А еще говорят — студенты жгут. Вот это тоже может быть, особенно в рассуждении последних университетских событий и известных воззваний. Не то что на улицах и площадях — в казармах! В казармах разбрасывали.

На это собрался ответить, уже рот открыл ответить на глупость, но в дверь заглянул старший наряда.

— Разошлись?

Кадет грохнул прикладом у ноги:

— Точно так, ваше благородие!

— Ну, и хорошо. Извините, Дмитрий Иванович, — Борисов встал и застегнулся, рывком нахлобучил фуражку; видимо, юнкерский навык «Головной убор — снять! Головной убор — надеть!» привился и нравился. — Изви-

ните: ни одной коляски не осталось. Кадет! Дежурному у ворот на вечернем разводе доложить старшему офицеру, что без причины пропустил в ворота корпуса постороннее штатское лицо, — улыбка в сторону Писарева, — пусть получит по заслугам.

— Слуш-ш-ш... ваш-ш-ш-брдь!

Вышли из двери вместе. Рукопожатие капитана было жестким, постарался ответить возможно сильнее. Борисов снова сжал ему ладонь и отпустил, приложил руку к фуражке: — Честь имею! Ваш покорный слуга.

Дым стлался по Неве, тек вдоль парапетов, поднимался, перемешивался с голубым воздухом. На Васильевском ничего не горело, но казалось, жар, стоящий в небе, усиливался огненным жаром горящих построек. Писарев шел, ощущая этот жар, донельзя раздраженный и могущей произойти нелепостью, и собственным страхом, и помощью Борисова, и, главное, дурацкими его разговорами. Что-то надо было, действительно, предпринимать. Эдак оставлять невозможно никак: слухи распускаются по глупости ли, сознательно, надо им же противопоставить разумную статью.

Радостно вдохнул едкий, прокаленный воздух — сама мысль о предстоящей работе доставляла неизъяснимую радость.

Василий Петрович пришел поздно. Ночью было слышно, как процокали копыта по мостовой, дрожки остановились, раздались голоса, колеса — нет, это был, видимо, тяжелый экипаж — гулко застучали по булыжнику — отъехали. Попов вошел тяжело, устало, рывкнул — непохоже на него, обычно был мягок — денщику:

— Снимай!

Воротник был черен от сажи; сам хозяин квартиры тоже вымазался в саже изрядно, словно давешняя старуха перед воротами корпуса, и так же подозрительно и злобно взглянули на миг в сторону Писарева штабс-

капитанские глаза. Писарев стоял у приоткрытой своей двери, держался за притолоку:

— Ну? Ну же, Василий Петрович?!

Взгляд оравнодушел.

— Что, что, что ну... Ну — и Охта вся, и Ямская почти вся. Так, — на миг представил себе топографический план, как-никак служил преподавателем, — примерно четырехугольник: между Лиговкой и Кобыльской улицей и от Иоанна Предтечи до самого Глазова моста.

Денщик стоял с хозяйским мундиром в руках: от рубахи Попова резко несло потом и гарью.

— Тоги Василию Петровичу, — сухо сказала Попова. — Да смотри — у нас не наделай пожару.

— Извините, Дмитрий Иванович, пойти переодеться, — Попов шагнул и остановился: — А мы с журналом...

— Что с журналом? Что вы хотите сказать?

— Э! — он махнул рукой и двинулся было снова, но снова остановился. — А на улицах, на улицах что делается!

— Я видел... Да.

— Везде сумятица... Бегут... От огня не вздохнуть, качаем из канала, а к набережной не подступиться. Бегут, тащат узлы, детей тащат. Дети... Дети плачут, взрослые плачут... Горе... — он вздохнул и, видимо, не соображая, что делает, по-собачьи поскреб у себя под мышкой. — Все плачут. В одни сутки — пять таких пожаров. Это... Это, я скажу вам — да... — Попов сделал несколько неопределенных жестов — и головой, и плечами, и руками, и даже пальцами. — А у нас в корпусе что говорят, представляете себе? И в городе?

— Я сегодня имел честь уж, Василий Петрович. Общался с вашим Борисовым. Что он у вас, кстати, делает? Ведь это, кажется, — Писарев засмеялся, — жандарм?

— То-то и оно... Извините, все-таки пойду... того...

под водичкой горячей... То-то что — прикомандирован. И в каждой части прикомандированы жандармские чины — приказ генерал-губернатора. Вот как! Извините, — он все никак не мог пойти мыться, мылся, хотел, видимо, что-то еще сказать, но все не решался.

— Вася! Ты где же? — дальний голос Поповой придал штабс-капитану решимости.

— Вот наша агитация журнальная. Теперь кроши правого и виноватого. Тот же Борисов говорил вчера: всякий, говорил, теперь на подозрении. Всякий!

Не ответив ничего, закрыл дверь. Сел за стол, поднял перо, стукнул в чернильницу и... не писалось. Первый раз в жизни не писалось, хотя, кажется, только что знал, что написать. Бросил перо, ручка покатила, пачка чистый лист, оставляя на нем бесформенные следы, похожие на следы черной сажи.

8

— Генерал?

— Генерал, ваше величество.

— Пф... Пф...

Стоял, упираясь кончиками пальцев в край низкого, итальянской работы, бюро. Голубой кабинет, в котором обычно покойный родитель любил слушать приятные известия, оказывал свое несомненное действие: он был добродушен сегодня, весел, заботы о своем народе пересиливали раздражение. Вполне, впрочем, естественное при подобной ситуации раздражение!.. Из овальных окон лился свет, никак не затемняемый мерзостной гарью, которая, докладывали, летала вокруг его столицы. Вздор! Генерал!

— И как же он... э... — неопределенный жест рукой не мог помочь: забыл слово. Александр Николаевич показал рукой, как спичка чиркает о коробок, и вспомнил:

кресало! Спросил с добродушной улыбкой, поднимающей усы: — Кресало?

— Спина, государь, у... гм... генерала намазана, дескать, специальным зельем, каким иным горючим составом. Только генерал потрется спиной о стену или забор, так зелье само собой воспламеняется и, значит, забор и стена горят. Где какое пятно на заборе — сейчас, хи-хи, начинают мыть тряпьем, государь.

— А генерал? — спросил естественно.

— Генерал, ваше величество, уходит невредим, хи-хи.

— Ничего смешного, господа, здесь нет.

Лица вытянувшихся перед ним четырех генералов тут же окаменели. Шутки кончились. Александр осмотрел всех с ног до головы и, кажется, очень хотел осмотреть и спины — нет ли на ком безобразного горючего зелья. Генералы, стоя навывтяжку, внутренне ежились. Бог его знает, родитель его скомандовал бы сейчас «кру-у-гом!», обсмотрел бы спины и вновь бы рыкнул, как перед полком стоя: «кру-у-гом!» И был бы доволен. Впрочем, его блаженныя памяти родитель и разговоров о намазанных зельем генералах, этой чуши, придуманной простонародьем, не стал бы слушать. Просто отправил бы докладывающего под арест, и вся недолга. А тут Долгоруков старается, развлекает, шут гороховый.

Александр переменял ногу, теперь левое колено пошло вперед, упор пришелся на правую, упираться пальцами не понадобилось, и вслед за движением всего тела взгляд тоже повернулся на Александра Аркадьевича Суворова, внука великого полководца, друга детства, с прошлого года — военного губернатора Санкт-Петербурга.

Суворов, следуя молчаливому указанию, шагнул вперед. В отличие от великого деда был он покрупнее ростом, круглее, хотя гордился чертами наследственными — некоторой сухостью в фигуре, резкостью, живостью характера и, главное, либерализмом, либерализмом. Причи-

на его назначения губернатором как раз заключалась в либерализме, известном обществу и имевшем благосклонное отношение монарха. Считалось, что Суворов в любой момент может на Александра Николаевича повлиять в весьма определенном направлении. Оба они знали про это «считалось», что служило предметом шуток в узком их кругу, очерченном двумя лишь персонами: Государь и его Друг, Генерал-губернатор. За всем тем Суворов был умен, знал шесть языков, если мог кому помочь — помогал. Например, студентов в прошлом году именно он вытащил из Петропавловки, велел переписать, правда, в своей собственной канцелярии всех поименно, особенно выделив имена зачинщиков.

— От пожаров пострадали местности, в коих преобладали главным образом деревянные постройки, государь. Так, выгорело все пространство между Чернышовым и Апраксиным переулками.

— У Фонтанки? — Александр знал город.

— Да, государь. А по другую сторону Фонтанки — между Чернышовым и Щербаковым переулками. А также значительная часть Троицкого переулка. Все деревянные дома. Огромное число обездоленного простого люда, ваше величество. Я велел на скорую руку — военные палатки, хлеб. Из правительственных зданий серьезно пострадало министерство внутренних дел, огонь перекинулся было на министерство просвещения и Пажеский корпус, но удалось отстоять, как вы изволили видеть, быв на пожаре в десятом часу.

Да, все, что говорил Суворов, Александру было отлично известно. Когда он прибыл на пожар, ни одной пожарной трубы перед заведением Валуева не было. Бедный Валуев. Он-то пострадал более всех. Вчера же, в среду, тридцатого мая, Александр опять был с войсками, теперь — на Царицыном лугу, после того как прочитал в «Северной пчеле» следующее, пометив даже карандашом:

«В народе носится слух, что Петербург горит от поджогов и что поджигают его с разных концов триста человек. В народе указывают и на сорт людей, к которому будто бы принадлежат поджигатели, и общественная ненависть к людям этого сорта растет с невероятной быстротой. Равнодушие к слухам о поджогах и поджигателях может быть небезопасным для людей, которых можно счесть членами той корпорации, из среды которой, по народной молве, происходят поджоги».

Это было слишком. Да, слишком. Возможны были народные волнения, которые, как известно, хуже всякого пожара. Не дай боже — мысленно перекрестился, думая об этом. Совершенно ясно: если бы поджоги производились обычными грабителями, так были бы и грабежи! Следовательно, преступники, распространяющие воззвания, немедленно должны быть представлены обездоленному ими же народу.

Александр прошелся по кабинету несколько шагов туда и обратно, остановился, сказал:

— Объявить...

За открытой дверью в адъютантской застрочили перьями.

— Объявить от правительства, что всех, кто будет взят с поджигательными снарядами и веществами или задержан по подозрению в поджигательстве, а равно и подстрекателей к беспорядкам, судить будут военным судом в двадцать четыре часа. Все ворота запереть. Усилить патрули. На смертную казнь же я не могу согласиться. Противно моим убеждениям. Мой народ знает меня!

Однако Суворов объявил в «Северной почте» так:
«Высочайшее повеление.

Государь император высочайше повелеть соизволил: лиц, виновных в поджогах в С.-Петербурге, судить военным судом по полевым уголовным законам с предостав-

лением с.-петербургскому военному генерал-губернатору права подтверждать и приводить в исполнение приговоры военного суда».

Александр сделал вид, что не заметил. Полевые уголовные законы означали суд и приговор военного времени, расстрел. Расстрел.

Между тем открылся тут же новый очаг беспорядков.

В Сампсониевской и Введенской воскресных школах для рабочих открылось злоумышленное преподавание. Недоучившиеся семинаристы и студенты в синих очках, с длинными волосами — тип, уже приобретший быструю известность, — начали говорить там о необходимости жечь, жечь и жечь. Шестнадцатилетний рабочий Викулов, взятый из Сампсониевской школы, показал, что неизвестный преподаватель, появившийся в классах лишь раз — рыжий, быстрый, маленький, смотрящий поверх голов и говоривший красиво, как по книге, высказал, что, дескать, старый мир скоро сгорит дотла.

От садовника ботанического сада Регеля и купца Глинца министерство внутренних дел получило сведения, что вообще во всех школах на Выборгской и Петербургской сторонах преподается революционное учение. Пойманы и признались двое поджигателей, мужик и баба — Коломяков Андрей Иванович, постоянных занятий не имеющий, и Губина Анна, посудомойка, проживающие по Малой Охте. Оба показали, что неизвестный господин (приметы: высок, «выправка вот как у вас, ваше благородие, и так же руку левую все держит у ноги») дал обоим по двадцать пять рублей ассигнациями за поджог.

Все это требовало принятия надлежащих мер.

Собрался Государственный совет. Сам государь отсутствовал. В отсутствие государя решили:

а) испросить высочайшее разрешение распространить военно-судные правила о поджогах на все губернии;



б) купить паровые трубы для Нижегородской ярмарки
и

в) возобновить суждения по некоторым вопросам в
присутствии государя.

До подданных доведено следующее:

«ОБЪЯВЛЕНИЕ С.-ПЕТЕРБУРГСКОГО ВОЕННОГО ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРА

I

Вследствие замеченного вредного направления в некоторых из учрежденных в последнее время народных читален, которые дают средства не столько для чтения, сколько для распространения между посещающими оные лицами сочинений, имеющих целью произвести беспорядки и волнение в народе, а также безосновательных толков, с.-петербургский военный генерал-губернатор признал необходимым закрыть, впредь до дальнейшего распоряжения, все ныне существующие народные читальни.

II

С.-петербургский военный генерал-губернатор, считая в настоящее время своею обязанностью принимать все меры к прекращению встревоженного состояния умов и к предупреждению между населением столицы не имеющих никакого основания толков о современных событиях, признал необходимым закрыть, впредь до усмотрения, Шахматный клуб, в котором происходят и из которого распространяются те неосновательные суждения».

А также:

«ПРИКАЗ ВОЕННОГО МИНИСТРА № 152

от 7 июня 1862 г.

Несмотря на все установленные правила для надзора за воскресными и бесплатными школами, ныне положительно обнаружено в некоторых из них, что, под благовидным предлогом распространения в народе грамотно-

сти, люди злоумышленные покушались развивать в этих школах вредные учения, возмутительные идеи, превратные понятия о праве собственности и безверие. Государь император, имея в виду, что при многих воинских частях так же учреждены воскресные бесплатные школы, что, по затруднительности за ними надзора, злоумышленные люди могут и в этих школах проводить вредные и ложные учения, что притом обнаружены уже некоторые преступные покушения увлечь и нижних чинов к нарушению долга службы и присяги, высочайше повелеть соизволил, в предупреждение могущих быть пагубных последствий, ныне закрыть все учрежденные при войсках воскресные школы и вообще всякие училища для лиц, не принадлежащих к военному ведомству, и впредь никаких сборищ посторонних людей в зданиях, занимаемых войсками, отнюдь не допускать».

Еще 12 мая государь высочайше утвердил «Временные правила о печати». Высочайше, не входя в мелочи, спросил только, все ли учтено. Временным правилам предстояло действовать весьма продолжительное время.

— Я имею сведения, что с некоторых пор начали распространяться у нас возмутительные сочинения, выходящие не только из заграничных русских типографий, господ.

Александр Николаевич выразил лицом неудовольствие.

Сановники стояли перед ним, как провинившиеся школьники. Дежурный генерал сзади строчил пером.

— Повторяю: не только из заграничных русских типографий, но и неизвестно где печатаемые. Хотя эти явления, не представляющие по своей исключительности ничего общего с направлением умов благомыслящей части публики, — на мгновение остановился, чтобы слова, исходящие из уст, отзвенев в ушах, улеглись там. — Да... Однако же названные сочинения имеют в наших глазах

значение единственно как нарушение естественного порядка вещей.

Министры внимали, генерал строчил, быстро стучая в чернильницу. Александр снова остановился, вслушиваясь, как слова укладываются.

— Тем не менее нельзя не убедиться, что причина их лежит в неполноте существующих по части книгопечатания постановлений. Поэтому я еще раз спрашиваю: все ли учтено?

— Постарались учесть все, ваше величество.

Посмотрел на плешь Валуева, подписал подставленные бумаги — «Александр».

«Впредь до пересмотра всех постановлений по делам книгопечатанья

I. Во всех вообще произведениях печати не допускать нарушения должного уважения к учению и обрядам христианских исповеданий, охранять неприкосновенность Верховной власти и ее атрибутов, уважение к особам царствующего дома, непоколебимость основных законов, народную нравственность, честь и домашнюю жизнь каждого.

II. Не допускать в печати сочинений и статей, излагающих вредные учения социализма и коммунизма, клонящихся к ниспровержению существующего порядка и к водворению анархии.

III. При рассмотрении сочинений и статей о несовершенстве существующих у нас постановлений допускать к печати только специальные ученые рассуждения, написанные тоном, приличным предмету, и притом касающиеся таких постановлений, недостатки которых обнаружались уже на опыте.

IV. В рассуждениях о недостатках и злоупотреблениях администрации не допускать печатания имен лиц и собственного названия мест и учреждений.

V. Рассуждения, указанные в двух предыдущих пунктах, допускать только в книгах, заключающих не менее

10 печатных листов, и в тех периодических изданиях, на которые подписная цена, с пересылкою, не менее 7 руб. в год.

VI. Министру внутренних дел и министру народного просвещения предоставляется, по взаимному соглашению, в случае вредного направления какого-либо периодического издания, причислять оное к разряду тех, коим не дозволяется печатать рассуждения, показанные в пп. III и IV, и прекращать каждое периодическое издание на срок не более 8 месяцев.

VII. Не допускать в печати статей:

а) в которых возбуждается неприязнь и ненависть одного сословия к другому и

б) в которых заключаются насмешки над целыми сословиями или должностями государственной службы.

VIII. Не допускать распубликования по одним слухам предполагаемых будто бы Правительством мер, пока они не будут объявлены законным образом.

IX. Статьи за подписями правительственных лиц допускать к печатанию не иначе, как по положительному удостоверению в действительной присылке их от этих лиц.

X. В отношении к статьям и известиям политическим наблюдать общее правило об охранении чести и домашней жизни царствующих иностранных государей и сынов их семейств от оскорблений печатным словом и о соблюдении приличия при изложении действий иностранных правительств.

XI. Редакция каждого периодического издания, представляя в цензуру какую-либо статью, обязана знать, кто именно автор оной, для сообщения по востребованию судебных мест и министерств внутренних дел и народного просвещения.

XII. Независимо изложенных здесь правил, цензоры обязаны руководствоваться особыми наставлениями при

цензуровании статей, касающихся военной части, судебной, финансовой и предметов ведомства министерства внутренних дел».

Теперь прошел месяц — оба министра вновь стояли в прежних позах. Монаршей милости можно было не ожидать: злоумышленники, поджигавшие столицу, не найдены. Среди схваченных достаточные основания для естественного по суровости приговора оставляли только учитель из Луги Викторов да кассир Варшавской железной дороги Милицын, бросивший зажигательный снаряд на Таркановском мосту. Усы у Александра Николаевича чуть заметно шевелились от справедливого гнева. Не найдены! Брат Николай Николаевич уже неоднократно говорил ему о необходимости решительных мер. Государь закрыл глаза, представляя два десятка — Николай говорил о двух десятках — виселиц на Кронверкской площади. Или, допустим, на Марсовом поле, освобожденном для сей цели от передвижений войск. То, что кассир служил именно на Варшавской, а не на какой-либо другой железной дороге, оставляло возможность вполне уместных подозрений и соотносений с положением в Царстве Польском. «Правила по цензуре», утвержденные им месяц назад, еще не опубликованные, получили уже отклик в образованном обществе. Это естественно. Виселицы... Фу! Милицына, впрочем, можно и для примера наказать, приговор же пусть подтверждает генерал-губернатор. А вот свобода мнений, изливающаяся, именно — изливающаяся через печать, должна быть введена в соответствующее ей русло. Литераторы... Милицына-то можно наказать. Оборотился к министрам.

— «Правила по цензуре» — опубликовать.

— Сегодня представлено письмо литераторами Скарятиним и Краевским, государь, — Головнин шагнул вперед.

выдержав паузу и словно сказав «слушаю» привычным наклоном головы.

— Кто такие? — брезгливость явно прозвучала в голосе Александра, но отступать адмиралу было уже поздно, оставалось поднимать все паруса.

— Редактор журнала «Отечественные записки» и редактор газеты «Весть».

Александр молчал, уставясь, и Головнин вынужден был продолжать.

— «Весть» — необходимая обществу газета, хотя... излишне, быть может, в некоторых чертах излишне энергически представляющая интересы страдающего от Положения 19 марта сословия...

В ужасе Головнин остановился снова. Сказана была дерзость. Александр молчал, только по-отцовски выкатывал глаза.

— «Отечественные записки», государь, либеральный журнал, весьма умеренный в своих воззрениях... Оба литератора, объединившись, просят воздержаться от репрессивных мер, однако указывают, что появление прокламаций, известных под именем «Молодая Россия», стало возможным в связи с воззрениями, распространяемыми «Современником» и «Русским словом». Число литераторов, государь, неизбежно стоящих на стороне правительства, увеличивается, таким образом, с каждым часом.

Александр молчал более доброжелательно.

— Чего же хотят?

— Не запрещать «Современник» и «Русское слово», — повторил адмирал заключительную фразу доноса, — а дать им высказаться до дна и таким образом обнаружить всю их пустоту, — Головнин приободрился и осмелился слегка улыбнуться.

Александр, чувствуя, что улыбается тоже, сдержал улыбку — особо показывать мысли не следовало, как и радоваться не следовало. Литераторы готовы съесть друг

друга, можно ли кому-либо из них доверять! Но и пренебрегать не следовало.

— «Правило по цензуре» — опубликовать, — повторил.

— Слушаю, ваше величество.

— «Современник» и «Русское слово» — немедленно закрыть.

— Слушаю, ваше величество, — Головнин улыбался совершенно открыто, и Валуев, кривя тонкие губы, с удовольствием повторил:

— Слушаю, ваше величество.

9

Вернувшись от Головнина, Благосветлов в возбуждении рассказывал:

— «Я вызвал вас, господин Благосветлов, чтобы сообщить пренеприятное известие»... Вот ведь, а? «Совместным решением двух поставленных на благо печати министерств согласно временным правилам о цензуре, с которыми вас ознакомили», — Благосветлов захлебывался и сжимал кулаки, вспоминая это ознакомление, — «ваш журнал имеет быть приостановленным на восемь месяцев». Все, — он добавлял чрезвычайно распространенное ругательство, — приехали! Я его спрашиваю: — Скажите откровенно, ваше превосходительство, можно ли надеяться на возобновление нашего издания через восемь месяцев, или надо нам ставить крест на этом деле?

— Ну?

— Ну, ну! Адмирал! Ему, на меня глядя, видимо, за борт сплюнуть захотелось или меня самого туда спустить за ненадобностью. Рожа — словно кислого молока нажрался вместо сливок. И говорит: «Ставьте крест, жирный крест». С-скотина! «Решением двух министров...» Тертые ребята Головнин с Валуевым! Сами и составили правила-то, сами и применили — тут как тут.

Он вдруг успокоился и сел за стол.

— Слава богу, подписные деньги не пропадут, и с авторами, — кивнул, — сможем полностью рассчитаться. Я тоже не лыком шит. Разрешено выпустить вместо готового набора альманах с другим названием. Ха-ха-ха! Объедем! Сейчас в типографию, сложим два номера, будет альманах. Головин так обрадовался — носом меня по дерьму провел, и говорит: «Можете!» И ручкой в позументах махнул! Я спросил-то уж с порога, уж откланявшись, когда тот расслабился. А где альманах, там и второй, там и третий, а там, глядишь, — Новый год, настанет весна. Настанет наша весна! А? Как ты думаешь?

Собственно, Благосветлов был взбешен только самим приемом. Слухи о предстоящем приостановлении ходили давно, не одну неделю, и первая злость уже успела схлынуть.

Злиться Благосветлов начал по дороге домой, вновь и вновь вспоминая прием у министра и как бы заново испытывая полученные оскорбления, ответа за которые было бы бессмысленно требовать.

Писарев в тот же вечер написал домой, известил о новом своем положении — то есть о том, что «положение» его кончилось и заработки вместе с положением пока заканчиваются тоже.

«Кажется, закрытие обоих журналов продолжится до Нового года; в этом интервале я не намерен писать в других журналах, потому что все они — дрянь; поэтому я думаю ехать в Грунец и жить там, покуда не откроется «Современник» или «Русское слово», или что-нибудь им подобное. Нужно уметь с достоинством переносить политическое поражение».

Он вышел на набережную. За душным, горящим маем наступивший июнь выдался холодным — редко столбик термометра поднимался до десяти по Цельсию.

Небо запоздало отдавало долги. Мысль о долгах, как всегда у него, потянула такую же, но самую конкретную, уже не образную: о долгах. В общей сложности должен он был рублей триста, да, кажется, триста, а то и более — у него записано, конечно, запись цела; по журналу полагалось ему тоже примерно триста, но что произойдет с этими тремястами теперь — писано вилами по воде в Малой Невке. Вспомнил, что и Баллоду нужно триста. Адмирал может спохватиться, с него станется отменить разрешение об альманахе завтра же или сделать вид, что его не было вовсе, да и Евлампиев в связи с тяжелым положением может посчитать, скажем, рублей по двадцати за лист вместо пятидесяти, получаемых им в последнее время. Вот тогда запоем!

Уезжать, не отдав долги, было невозможно. Необходимо, следовательно, взять с Благосветлова полный гонорар, с основными долгами разделаться и оставить еще себе денег на дорогу. Хорошо еще, что он успел отдать сорок рублей Шелгунову — задерживать этот долг было бы нравственно невозможно. Шелгуновы в конце мая, в самые жаркие дни, уехали в Сибирь, к Михайлову.

Мысли о Шелгунове и Баллоде вернули к еще одним незавершенным делам, которые, правда, завершить совсем не трудно — сегодня же вечером он допишет эту статейку, там осталось дописать несколько, пожалуй, страниц: эти страницы давно сложились в голове, надо было только нанести их на бумагу.

Он был сейчас совершенно спокоен.

Двадцать восьмого мая, в духов день, загорелись Щукин и Апраксин дворы. Эти нагромождения дощатых сараюшек, прилавчиков, лотков, рядов и магазинчиков Писарев посещать не любил — слишком шумно, многолюдно, толкотня. Особенно же после истории с Раисой, когда его раздражало буквально все, не хотелось никого видеть. При этом он с удивлением прислу-

шивался к себе, отмечая отличное состояние организма. Тело по-прежнему требовало движений, действий, голова — умственной, творческой работы, он радовался этому, как подтверждению того, что уж он-то умеет держать себя в руках. Его главное дело — писать, писать и писать. Его слово — его дело, милые мои. Так думалось и говорилось разным людям неоднократно. В духов день, услышав летящие, словно сажа, слухи о новой вспышке пожара, он поначалу только хмыкнул: старье сгорело. Словом, «пожар способствовал ей много к украшению». Потом устыдился сам себя — люди потеряли кров, торговцы прогорели — в буквальном, увы, смысле этого слова. Рассказывали, что на гулянье в Летнем саду, лишь только закричали «пожар!», какие-то молодцы начали, не скрываясь, грабить публику: рвали броши с одежды, серьги из ушей, выхватывали кошельки. Там, в Летнем, «горим!» закричали как-то уж очень, говорят, организованно, сразу с нескольких концов сада, и сразу повалили отовсюду дым, и сразу начали ребятки работать... Мда-с... Вот тебе и происки студентов.

Тогда, вечером в духов день, пошатавшись, сквозь горящий и тлеющий город поехал к Баллоду, на Васильевский, извозчик заломил, как до китайской границы. На Васильевском было относительно тихо.

Никто долго не открывал, хотя за дверью слышалось движение. Это показалось странным. Петр жил теперь вместе с Николаем Жуковским, Володиным братом. Устроились в мебелирашках не очень шикарно, но сносно: Николай служил управляющим в конторе «Янов и компания» — типичной русской купеческой фирме на все руки. Писарев уж ему говорил как-то, что он, Жуковский, здесь научится подличать и обдирать ближнего и скоро попадет к брату Владимиру под следствие. Николай же в ответ только посмеивался, разительно напоминая Володю, и говорил, что готовит себя к иной

деятельности, не век станет на Янова горбатиться и Володьку за пояс заткнет. Сам Баллод, на пару со студентом Фаминициным, переводил анатомию Гиртля — по-русски давали популярный среди медиков курс впервые. Худо-бедно, а тянуть от денег до денег можно было...

Он повернулся, чтобы уйти, уже сошел на несколько ступенек, но тут открылась дверь. На пороге стоял Баллод, вид у него был несколько встрепанный. Обычно флегматичный, он смотрел встревоженно и как-то зло. Вместо привычного костюма на Баллоде сидела какая-то серая мешковина, местами испачканная черным.

— Ты что это, — спросил Писарев, глядя снизу вверх, — фальшивые деньги печатаешь? Не открываешь.

Баллод ничего не отвечал. Оба понимали, что вопрос вылетел не просто так, сдуру, теперь им двоим сейчас надо было на что-то окончательно решаться. Баллод, видимо, решился. Медленно, оттаивая, усмехнулся, становясь самим собой — спокойным, уверенным, грубо-насмешливым:

— А ты уж сразу побежал доносить?

Рядом не было ни души, даже со двора не слышалось ни малейшего шума. Из узкого окошка вываливался на узкую лестницу прореженный свет.

Писарев ничего не ответил на хамство, и Баллод отстранился, давая ему пройти.

В квартире, кроме хозяина, никого не было.

— Тут у вас при номерах Лисенков. И того нет. Хотел спросить, кто из вас дома.

— Гуляет, на пожар любит.

— Да уж... Что в городе делается! Черт знает что! И народ... доведен до последнего...

— А Коля — по делам.

Писарев бухнулся в пискнувшее кресло, вытянул ноги, с наслаждением расстегнул верхние пуговицы:

— Фу-у... У вас прохладно. Только...

В квартире резко пахло не то краской, не то машинным маслом — запах почему-то был хорошо знаком Писареву, и он, приюхиваясь, завертел головой, разбегаясь. Бесцеремонно спросил:

— Чем это у вас пахнет, братцы?

— Бедностью пахнет, нуждой, стеснением, Митя, не от хорошей жизни такие запахи, видит бог, — непонятно было, шутит Баллод или нет.

— Мог бы не нюхать — не нюхал бы, вот те крест, — Писарев действительно перекрестился, машинально повернувшись в красный угол, как бы ища икону. Иконы в углу не оказалось, зато теперь, при внимательном взгляде, стало заметно, что по углам начинает скапливаться паутина. Лисенков, видимо, себя не утруждал на службе у двух господ.

Писарев захохотал.

— Недостойный сын великого отца! Иконки плевой не завел! А еще в проповедники метил!

— Проповедник — ты, Митя, — так же странно сказал Баллод, осторожно, чтобы не запачкать рукавами скатерть, присаживаясь к столу. — Ты.

— Верно. Только давай уж не делиться, Петр, ладно? Я уж давно не мальчик. Что мы с тобою все вокруг да около? Сидишь перемазанный, по всей квартире типографской краской несет — аж слезы наворачиваются. У Тиблена и то нежнее, милый мой, запашок стоит. «От бедности», — передразнил.

— Точно!

— Вот мне от бедности скоро чем-нибудь таким пахнуть придется, это да. Слышал — говорят, журнал закрывают.

— Я последние дни почти не выхожу из квартиры.

— А!.. Ну, вот, только картишки и останутся. Что под заклад ставить? Имение отец уж давно заложил и

перезаложил.— Писарев улыбался, но на самом деле потихоньку начинал злиться.— Куда я пойду? И «Современник» наверняка прихлопнут. Говорят, царь подмахнул новый закон о печати, изобретение Валуева и компании. На днях должны опубликовать. И прихлопнут нас, как надоедливую муху.

— А вы?— с интересом спросил Баллод.

— А мы что? Из литературы меня, понятно, царь не вычеркнет,— произнес с гордостью,— а вот чем заниматься... Переводить придется какую-нибудь ерунду. Не хочется! Ты бы, Петя, меня в какой-нибудь кружок пристроил, что ли.

Баллод смотрел внимательно. Припухлые остзейские глаза его были неподвижны.

— Женщин нет, денег скоро не станет, денег не станет — женщин точно не будет, х-ха-ха!— Писарев тоже, дурачась, отвечал внимательным, изучающим взглядом.— Только в пропагандисты и идти. Может, отвлекись немного.

Помолчали.

Баллод вдруг поднялся:

— Что ж, пойдем.

В комнате Жуковского стол был отодвинут к кровати. На столе стояла сразу узнанная наборная касса с рассыпанными по отделениям жучками-литерами, а у окна — небольшой типографский станок для ручной печати.

— Да-а,— потрогал торчащий рычаг пресса, цилиндр-противовес. Рядом с наборной кассой на столе лежал уже сверстаный, зажатый направляющими текст в металле. Привычные глаза быстро прочитали заглавие: «Офицеры».

— Так-так-так, миленький!— Писарев глядел весело.— Отлично! Бене, как говорил кардинал Мазарини. Вот вы какими делами занимаетесь! Бене! А оттиск?

— Нету оттиска,— хмуро сказал Баллод.— Станок на ладан дышит. И денег действительно нету.

— Сколько надо?— спросил быстро.

— Пятьдесят минимум. А то — триста.

Поцыкал языком.

— И у Коли нет. Сейчас пытается занять... Через контору что-то... Но, я думаю, не выгорит. Не дадут.

Открыв типографию, Баллод размягчел и разоткровенничался.

— Купили у этой парижской фирмы Сан-Галли большой печатный станок. Хороший! Европа! С этим я замучился. И сил нет, и, главное, времени совершенно нет. Все набираю и набираю, печатать некогда, Гиртля бросил, и денег нет. Говорят, что, дескать, вот-вот продажа печатных машин в частные руки будет запрещена и потому им выгодно, дескать, побыстрее продать, мы, говорят, делаем вам большую уступку. А сами цену, знаешь какую заломили... Спрашивают, зачем мне печатная машина. Я говорю — печатать Гиртля, показал рисунок скелета... Ха! Попросили в задаток двадцатку.

— Ну? И где машина?

— Там,— Баллод неопределенно махнул рукой,— на Выборгской. Снял квартиру... у генеральши... Что толку! Дали доску от пресса и цилиндр — девять пудов!— это добро привез, а остальное — при расчете еще полста. Вот тебе и вся покупка.

— Ладно! Петя!— Писарев уже загорелся.— Денег достанем! Сейчас чем я могу помочь? Могу чем-нибудь? Ну, Петя!— он даже руки потирал быстро-быстро, словно в предчувствии, что предстоит, предстоит работа. Дело, дело, работа предстоит.— Что надо делать?

— Надо тут написать кое-что...

— Отлично!

— На. Вот этого оттиск есть,— Баллод нагнулся и

вытащил из стоящего под кроватью чемодана желтый листик прокламации. — Про Шедо-Ферроти слышал?

— Да-да-да... — углубился в чтение, быстро бежал глазами по тексту. — Его-то сочинения везде, хоть в живорыбной лавке купишь... Чего нельзя сказать... чего нельзя сказать... о сочинениях, — читал, бормоча, — о сочинениях его адресата... — Вынырнул из текста: — Это кто писал? Ты или Коля? — Писарев держал в руке листок, чтение которого не так давно благодушно слушал Голицын.

— Студент один...

— Слабовато, Петр, — сказал, не подозревая, что повторяет мнение председателя специальной комиссии, — слабовато.

— То-то и оно. Сможешь написать? Но, знаешь... эдак, чтоб прохватило. Тут надо, знаешь, высмеять...

— Не учи, пожалуйста.

— И что-то вроде программы...

Охватившее его желание писать — немедленно, сейчас — казалось, вычистило из жил накопившуюся там черную кровь.

— Отлично! — не скрывал радости, лицо — впервые со времени последнего разговора с Раисой — высветилось характерным для него витринным счастьем, щеки знакомо покраснелись. — Я тебе завтра же принесу начало, ты посмотришь, так ли в целом, а потом я сразу и закончу, идет?

Через полчаса единым духом написал вступление:

«Глупая книжонка Шедо-Ферроти сама по себе вовсе не заслуживает внимания, но из-за Шедо-Ферроти видна та рука, которая щедрою платою поддерживает в нем и патриотический жар, и литературный талант. Брошюра Шедо-Ферроти любопытна как маневр нашего правительства. Конечно, члены нашего правительства не умнее самого Шедо-Ферроти, но что делать, мы по-

куда от них зависим, мы с ними боремся, — писал, радуясь возможности бесконтрольного разлета пера, — мы с ними боремся, стало быть, надо же взглянуть в глаза нашим естественным притеснителям и врагам...»¹

Дойдя до слов: «В наше время каждый неограниченный монарх поставлен в такое положение, что он может держаться только непрерывным рядом преступлений», остановился. Час был поздний.

Встал, распахнул окно. Жара спадала, солнце садилось в тяжелую тучу, завтра, значит, можно ожидать дождя. Погода менялась.

Стоял у окна, медленно вдыхая доносящуюся гарь, ощущая перемену, протекающую сквозь него — из окна в комнату. Не в погоде что-то менялось — в мире происходили перемены, огромные массы — воздуха? вещества? материи? — перемещались, перестраивались, люди перемещались, менялись, и он, Дмитрий Писарев, сейчас стоял на самом сквозняке. Сильно чувствовал свое местоположение — в центре меняющегося, вращающегося мироздания, в центре, продуваемом всеми ветрами.

¹ Далее по тексту:

«Обскурантов теперь, как известно, не существует. Нет того квартального надзирателя, нет того цензора, нет того академика, нет даже того великого князя, который не считал бы себя умеренным либералом и сторонником мирного прогресса. Считая себя либералом, как-то неловко сажать людей под арест или высылать их в дальние губернии за печатно выраженное мнение или за произнесенное слово. Правительство наше, которое все наголо состоит из либералов, начинает это чувствовать. Александру Николаевичу совестно ссылать Михайлова и Павлова; сослать-то он их сослал, но, боже мой, чего это стоило его чувствительному сердцу! Студенту Лебедеву проломили голову, но правительству тут же сделалось так прискорбно, что оно напечатало в газетах объяснение: так и так, дескать, это случилось по нечаянности, ножами жандармской сабли.

Словом, наше либеральное правительство уважает общественное мнение и для своих мирно-прогрессивных целей пускает в ход благородные средства, как то: печатную гласность. Валув и Никитенко

«Неограниченный монарх... только непрерывным рядом преступлений...» Да, так было и так будет всегда, пока существуют на земле монархи. Пока они пируют... Словно в ответ, из недалекой усадьбы, когда-то принадлежавшей Потемкину, донеслась музыка. Он, Дмитрий Писарев, — против монархов и их приспешников, черт возьми! В саду, где сейчас гуляли наследники великого любовника Екатерины, нежно, тонко звучала флейта, плача, вступала скрипка, сладкая горечь, растворенная в небе, соединялась с этой музыкой, рождая странное, вдруг

сооружают газету с либеральным направлением и при этом продолжают все-таки преследовать честную журналистику доносами и цензурными тисками. Публицист III Отделения, барон Фиркс, Шедо-Ферротти тож, по поручению русского правительства пишет и печатает в Берлине брошюры без цензуры; великодушное правительство смотрит сквозь пальцы на ввоз этого заказанного, но официально запрещенного товара; его продают открыто в книжных лавках; не давая своего официального разрешения, правительство упорочивает за книжкою заманчивость запретного плода; допуская и поощряя из-под руки продажу книжки, правительство обнаруживает свое великодушие. О, как все это тонко, остроумно и политично! А между тем журналам не позволяют собирать книжонку. Шедо-Ферротти, как в прошлую осень Борис Чичерин, объявляются личностями священными и неприкосновенными. Горбатого одна могила исправит; наши умеренные либералы ни при каких условиях не сумеют быть честными людьми; наше правительство никогда не отучится от николаевских замашек. У него есть особенный талант оподлять всякую идею, как бы ни была эта идея сама по себе благородна и чиста. Например, все порядочные люди имеют привычку на печатное обвинение отвечать так же печатно и защищаться, таким образом, тем же оружием, каким вооружен противник. Наше правительство захотело доказать, что оно тоже порядочный человек. Находя, что Герцен несправедливо обвинил его, наше правительство высылает своего рыцаря. Кажется, очень хорошо и благородно. Но посмотрите поближе. Произведение Шедо-Ферротти впущено в Россию, а сочинения Герцена остаются запрещенными. Публика видит, что Герцена отделяют, а того она не видит, за что его отделявают. Конечно, и «Полярная звезда» и «Колокол», и «Голоса из России», и грозное «Под суд!» известны нашей публике, но ведь все эти вещи провозятся и читаются вопреки воле правительства; стало быть, если оценивать только намерения правительства, то надо

вспыхнувшее чувство прощания — с чем? с кем? С тою, кого он единственно любил, он распрощался, вернее... Распрощался, и больше никогда не видит ее. Мама, Вера? Маленькая Катя, которую он уже прозвал в письмах Кахас? Друзья?

Музыка играла, вызывая теплые слезы радости и тоски, с которыми он был не в силах совладать.

А музыка удалялась, багровый шар, испуская плавающие в рассеянной дымке лучи, падал и падал в сизую тучу, расставаясь с застывшим в окне человеком. С чем он прощался, он знал, — видимо, прощался с прежней жизнью, которая, кажется, отныне пойдет по-другому, иной дорогой. Да, так. Он привык отдавать себе отчет в своих чувствах. Так — он прощается с прежней жизнью. Что же, он рад. Рад. Слезы — пустое, пустое. Они сами

будет убедиться в том, что оно хочет чернить Герцена, не давая ему возможности оправдываться и обвинять в свою очередь. Чернить человека, которого сочинения строжайше запрещены! Подло, глупо и бесполезно! Заказывая своему наемному памфлетисту брошюру о Герцене, правительство, очевидно, хочет продиктовать обществу мнения на будущее время. Это видно по тому, что мнения, противоположные мыслям Шедо-Ферроти, не допускаются к печати. Правительство сражается двумя оружиями: печатною пропагандою и грубым насилием, а у общества отнимается и то единственное оружие, которым оно могло и хотело бы воспользоваться. Обществу остается или либеральничать с разрешения цензуры, или идти путем тайной пропаганды, тем путем, который повел на каторгу Михайлова и Обручева. Хорошо, мы и на это согласны; это все отзовется в день суда, того суда, который, вероятно, случится гораздо пораньше второго пришествия Христова.

Из чтения брошюры Шедо-Ферроти мы вынесли самое отрадное впечатление. Нас порадовало то, что, при всей своей щедрости, правительство наше принуждено пробавляться такими плоскими посредственностями. Приятно видеть, что правительство не умеет выбирать себе умных палачей, доносчиков и клеветников; еще приятнее думать, что правительству не из чего выбирать, потому что в рядах его приверженцев остались только подонки общества, то, что пошло и подло, то, что неспособно по-человечески мыслить и чувствовать.

по себе. Он счастлив! Все, все меняется, ветер дует уже из комнаты, выдувая его, вытягивая, закручивая в дикую свистящую воронку. Музыка в саду смолкла, и только свист ветра, нарастая, звучал в ушах.

10

Снизшло. Только так и оценить прозрение, посетившее Петра Давыдовича Баллода вечером июня двенадцатого

Брошюра Шедо-Ферроти имеет две цели: 1) доказать, что петербургское правительство не имеет ни надобности, ни желания убить Герцена, 2) осмеять и обругать при сем удобном случае Герцена как пустого самохвала и как загордившегося выскочку.

Чтобы доказать первое положение, Шедо-Ферроти утверждает, что Герцен вовсе не опасен для русского правительства и что, следовательно, даже III Отделение не решится убить его. Процесс доказательств идет так: убивают только таких людей, от смерти которых может перемениться весь существующий порядок вещей в одном или в нескольких государствах; если Герцен, получая подметные письма о намерениях русского правительства, верит этим письмам, тогда он считает себя особою европейской важности и, следовательно, обнаруживает глупое тщеславие; если же он, не веря этим письмам, подымает гвалт, тогда он пустой и вздорный крикун. Весь этот процесс доказательств рассыпается, как карточный домик. Во-первых, правительство ежегодно убивает несколько таких людей, которые могли бы оставаться в живых, вовсе не нарушая существующего порядка. Дезертир, которого запарывают шпицрутенами, вовсе не особа европейской важности. Бакунин, которого захватили обманом, Михайлов, Обручев, поручик Александров вовсе не особы европейской важности, а между тем правительство заживо хоронит их в рудниках и в крепостях. Правительство вовсе не так дорожит жизнью отдельного человека, чтобы казнить и миловать с строгим разбором. Ведь турецкий султан и персидский шах вешают зря, как вздумается, а, кажется, в наше время только учебники географии проводят различие между деспотическим правлением и правлением монархически неограниченным. На основании какого закона повешено пять декабристов? А если правительство казнит по своему произволу, то отчего же оно не может, по тому же произволу, подослать убийцу? Где разница между казнью без суда и убийством из-за угла? В наше время каждый неограниченный монарх поставлен в такое положение, что он может держаться только непрерывным рядом преступлений. Чтобы подданные его не

дня одна тысяча восемьсот шестьдесят второго года от рождества Христова. Снизойшло: Баллод провел рукой по волосам, привычно закидывая пряди назад. Вот ведь — не припомнил вовремя. И к лучшему: теперь, на крайний случай, и пригодится.

Коля однажды доставал для типографии валик и краску через кого-то в конторе: «Так... Унтер отставной... Не беспокойся — не продаст, сам боится...» Баллод тогда же ему заметил, что страх — штука обоюдоострая и потому ненадежная. Сам, лично решил встретиться с типографом. Унтер-офицер Горбановский — сухой, быстрый, с колючим взглядом маленьких глазок, в глубине которых действительно прятался страх, Баллоду чрезвычайно не понравился.

знали о своих естественных человеческих правах, надо держать их в невежестве — вот вам преступление против человеческой мысли; чтобы случайно просветившиеся подданные не нарушили субординации, надо действовать насильем — вот еще преступление; чтобы иметь в руках орудие власти — войско, надо систематически уродовать и забивать несколько тысяч молодых, сильных, способных людей — опять преступление. Идя по этой дороге преступлений, нельзя отступать от убийства. Посмотрите на Александра II: в его личном характере нет ни подлости, ни злости, а сколько подлостей и злодеяний лежит уже на его совести! Кровь поляков, кровь мученика Антона Петрова, загубленная жизнь Михайлова, Обручева и других, нелепое решение крестьянского вопроса, истории со студентами, — на что ни погляди, везде или грубое преступление, или жалкая трусость. Слабые люди, поставленные высоко, легко делаются злодеями. Преступление, на которое никогда не решился бы Александр II как частный человек, будет непременно совершено им как самодержцем всей России. Тут место портит человека, а не человек место. Если бы наше правительство потихоньку отправило бы Герцена на тот свет, то, вероятно, в этом не нашли бы ничего удивительного те люди, которые знают, что делалось в Варшаве и в Казанской губернии. Но допустим даже, что наше правительство не намеревалось убить Герцена; из этого еще вовсе не следует, что III Отделение не могло написать к нему несколько писем, наполненных глупыми угрозами и площадною бранью; судя по себе, Бруты и Кассии нашей тайной полиции могли надеяться, что Герцена можно запугать; чтобы разом окончить все

— Не извольте беспокоиться, господин студент,— унтер безошибочно титуловал заказчика.— Доставим в лучшем виде. Все есть — шрифт, касса, линейки любые, все можно вынести, хоть станок цельником, ежели тихо, хе-хе-с.

Горбановский, говоря, машинально касался веснушчатыми пальцами маленькой, старательно зачесанной лысины.— У вас, господин студент, свой интерес, у меня свой.— Глазки его кололи Баллода.— Сговоримся. Кормитесь, господи прости, всем надо, как же ж...

Унтер служил наборщиком в типографии комисса-

эти нелепые проделки. Герцен написал и напечатал письмо к представителю русского правительства. Этим письмом он заявил публично, что если бы за угрозами последовали действия, то вся тяжесть подозрения упала бы на Александра II. Агенты, подсылавшие к Герцену письма, должны были увидеть, что Герцен их угроз не боится. Следовательно, им осталось или действовать, или замолчать. Действовать они не решились — духу не хватило; замолчать тоже не хотелось; ведь они думают, что прав тот, кто сказал последнее слово; вот они и выдумали пустиť против Герцена книжонку Шедо-Ферроти; родственное сходство между Шедо-Ферроти и сочинителями подметных писем не подлежит сомнению; недаром же Шедо-Ферроти на двух языках отстаивает перед Россией и перед Европою нравственную чистоту III Отделения. Свой своему поневоле друг.

Шедо-Ферроти плохо защитил правительство: он ничем не доказал, что оно не могло иметь намерения извести Герцена или по крайней мере запугать его угрозами. Усилия его оклеветать и оплевать Герцена еще более неудачны. Шедо-Ферроти, этот умственный пигмей, этот продажный памфлетист, силится доказать, что Герцен сам деспот, что он равняет себя с коронованными особами, что он только из личного властолюбия враждует с теперешним русским правительством. Доказательства очень забавны. Герцен деспот потому, что не согласился напечатать в «Колоколе» ответ Шедо-Ферроти на письмо Герцена к русскому послу в Лондоне. Да какой же порядочный редактор журнала пустит к себе Шедо-Ферроти с его остроумием, с его казенным либерализмом и с его пристрастием к III Отделению? Герцен не думает запрещать писать кому бы то ни было, но и не думает также открывать в «Колоколе» богательню для нравственных уроков и умственных паралитиков, подобных Шедо-Ферроти. Панегирист

риатского департамента, который числился по военному ведомству. Почтительных чувств к достойному русской армии отставник, по всей видимости, не питал, таскал из типографии все подряд. Сначала тащил к себе домой, намереваясь открыть собственное дело, о чем, поведал он, мечтал с юношеских времен. Да-с, с юношеских времен-с... Потом начал и приторговывать.

И вот на Баллода снизошло: Горбановский, сейчас больше некому. Тогда, кроме валика и красок, раз уж Коля все равно договорился, он ничего не купил, разговор свернул, постаравшись внушить Горбановскому, что покупка случайная. Николаю сделал внушение, тот только отмахнулся: «Брось, собственной тени боишься». Николай, как и все братья Жуковские, весело полагался на русский «авось». Адресок Баллод все-таки записал: Коломна, возле церкви Покрова Богородицы, собственный дом.

— А, господин студент! Стал быть, и унтер-офицер Горбановский пригождается. Милости просим!— унтер привычно вытягивался, стоя в сенях. Домик у него ока-

III Отделения требует, чтобы его статьям было отведено место в «Колоколе», в случае отказа он грозит Герцену, что будет издавать свое произведение отдельно с надписью: «Запрещено цензурою «Колокола». Вот испугал-то! Да все статьи Булгарина, Аскочевского, Рафаила Зотова, Скарятина, Модеста Корфа и многих других достойных представителей русской видмундирной мысли запрещены цензурою здравого смысла. Приступая к изданию своего журнала, Герцен вовсе не хотел сделать из него клоаку всяких нечистот и нелепостей. Эпиграфом к «Полярной звезде» он взял стих Пушкина: «Да здравствует разум!» Этот эпиграф прямо и решительно отвергает всякое ханжество, всякое раболепство мысли, всякое преклонение перед грубым насилием и перед нелепым фактом. «Да здравствует разум», и да падут во имя разума дряхлый деспотизм, дряхлая религия, дряхлые стропила современной официальной нравственности! Всякие попытки мирить разум с нелепостью, всякое требование уступок со стороны разума противоречит основной идее деятельности Герцена. Если бы даже Шедо-Ферроти был просто честный простачок, верующий в воз-

зался в три окна, окруженный прекрасным яблоневым садом.

В цветущих садах утопала вся Коломна. Вдыхая вечный аромат весны, Баллод решил, что, в общем, все будет хорошо, все будет, как надо. Идиллия, думал он, слушая добрый, знакомый с детства церковный перезвон, тут звонарь тоже был неплох, почти как в отцовской церкви. Идиллия, никаких столичных потрясений, рай. Он вздохнул. Унтер, видимо, читал его мысли:

— Как, хорошо у нас, господин студент? Хорошие люди всегда живут в аккурате, знакомое дело. Ну, — по-серьезнел, — чем могу-с?

Баллод поставил на стол оттягивавший руку чемоданчик. Пока вез сюда готовый набор «Офицеры», руки затекли.

возможность помирить стремления к лучшему с осуществлением нашего средневекового правительства, то и тогда Герцен как человек, искренно и честно служащий своей идее, не мог бы поместить в «Колоколе» его старушечью болтовню. Но теперь, когда все знают, что Шедо-Ферроти — наемный агент III Отделения, теперь его претензии печатать свои литературные доносы в «Колоколе» кажутся нам в то же время смешными и возмутительными по своей беспримерной наглости.

Шедо-Ферроти упрекает Герцена в том, что тот будто бы сравнивает себя с коронованными особами. В этом упреке выражается как нравственная низость, так и умственная малость Шедо-Ферроти. Какая же разница между простым человеком и помазанником божьим? И какая же охота честному деятелю мысли сравнивать себя с царственными лежебоками, которые, пользуясь доверчивостью простого народа, поедают вместе с своими придворными деньги, благосостояние и рабочие силы этого народа? Если бы кто-нибудь вздумал провести параллель между Александром Ивановичем Герценом и Александром Николаевичем Романовым, то, вероятно, первый серьезно обиделся бы такому сравнению. Но посмотрим, на чем же Шедо-Ферроти основывает свое обвинение. «Вы убеждены, — пишет он к Герцену, — что вы не только либерал, но социалист-республиканец, враг монархическому началу, а помпезно у вас высказывают выражения, обнаруживающие несчастное расположение сравнивать себя с царствующими особами. В письме к барону Бруннову, сказав, что вы не

— Вот. Заплачу хорошо. Набор готов, нужно триста шестьдесят экземпляров. Сделаете к пятнадцатому? К утру?

— К послезавтрему, стало быть? В лучшем виде! Сомневаться не извольте! А... сколько, положим, будет плата ваша?

— Сказал — заплачу хорошо! — Баллод морщился. — И вот что: все это между нами, ясно? — Он приблизил глаза к бегающим глазкам хозяина: — Проболтаешься, старый хрен, конец тебе. Удавлю. Понял?

Тот отскочил:

— Куда ж не понять! — Засуетился, заходил по комнате, без нужды трогая разные предметы. — Дело знаемое, в лучшем виде, что вы-с! Да и мне нет никакого резону к разговору, у самого, хе-с, рыльце-то в пушку!

— То-то. — Баллод остался доволен произведенным впечатлением. — Помни о сем, брате, и благо ти будет велие.

допускаете мысли, чтобы император Александр II вооружил против вас спадассинов, вы присовокупляете: «Я бы не сделал этого ни в каком случае». В том же письме, говоря об убийцах, разосланных за моря и горы «den Dolch im Gewande», и цитируя стих Шиллера, вы опять сравниваете себя с царствующим лицом, с Дионисием Сиракузским. Наконец, самые оглавления (заглавия) статей «Колокола», извещающих всю Европу о грозящей вам опасности, «Бруты и Кассии III Отделения» содержат сравнение с одним из колоссальнейших исторических лиц. Брут и Кассий были убийцами Юлия Кесаря».

Шедо-Ферроти как умственный пигмей и как сыщик III Отделения вполне выражается в этой тираде. Он не может, не умеет опровергать Герцена в его идеях; поэтому он придирается к случайным выражениям и выводит из них невероятные по своей нелепости заключения; эта придиричивость к словам составляет постоянное свойство мелких умов; кроме того, она замечается особенно часто в полицейских чиновниках, допрашивающих подозрительные личности и желающих из усердия к начальству сбить допрашиваемую особу с толку и запутать ее в мелких недоговорках и противоречиях. Вступая в полемику с Герценом, Шедо-Ферроти не мог и не умел отстать от своих полицейских замашек. Адвокат III Отделения остался верен как интересам, так и преданиям своего клиента.

Отстраняя нависающие над головой яблоневые ветви, Баллод, больше ничего не добавив, пошел к калиточке. Калиточка стукнула. Горбановский еще мгновение стоял на пороге, прислушиваясь к удаляющимся шагам, потом метнулся в комнату, ойкнув, вымахнул на плиту принесенный посетителем набор («Ишь ты, пугает, сука!»), бормоча ругательства, быстро, отработанными движениями намазав краской, рывком, задвинул металл под пресс, бросил лист. С мягким толчком машина отпечатала первый оттиск. Унтер нетерпеливо сунул нос в готовый текст и тихонько запричитал, завыл:

— Уй-юй-юй, у, су-у-ка, у-у-у...

Вся остальная часть брошюры состоит из голословных сравнений между Шедо-Ферротом и Герценом. Шедо-Ферроти считает себя истинным либералом, разумным прогрессистом, а Герцена признает вредным демагогом, сбивающим с толку русское юношество и желающим возбудить в России восстание для того, чтобы возвратиться самому в Россию и сделаться диктатором. Шедо-Ферроти как адвокат III Отделения старается уверить почтенную публику, что наше правительство исполнено благими намерениями и что от него должны исходить для Великой, Малой и Белой России всевозможные блага, материальные и духовные, вещественные и невещественные. Шедо-Ферроти, конечно, не предвидит возможности переворота или по крайней мере старается уверить всех, что, во-первых, такой переворот невозможен и что, во-вторых, он во всяком случае повергнет Россию в бездну несчастья. Одной этой мысли Шедо-Ферроти достаточно, чтобы внушить всем порядочным людям отвращение и презрение к его личности и деятельности. Низвержение благополучно царствующей династии Романовых и изменение политического и общественного строя составляет единственную цель и надежду всех честных граждан России. Чтобы, при теперешнем положении дел, не желать революции, надо быть или совершенно ограниченным, или совершенно подкупленным в пользу царствующего зла.

Посмотрите, русские люди, что делается вокруг нас, и подумайте, можем ли мы долгие терпеть насилие, прикрывающееся устарелой фирмой божественного права. Посмотрите, где наша литература, где народное образование, где все добрые начинания общества и молодежи. Придравшись к двум-трем случайным пожарам, правительство

Бросился из комнаты вон — быстрый, ловкий, — но тут же вернулся, сухая фигурка заметалась, раскладывая все по местам; готовый отпечаток сунул в карман. Не прошло и двадцати минут после ухода Баллода, как калиточка стукнула снова, и быстрые удаляющиеся шаги растаяли в яблоневом цвету.

А Баллод вернулся в Питер довольный.

— Коля! Все, послезавтра будет готово. Денег надо достать.

— И хорошо, — Жуковский, зевая, сладко потягивался, — а ты говорил, волновался. Не волнуйся, Петя, из-за пустяков. Денег я достал — расплатимся. Авось и здесь выкрутимся.

— Вот именно, авось, — Баллод с наслаждением стягивал сапоги. Сапоги один за другим стукнули в пол.

— Ладно, ладно, ложись, утро вечера мудренее.

На следующий день пришел веселый Писарев с окончанием прокламации против Шедо-Ферроти. Получилось на ять, замечательно.

— Сияешь, Митя, словно у тебя не закрыли журнал, а, наоборот, открыли два новых. Ну, молодец, — устало

все проглотило; оно будет глотать все: деньги, идеи, людей, будет глотать до тех пор, пока масса проглоченного не разорвет это безобразное чудовище. Воскресные школы закрыты, народные читальни закрыты, два журнала закрыты, тюрьмы набиты честными юношами, любящими народ и идею, Петербург поставлен на военное положение, правительство намерено действовать с нами как с непримиримыми врагами. Оно не ошибается. Примирения нет. На стороне правительства стоят только негодяи, подкупленные теми деньгами, которые обманом и насильем выжимаются из бедного народа. На стороне народа стоит все, что молодо и свежо, все, что способно мыслить и действовать.

Династия Романовых и петербургская бюрократия должны погибнуть. Их не спасут ни министры, подобные Валуеву, ни литераторы, подобные Шедо-Ферроти.

То, что мертво и гнило, должно само собою свалиться в могилу; нам останется только дать им последний толчок и забросать грязью их смердящие трупы.

сказал Баллод. Весь день он набирал «Что нужно народу?» — лондонскую прокламацию Огарева, за день ни разу не разогнул спины, только похлебал чаю. — Опять ты, как медный самовар, блестяшь. Хочешь еще что-нибудь написать в этом роде?

— Пока не надо, я уже отвлекся, кровь разогнал. Спасибо, Петя.

Баллод хмыкнул.

— Еще потребуется, так я к тебе опять обращусь.

Последние дни жить стало действительно как-то легче, хотя вчера он и проиграл Чужбинскому двадцать рублей. Хотел спросить Баллода, достали ли денег, когда в дверь всунулась угреватая физиономия Лисенкова.

— Петр Давыдыч! Дозвольте, как обещали, прогоны получить.

Толстые губы Лисенкова вытянулись, словно он собирался втягивать в себя прогоны.

Писарев посмотрел на Баллода — что за прогоны такие? Баллод же молча откинул борт рабочей блузы, сунул руку в карман, достал пачку кредиток, правда, тоненькую, отделил одну бумажку, протянул.

— Ого! — сказал Писарев, улыбаясь. — Так-так-так.

— Все понял? — спрашивал Баллод. — Найдешь?

— Все, Петр Давыдыч, истинный бог! Как не найти в городе церковь Покрова, спаси и сохрани царица небесная, — Лисенков мелко крестился.

— Предъявишь листок. На, не потеряй, голова — два уха!

— Никак не можно, что вы-с!

— Возьмешь таких же — пачку, пересчитаешь, должно быть триста шестьдесят штук, не ошибись.

— Грамотные.

Писарев, все улыбаясь, следил за наставлениями.

— Тогда отдашь эти деньги, — протянул и остальные, — а загуляешь с деньгами... Ты меня знаешь, Иван.

Лучше не возвращайся вовсе.— Лисенков замахал руками.— Ну-ну. Двигай, брат.

Повернулся к Писареву:

— Все будет зер гут, тогда, значит, твою прокламацию,— Писарев отметил, что сердце его дрогнуло при слове «прокламация», но никак не показал виду,— твою прокламацию наберем и там же тиснем. А то пока самому набирать и самому печатать нет возможности Тут нашлось одно хорошее место с Колиной легкой руки...

Руки Лисенкову вывернули сразу, голова лакея уткнулась в жандармский мундир, больно проехала по желтым металлическим пуговицам с орлами. Лисенков заорал.

— Цыц! Цыц, гуторю, пас-с-ку-да!

— Отпусти его, Харченко.

Ошеломленный, Лисенков выпрямился, выпучив глаза. Нужный дом он нашел сразу, да и хозяин сам стоял у калиточки, издалика делал зазывные движения рукой.

Иван приблизился, важно достал оттиск, показал:

— Таковых должно оказываться счетом триста шестьдесят, и ни единой бумажки меньше того. Иначе нерасчет, и денежки назад,— рисовался.

Получив приглашение заходить и идя впереди семящего за спиной хозяина, Иван чувствовал важность своей персоны и неласковой встречи за дверью никак не ожидал. Теперь он смотрел, ничего не понимая, на сидящего за столом — нога на ногу — офицера. Офицер приветливо кивал головой и улыбался, и Иван тоже улыбнулся на всякий случай.

— Кто таков?— по-приятельски спросил жандарм, постукивая рукой в лайковой перчатке по сухому столу.

Улыбающийся Иван почувствовал, как у него сами по себе сгибаются колени.

— Сесть дозвольте, ваш-ш с-сиятельство... господин офицер, — прохрипел Лисенков, хватаясь руками за воздух.

— Садись, — улыбнулся тот, — конечно, садись...

11

В двенадцатом часу в замке начал двигаться ключ. Баллод лишь удивленно повернул голову: так рано он не ждал лисенковского возвращения, Иван, хочешь не хочешь, не успел бы обернуться, он должен появиться далеко к вечеру. Да и Лисенков очень редко пользовался своим ключом, лишь когда убирал комнаты в отсутствие хозяев. Второй ключ имелся только у домовладельца, который существовал где-то вне повседневной жизни Васильевского острова. А ключ пощелкивал тихо-тихо. Время вдруг остановилось, и Баллод, вторично за последние несколько дней обретши прозрение, словно бы увидел, как бороздки ключа соединяются со впадинами и выемками замкового механизма, как кулачки замка, отжимаясь, давят на шток и вместе со штоком проворачивают, поворачивают всю жизнь Петра Давыдовича Баллода, православного вероисповедания, сына священника Лифляндской губернии, студента Петербургского университета.

Когда они вломились в распахнутую рывком дверь и, удивившись отсутствию сопротивления, застыли в немых позах, словно бы изображая живую картину (один — нагнувшись, касаясь пальцами пола: оступился на пороге, другой — с выпученными глазами, придерживающий ножны полицейской шашки, готовый сейчас вытащить ее и рубить, третий — заранее испуганный молоденький офицерик, почему-то в голубой форме

гусарского полка, выставивший вперед руку с револьвером), Баллод уже стоял у окна, скрестив руки на груди. Мгновение они глядели друг на друга. Прятать Баллоду было почти нечего — станок вчера он отвез на Выборгскую, да и успеть спрятать он все равно ничего уже не смог бы.

Вошел чистый, в кителе, вежливо поклонился:

— Полковник Золотницкий, полицмейстер.

Вчера вечером, после ухода Писарева, у Баллода побывали четыре офицера саперного полка, которых после разговора он по-свойски и попросил подтащить станок к извозчику. Сидевший на козлах старик был сильно удивлен процессией из четырех офицеров, несущих у животов, словно бутыл с сивухой, обернутый в рогожу большой куль, видимо, чрезвычайно тяжелый. Ничего спросить старик не решился, только всю дорогу крутил головой.

У саперов, по их словам, было тридцать человек, готовых «на самые крайние меры». Баллод усмехнулся в усы, услышав про крайние меры, и тут-то и попросил помочь снести станок. Утром Баллод побывал в некоем знакомом доме, где на диване важно восседали два офицера Генерального штаба. У генштабистов, по их словам, было семьдесят человек, уже разделенных на кружки. Генштабисты через Баллода желали войти в сношения с «Комитетом «Молодой России». Баллод обещал.

Надо было менять квартиру. Срочно. Пришедший несколько дней назад артиллерийский капитан, округляя карие украинские глаза, тихо попросил «доложить Комитету», что они готовы верхами догнать выезд Александра Николаевича и его вместе с охраной — Александр в летнее время выезжал в открытой коляске — зарубить. Таким образом, получалось, что о Баллодовом адресе знали в Петербурге несколько десятков человек. Надо было менять квартиру. Срочно. Срочно. Хотел сегод-

ня сказать об этом Николаю, тот же, вертопрах молодой, опять не почевал дома. Николай вел несерьезный образ жизни, переходил меру, что начинало делу мешать. Однако сейчас отсутствие Жуковского оказалось на руку.

Пока полковник сидел за столом, водя глазами по стенам, а трое шарили по комнате, Баллод стоял и гадал, кто его выдал. Если Иван — получалось рано, не успели бы. Не по телеграфу же, в самом деле, сообщили в Петербург нужный адрес? Хотя, может быть, и по телеграфу... Сам Горбановский? Тот не знает адреса. Впрочем, он знает Николая, а адрес Николая можно спросить в конторе... Кто-либо из господ офицеров? Среди ста человек, не имеющих опыта конспирации, наверняка найдется новый Шервуд-Верный...

Братъ у него, полагал Баллод, сегодня было нечего: так, незначительные вещи — то, се.

Тут вбежавший жандарм, остававшийся ранее на лестнице, доложил полицмейстеру шепотом на ухо — слышно было, небось, и за окном, — что «прибыли», и в комнату робко вошли Лисенков и Горбановский. Оба — Лисенков с испугом, а Горбановский петушком — поклонились и Баллоду тоже. Баллод открыто улыбнулся: все стало ясно.

Оба чувствовали, видимо, некоторое замешательство, но в это время гусарик, шаривший уже в комнате у Николая, с торжеством приволок пальмовый литографский валик со следами краски и цинковые коробки из-под шрифта, куда Баллод, сутками не выходя из комнаты, испражнялся. На валике оставались заметные следы краски. Юный гусар сиял — очевидно, нынче он проходил испытательный срок на предмет поступления в корпус жандармерии и вот теперь выходил выдержавшим испытание.

— Это-то что такое, господин Баллод?

Баллод отвернулся.

— Вскрыть!

Запах ударил в носы представителей власти. В ответ на хохот Баллода робко захихикал лишь один Лисенков, да и тот сразу же умолк.

— Собирайтесь. Господин корнет! Опись!

Взяты были прокламации «Молодая Россия», прокламация «Под суд!», один номер «Колокола» — сто второй, набор брошюры «Что нужно народу», набор виновницы несчастья — прокламации «Офицеры». Взяли и ручку. Жандарм внимательно осмотрел кончик пера, словно с него должен вот-вот капнуть яд. И взяли Митькину рукопись против Шедо-Ферроти, которую он, Баллод, так и не успел набрать. Здесь, на Васильевском, у Баллода была половина Митькиного писания, вторая находилась на Выборгской. Но это, господин полицмейстер, надобно было еще поискать!

Баллод полагал, что вторую квартиру вовсе не обнаружат.

Пока они перебирали, выбрасывая с полки и описывая, книги (взяли даже его записки по арабской грамматике: «Это что?» — «Никак шифр, господин полковник!»), Николай объявился-таки. Прибыл — доложено было солдатским шепотком мощностью в бризантный снаряд — от Николая посыльный: «К господину Баллодову взять что он сам знает».

— Говоришь, ждет в конторе Янова? Хе-хе-хе. Очень хорошо. Постой там во дворе, голубчик. Корнет! — кивок. — Все понятно? Отправляйтесь, возьмите во дворе двоих.

— Что вы-с, ваше высокоблагородие... да я, — посыльный всполошился, — позвольте-с... бечь мне надо.

— Проводить!

Баллод только зубами скрипел: не повезло и Николаю.

Однако Николаю Жуковскому повезло больше, чем думал Баллод. Не дождавшись и второго посланного, Жуковский, побарабанив пальцами по столу у себя в конторе, задумался. Уже механически, ничего толком не соображая, подписав какой-то счет, что совал ему имевший дела с Яновым господинчик в котелке, Жуковский вышел на улицу и нос к носу столкнулся с юным гусарским корнетом. За ним стояли двое жандармов.

— Простите,— задыхаясь, сказал корнет,— Николай Жуковский занимается в помещении? Не знаете ли?

Николай только кивнул. Чтобы голос не выдал его, показал большим пальцем через плечо. Корнет сунулся было мимо, в подъезд, но тут же заполошно вернулся.

— Каков с виду, а? В чем одет?

Жуковский уже справился с волнением. Все братья Жуковские любили пошутить, и он, Николай, теперь открыто улыбался:

— А в котелочке там стоит, сюртук клетчатый. У него в руках бумажка какая-то, разглядывает ее и улыбается, дурачок.

— Да?— корнет восхитился.

— Ага. Совсем дурачок.

Трое, стуча сапогами, бросились по лестнице.

12

К тому времени по делам о поджогах взято было двадцать два человека, и столичному обер-полицмейстеру Анненкову стало совершенно ясно, что почти всех их придется отпустить. Интерес представлял только учитель Викторов из Луги, с этим учителем, мать его так, все носились. Сам поджег и сам на себя донес. Допился, каналья, какой же это революционер! А государя обманывают, что взяты поджигатели. Государь верит.

В нескольких канцеляриях в Петербурге ощутимо

чувствовался недостаток взятых революционеров. Долгоруков, Потапов, Суворов, Анненков мусолили этого учителя Викторова во взаимной переписке. Среди прочих Викторов еще третьего числа назвал Баллода: дескать, сильное действие оказал на него Баллод.

— Всем видом, вашество... А также речами...

— Какими речами?!— гремел «вашество».

— Противу правительства...

За Баллода взялись всерьез. В квартиру на Выборгской его привезли уже шестнадцатого. Баллод молча посмотрел на разоренную квартиру. Поскольку однажды его неосторожно спросили, где находится сейчас Николай Жуковский, Баллод понял, что Коля замечательно ускользнул. Больше бояться было не за кого. Писарев, конечно, уже знает, что произошло, появляться у него не станет. Поэтому Баллод подтвердил, что все находящееся здесь принадлежит ему и только ему одному, Петру Баллоду. Митиной статьей долго водили у Баллода под носом. Баллод отворачивался.

— Чье-с, позвольте спросить.

— Повторяю: все принадлежит мне лично.

— Вот лично и ответите на все вопросы, господин Баллод. Письменно. В Петропавловской крепости. «Мне лично!»— его передразнивали:— «Мне-е». Вы это сюда печатать привезли. Почерк-то не ваш! Ясный! С завитушками-с! Офицер писал! Ну? Какого полка?

В камере Баллод, поразмыслив, написал следующее:

«Найденное у меня при обыске сочинение относительно брошюры Шедо-Ферроти оставлено у меня в квартире на Васильевском острове при записке неизвестного мне человека, который обещал ко мне зайти после — в это время меня дома не было. Часть этого сочинения оказалась на Выборгской стороне в квартире Максимович по тому случаю, что я, отправляясь туда, по ошибке взял с собой не всю рукопись. На отпечатание означен-

ного сочинения не был еще положительно расположен потому, что оно в некоторых местах требовало исправления».

Перед Баллодом лежал разделенный вертикальной чертою лист, на котором слева стояли вопросы, нанесенные на бумагу тонким писарским почерком, а справа он, Баллод, должен был дать письменные ответы.

«Назовите посещавших вас лиц».

«Многие посещали, но никто из посещавших ни в печатании, ни в распространении листов участия не принимал и об этих его занятиях не знал». И Николаю Жуковскому он об этом ничего не говорил.

Уже в двадцатых числах, уже в Сенатской комиссии, Баллод сочинил целый рассказ о том, как в Петровском парке ему была передана для напечатания «Молодая Россия». К нему, Баллоду, неожиданно подошли двое в гарибальдовских плащах, в бородах, конечно, говорили о революции, а он, Баллод, их от революции отговаривал, а потом они его возмутили тем, что, дескать, он, Баллод, мягкотел и боится действовать, а потом... а потом... Вот он и напечатал «Молодую Россию»!

Голицын привстал с кресла. Баллод замолчал, несколько раздосадованный, что так хорошо начатый рассказ не удалось закончить, — впервые в жизни он почувствовал нечто вроде укола авторского самолюбия: эх, не дослушали! А он собирался еще рассказать, что старший, с бородою в проседь, хромал на левую ногу, а молодой, чернобородый, был лыс, как колено...

— Довольно! — тонко закричал Голицын. — Я вас отправлю под такой арест, о котором вы и понятия не имеете!

Князь шлепнулся обратно в кресло.

— Господин Волянский! Вы изволили записать подробно всю эту ахиною?

Делопроизводитель в чине действительного, привстав,

поклонился. Голицын махнул рукой, офицер, сопровождавший Баллода из камеры, тронул его за рукав.

По крепости шли так: впереди солдат с примкнутым штыком, по бокам два солдата тоже, в середине Баллод в ручных кандалах и офицер, сзади тоже двое солдат. От комендантского дома, где сидела Комиссия, до Екатерининской куртины можно было дойти за две минуты. Офицер, плац-адъютант Петропавловки, довольно уже пожилой для штабс-капитана, еще и прихрамывал. Именно его, мысленно наделив бородой, Баллод представлял себе, когда увлеченно рассказывал о случае в Петровском парке.

— Что передать саперам?— вдруг спросил плац-адъютант, подстраиваясь под ровный шаг Баллода.— Ждут.

Баллод, не останавливаясь, повернул голову, оглядел старика. Страшная тяжесть выбора упала на Баллода. Если это наглая провокация, то дешево, дешево, господа.

— Ничего не знаю,— ровно сказал Баллод, так же ровно шагая,— никто,— под шаг говорил он,— ни-кто-ни-че-го-не-знает. И не узнает. А кто знает, пусть молчит.

— Я понял,— старик прибавил ходу.— Шевелись! Автора ищут по почерку,— вдруг сказал он тихо и снова закричал:— Шевелись!— И сразу:— Пришли!

Две недели прошли — так, мимо, стороной, сквозь жизнь, напрасно. И не писалось. Вспоминался дом — как смешно, что нежные детские воспоминания приходят ко всем, в том числе и к личностям, умеющим управлять даже мыслями своими! Он усмехнулся этой мысли. Смешным казалось, что в воспоминаниях он снова вместе с Раисой

делает уроки французского и немецкого, потом — из математики... Андрей Дмитриевич... Давненько не вспоминался он, как-то он сейчас в Москве? Увлёкся он тогда, зимою, Раисой, точно. Так что и дядюшка, вероятно, полагает, что его жизнь из-за замужества двоюродной племянницы разбита. Смешно. Криво улыбнулся углом рта.

Надо уехать. Уехать домой. Мама, Вера, Кахас. Уехать. Они все не будут мешать. Проживут. Можно будет, как два года назад, лежать в саду, глядеть в небо сквозь зеленые ветви яблонь. И теперь, слава богу, никаких Хрущовых больше нет, никаких приятелей. Помнится, он даже Баллода приглашал к себе на лето, а тот отказался и сослался на дела. Хорошо же! Он отдохнет, вернется и тоже примется за дела. К зиме все образуется, нет — к весне. А пока сладко, сладко предаваться воспоминаниям, говорить в них с Раисой.

«Меня решительно одолевает желание писать к тебе, — письмо было начато еще утром, — и я пишу, хотя совершенно уверен, что ты мне отвечать не будешь. Я даже не знаю, зачем я пишу, не знаю, что хочу тебе сказать, а так, есть какая-то неопределенная потребность вообразить себе, что я говорю с тобою...»

Полно, образ Раисы в конце концов становился для него каким-то фетишем.

«...О прошлом, т. е. о последней истории, вспоминать не хочется не потому, чтобы я считал себя виновным, а потому, что мне просто надоела эта непрерывная цепь глупостей с той и с другой стороны. Твой муж завершил эту цепь последним звеном, — длинным письмом ко мне, письмом, на которое я, конечно, не отвечал...»

Гарднеровское послание не стоило ответа. Гарднер, кретин, оскорблял тут всех, прежде всего — собственную жену. Что же, начинать новую свару, вызывать его за оскорбление его же супруги? Бред.

«...Пусть он воображает себе, что его верх, и пусть он думает обо мне все, что ему угодно. В отношении к тебе я исполнил все, что говорил тебе у Хрущева: я окончил сразу полицейское дело, я не назвал тебя в своих показаниях и я не вызвал его на дуэль, я объявил ему письмом, что жду его вызова. Теперь дело решительно кончено и ты можешь преспокойно полнеть и здороветь в деревне...»

Написавши «полнеть», остановился. «Полнеть» могло иметь вполне определенный смысл. Положил кулачки на край стола, закрыл глаза, так сидел некоторое время. Вздохнув, продолжал писать:

«У нас, как тебе, вероятно, известно, случилось значительное событие: «Русское слово» и «Современник» закрыты на восемь месяцев, и я до Нового года свободен, как птица небесная. Я остаюсь совершенно без работы, но это меня несколько не беспокоит. Я полагаю, что другие журналы приняли бы каждого из нас с большим удовольствием (т. е. Благосветлова, Чернышевского, Антоновича и меня), но, вероятно, ни один из нас не пожелает работать в другом журнале...»

Он собирался изложить далее свою программу: чтобы не работать в других журналах, необходимо издавать переводы или писать то, что может издать Баллод. Тот, кстати, уже предлагал еще что-нибудь сделать в этом роде, но он, Писарев, тогда отказался, думая, что вот-вот уедет в деревню. Он в тот день действительно собирался уехать вот-вот и вот-вот на самом деле уедет. Но писать для Баллода он станет непременно, это уж, милые мои, как пить дать. Получается, что у порядочного человека и иного пути нет, как писать публицистику против существующих порядков.

Спокойно улыбался, пока в голове проносились быстрые восклицания.

Вчера он побывал на месте Апраксина двора и Щукина двора. Серую пыль несло на ноги. Пространство,

выкошенное огнем, казалось необозримо огромным, и везде, куда хватает глаз, уже стояли палаточки, на скорую руку сколоченные лотки, торг шел словно бы ни в чем не бывало. Эта необычайная способность к самовозрождению, способность приютиться под любым кровом — понравилась. Он, Писарев, отсидится, найдет приют, в который раз думалось и думалось одно и то же, и возродится из пепла, как птица Феникс. Ясно, Головин хотел закрыть нас, то есть меня — закрыть меня! — навсегда и окончательно. Смешно. Ничто не может заставить публициста замолчать!

Вскочил, потому что гордая мысль подняла и потому, что внизу зазвякал колокольчик. Вошедшего Писарев, вдруг холодея, узнал. Тот поклонился:

— Полковник Золотницкий.

Через три часа все в комнате было перевернуто вверх дном. Еще не успевшего опомниться, Писарева везли в арестантской карете, рыжая голова качалась в такт движению. Удивительным было, что сидящий напротив жандармский полковник — приземистый, тоже рыжий, с изъеденным оспинами лицом — сидел при этом совершенно неподвижно, как изваяние. Оглушенный арестом, Писарев в тот момент уже не помнил, как этот полковник только что выворачивал ящики его письменного стола. Одна занимала мысль — как так: у всех сидящих в карете головы качаются, а у этого — нет. В собственной голове мелькнуло: молчать, молчать, о чем бы ни спросили!

Колеса ходко простучали по деревянному мосту, потом — по булыжнику и остановились. Тут же над самой головой, сотрясая небесный купол, ударил колокол, словно тревогу возвещал миру, словно набат зазвучал: бум-м-м-м...

— Выходите.

Двенадцать ударов — полночь. Уже наступила ночь.

*Его Императорскому Величеству
Государю Императору Александру Николаевичу*

Писарев принят в С.-Петербургскую крепость и заключен в отдельный каземат Невской куртны.

Комендант С.-Петербургской крепости

Генерал-лейтенант

А. Ф. Сорокин

3 июля 1862 г.

Через день, четвертого июля, Долгоруков доложил записку Сорокина государю. Утром этого же дня Следственная комиссия констатировала: «Баллод, сознаваясь в своих преступлениях, стремится, однако, к закрытию сообщников».

14

Только что утвержденному в должности коменданта Санкт-Петербургской Петропавловской крепости генерал-лейтенанту Алексею Федоровичу Сорокину исполнилось к лету от рождества Христова 1862-му шестьдесят семь лет. Можно сказать, что большинство из них отданы были службе на славу русского оружия.

Унтер-офицер Семеновского полка Федор Сорокин, вдовец, женившись на молодой, сына Алексея сбыл с рук — отдал воспитанником во второй кадетский корпус. Отцовская муштра — домашняя — сменилась такой же ежедневной муштрой, правда, уже сопряженной с некоторой надеждою на будущее, связываемой с инженерным капитаном Буше, выходцем из французов. В 1812 году Алексей Сорокин выпущен был из корпуса кондуктором 2-го класса. Чин соответствовал отцовскому, но перспективы оказывались совершенно иными. Буше, ярый роялист, привил воспитаннику не только неизбыв-

ную ненависть к узурпатору Буонапарте, но и передал отличаемому от прочих юноше знания инженерного дела. У Алексея Сорокина к такому делу оказался талант. За французскую кампанию молодой Сорокин произведен был в прапорщики. Буше, ставший уже генералом, перетащил своего протеже в инженерный департамент. Первый орден подполковник Сорокин получил в 1827 году из рук французского посла — это был орден Почетного легиона за помощь в подготовке инженеров королевской Франции. Более за преподавание Сорокин орденов не получал, так как через год объявлена была война Турции. Всю кампанию Сорокин совершил с гвардейским корпусом, сумел проявить свой талант инженера, начертав и построив несколько укреплений, усиливших боеспособность армии, а при осаде Варны, заменив собою убитого полковника Карпова, лично повел в атаку своих саперов вместе с остатками гвардейского полка. Турки редут сдали, а подполковник инженер Сорокин стал Аннинским кавалером. Красная Аннинская лента повела дальше. Через год за отличие при осаде крепости Силистрия — он великолепно организовал осадные работы, лично проводил рекогносцировки, ранен однажды был в руку и голову — полковник Сорокин получил белый крестик Святого Георгия 4-й степени... Дальше было много всего. И мосты он наводил под огнем противника, и, отзываемый в столицу, отвечал за чертежную часть инженерного департамента, и вновь отправлялся Николаем Павловичем в войска — не только лучший инженер-чертежник, но и лучший боевой инженер России был генерал-лейтенант Сорокин.

Всех орденов — и русских, и иностранных — Сорокин не носил, только георгиевский крестик у горла. Одну из полученных шпаг — «За храбрость», с алмазами, — не носил никогда.

В 1855 году комендант крепости Свеаборг Сорокин

отстоял ее при осаде и бомбардировке союзного флота, доказав умение не только брать крепости, но и не сдавать их.

В Свеаборге Сорокин был в который раз за жизнь контужен. Сказались и старые раны. Пора было на покой. Вместо должности начальника Инженерного департамента, которую занять, кроме него, было некому, Военный совет, выполняя волю государя, оставил Алексея Федоровича членом Совета, предложив ему должность Петропавловского коменданта. В крепости, являющейся символом русской монархии, надобно было навести порядок.

— Порядок! Алексей Федорович, голубчик! С вашим-то опытом! Заключенные политические все равно содержатся, как правило, в Алексеевском рavelине. А остальные-то бастионы! Кроме заключенных — и-и, батенька! — там по вашей части работ полон рот! И государь... — члены Совета приподнимались. — Государь... также... извольте, Алексей Федорович, исполнять!

— Слушаю, — просипел Сорокин.

Заключенных в крепости он ненавидел. Это были предатели. За пятьдесят шесть лет, проведенных в строю, Сорокин твердо усвоил одно: без дисциплины не только армии, без дисциплины не существует государства. Ему, всю жизнь отдавшему службе на благо России, ненавистны были отступники ее. С детских лет светлый образ монарха — сначала Александра Павловича, потом Николая Павловича, теперь Александра Николаевича — был олицетворением не только верховной власти, подчиняться которой следовало беспрекословно, но и самой Отчизны. Предателей Сорокин не терпел. Еще в Турции, будучи полковником, он приказал расстрелять пытавшегося перебежать на территорию противника солдата — какая-то там у него, извольте видеть, нашлась болгарка! Всю жизнь действовал решительно. В Свеаборге,

когда на штурм пошли шотландцы и казалось, сейчас бастионы падут, он приказал вывести на стену пленных английских моряков, поставить под картечь.

Крови Сорокин не боялся — на то война, и свою кровь проливал и, не раздумывая, — чужую. Однако же ремесло солдата в том и состояло, чтобы оберегать страну от пролития лишней крови. Одолей, скажем, неприятель — разве не польется русская кровь? И что же теперь? Свои Робеспьеры подрастают на нивах российских, собственную страну — изнутри! — собираются, судя по страшным листкам, разбрасываемым в столице, утопить в крови? И прикрытые ими выбрано ненадежное — это он, Сорокин, может сказать, как лучший в России военный инженер, — ненадежное: болтовня о демократии. И прикрытые пустое, и основание совершенно вздорное. Везде должен быть один командир, один начальник. Да и кто же у нас возмущает народ? Мальчишки, юнцы университетские либо литераторы, поэты. Поэты!

В университете был беспорядок, зачинщиков не нашли, ибо триста человек разом — считай, батальон — не могут быть зачинщиком. Зачинщиков следовало примерно наказать, и все вошло бы в надлежащее русло. А то прислали ему поэта Михайлова вслед за тремястами мальчишками! Это был ужасный беспорядок, ужасный. Михайлова приходилось выводить на прогулку, и государственный преступник мог свободно переглядываться с другими государственными преступниками. Генерал-губернатор князь Суворов студентам ежедневно, ежедневно покровительствовал, и против воли его, Сорокина, против воли коменданта режим у студентов получился исключительно легким. А у него, генерал-лейтенанта Сорокина, здесь не пансион мадам Суфле! И не Знаменская гостиница!

Нынче же, в 1862-м, привезенного Писарева поместили хорошо. Свой же на него и показал, молодчик этот, Баллод, содержащийся в Екатерининской куртине...

Допрос двадцать седьмого июня измотал Баллода совершенно. Накануне в коридоре зачем-то затопили печку, хотя холода уже, кажется, прошли. Кажется, потому что нельзя ничего было толком разобрать в камере. То ли нервная дрожь, то ли озноб били Баллода не первый день. Сначала он ходил и ходил по камере из угла в угол, потом больше все лежал на кровати, кутаясь в арестантский халат, вставая лишь при появлении посетителей. Двадцать седьмого его допекли. Жар в камере, сырой холодный воздух, охвативший тело, лишь только вывели на свет, короткая, в несколько десятков метров, дорога к комендантскому дому, любопытные лица держащихся поодаль гуляющих в крепости — все раздражало несказанно. Но он держался, держался.

Перед допросом кандалы отомкнули, князь Голицын повел носом, спросил:

— Почему не в кандалах?

Секретарь что-то шепнул князю в ухо.

— Пекчись о добывании истины, сударь мой, а не о блажи государственных преступников да об их удовольствиях, — проворчал Голицын, впрочем, неожиданно миролюбиво. Находился, вероятно, в терпимом расположении духа с утра. — Вот набьют клепаные манжеты, что ключиком-то не отпереть, тогда запоет по-другому...

Баллод стоял посреди комнаты, тяжело дыша.

Начали задавать вопросы, крутили вокруг да около. Об истории в парке слушать более не желали, спрашивали о Николае, и он утвердился в убеждении, что Николая взять им не удалось. На том спасибо. Теперь оставался один Митя Писарев. О Писареве Баллод думал все время ареста.

Писарев, до баллодовских дел не большой охотник, написал замечательную статью, отличную. Самое лучшее, что когда-либо в «Карманной типографии» у него набиралось, — Митькина статья. И в ней, братцы, в ней лег-

ко — при желании-то легко можно было усмотреть призыв к убийству царской фамилии и желание самолично это убийство совершить! «Забросать грязью их смердящие трупы!» Вот и... петля!

Лежа на койке, Баллод снова и снова думал, как сказать лучше, и всяк получалось, что — хуже. По почерку Митю найти чрезвычайно легко — посмотреть в редакциях, в типографиях, такого почерка, как у Писарева, ни у кого, пожалуй, и нет. Недаром тут покрикивают: «Что за офицер писал?!»

По почерку найдут, и выйдет, что Баллод скрывал главного заговорщика. Сами по почерку найдут, тогда уж не останутся, начнут вешать на Митьку всех собак. Эх!.. Не петля, так каторга. Точно каторга... Да он, небось, куда за границу уехал, ведь наверняка знают все, что он, Баллод, арестован. Коля скрылся, неужели ничего не передал Писареву, неужели не предупредил? Быть не может того!..

Баллод минуту за минутой пытался представить все, что говорил по разным поводам Писарев. Вспомнил! Писарев собирался ехать к отцу в имение, вовсе не за границу. Значит... что же? Найдут, и такой прямодушный упрямец, как Писарев, тут же статью признает. Что же получится?.. Ерунда получится... Все еще не отдышавшись, Баллод судорожно пытался принять решение, отвечая на второстепенные вопросы правду.

— На какие деньги, сударь мой, изволили издавать листки?

— Я получил шестьсот рублей от отца. Написал, что срочно надо отдавать долги.

— От отца! Обманули отца своего!

— Да,— Баллод несколько покраснел.— Обманул.

— Ведь отец ваш не богатый человек? Не так ли?

— Небогатый,— Баллод переступил с ноги на ногу, как лошадь.

Свет, проникающий сквозь створчатые голландские окна, ложился на паркет полосами.

— Занимал, поди, по всем знакомым, а, молодой человек? Стыдно-с!

— Ну, нечего его, ваше превосходительство, христианской морали-то учить! Ранее уже не научили.— Голицын повернулся к спрашивающему генералу Слепцову.— Пустое. Вот-с,— он взял лежащий у него на столе протокол прошлого допроса.— Касательно автора возмутительного воззвания противу Шедо-Ферроти... Чем вы можете доказать справедливость своего прежнего показания? Историю про гарибальдовых посланных похерим, милостивый государь. Вы показывали: найденное у вас на квартире сочинение относительно брошюры Шедо-Ферроти оставлено у вас на квартире на Васильевском острове, в небытность вашу, при записке неизвестного вам человека, который обещал зайти к вам после. Так?

Баллод молчал.

— Или не так? Ежели так, то когда именно это случилось и каких исправлений это сочинение, как вы показали, требует, чтобы напечатану быть? Прошу-с...

— Я мало помню... содержание статьи и потому не могу сказать, каких исправлений... она требовала,— с усилием сказал Баллод.

— Напрасно не желаете правдиво отвечать. Преступник, написавший статью, заслуживает, быть может, большей кары, чем вы сами.— Вы — печатали, а идеи возмутительные исходили от автора. Выгораживая его...

— Я сам, сам заказал ему статью! — закричал Баллод, задыхаясь.— Я сам,— повторил, сникая,— он только исполнитель.

Необычайное оживление враз освежило лица.

— Значит, коль заказывали, имя знали, не так ли? Говорите. Имя! Знал, кому заказывал! Ну!

Баллод оттянул душивший его ворот.

— Мы ждем, господин Баллод, далее заператься невозможно.

— Статью написал Дмитрий Иванович Писарев,— медленно сказал Баллод,— кандидат Петербургского университета.

Если бы в этот момент кто-нибудь сумел посмотреть одновременно на всю Следственную комиссию — Голицына, хищно ждавшего ответа Баллода, иронично поглядывающего жандармского генерала Потапова, обер-полицейстера Анненкова, генерала Слепцова,— смотрящий обнаружил бы удивительное единство в поведении этих разных людей. Все они совершенно одинаково откинулись на спинки своих кресел и выдохнули тяжелый воздух из легких, словно бы это они, а не допрашиваемый ими выдавил сейчас из себя то, чего он не хотел говорить.

«Писарев, канд. унив.» — машинально вывела рука Потапова на листке. Однако никто, кроме двоих караульных, не мог сейчас смотреть на Следственную комиссию со стороны, и чувства облегчения, испытанного ими, не увидел никто. Впрочем, за спиной Баллода стоял еще один человек. Приведший арестованного плац-адъютант остался за дверью, а в комнату вошел низенький жандармский полковник с одутловатой физиономией, на которой, как угольки, горели маленькие рысьи глазки. Эти глазки и запечатлели всю картину признания. Бледное лицо полковника растянула усмешка. Полковник Сабанеев, по расписанию числясь заместителем коменданта Петропавловской крепости, подчинялся и непосредственно Шувалову с Потаповым. Усмешка полковничья означала: дозрел. Дозрел, голубок! Сейчас все остальное выложит. Рысий взгляд Сабанеева встретился со взглядом Потапова. Потапов встрепенулся.

— Господин Баллод, извольте рассказать теперь в подробностях, как было дело.

— Это было в половине мая... Впрочем, не помню. Да, в половине мая,— Баллод уже понял, что совершил ошибку, говорил совсем уже через силу. Но отступить теперь действительно было некуда, оставалось только выгородить Писарева, насколько это окажется возможным.— В половине мая, когда однажды Писарев зашел ко мне, мы говорили... о брошюре Шедо-Ферроти... Я показал свой листок...

— Отпечатанный в вашей «Карманной типографии»?

— Да... Показал листок, а Писарев посмеялся, сказал, что все это напрасно и незачем читать... Не стоит, сказал, и читать.

— И сам взял да и написал!

— Нет... Я ему сказал: напиши так, чтобы стоило читать, а он сказал, что уже написал статью против Шедо-Ферроти, да вот ее не пропускает цензура. Зачем, говорит, тебе такая статья. Я говорю, что, дескать, устрою сам напечатанье такой статьи. Тут Писарев говорит: изволь. И в начале июня принес статью,— бодрее закончил Баллод.

— Ишь ты! Агнец бедный Писарев ваш, написал статью такого содержания и полагал, что ее напечатать можно, лишь бы протекция была!

Заулыбались, услышав слово «протекция».

— Писарев был обозлен: его невеста вышла замуж за другого.

Заулыбались шире.

— Разумная, стало быть, оказалась девица, господин Баллод!

Снисходительный генеральский смешок пополз по комнате.

— Обозлен, потому так резко и написал. И полагал, что напечатает, потому что его журнал «Русское слово» оказался закрытым.

— Оказался!

— Писареву печататься надо было — это его работа. Я обещал заплатить, — сказал Баллод.

— А вот ваша квартирная хозяйка на Васильевском острове, Мазанова, принесла нам письмо господина Сан-Галли, у которого вы, милостивый государь, покупали типографский станок. Сан-Галли требует вернуть долг — сорок семь рублей девяносто копеек. А самой госпоже Мазановой задолжали вы... — заглянул в записку, — триста восемьдесят шесть рублей! У вас, получается, и полусотни не было, родительские денежки-то спустили! А собирались литератору за статью платить? И кому же теперь расплачиваться с кредиторами вашими? Третьему Отделению его величества канцелярии?

Баллод тяжело усмехнулся:

— У меня сейчас денег нет. И у отца нет. А про Писарева показываю, как было, без утайки, ваше превосходительство. Все, как было.

В камере Баллод рухнул на кровать совершенно обесиленный и долго так лежал. Потом тяжело перевернулся, уставился в потолок. В ушах звенело. На самом деле не слышал, а казалось — в сверлящем звоне слышны ему мерные шаги солдата в коридоре. Сверлящий звон в ушах, впервые пришедший к Баллоду в камере, стал потом проклятьем на всю жизнь. И здесь, в камере, и на торге в Александровском заводе, и потом, на поселении. Золотая сибирская природа сделала свое дело — Петр Давыдович окреп, раздобыл, но и в ушах управляющего золотыми приисками нет-нет да раздавался зудящий металлический звон, особенно когда он, Баллод, оставался один в помещении. Несколько раз приезжал в Питер, в девятисотых, — спасти состояние, судиться с миллионером-хозяином, обманувшим его; но приезде в Питер звон в ушах усиливался. Обращался к врачам — не помогало, так и не прошел этот звон до самой смерти в Благовещенске. Стояла тогда стужа — крещенские холода в

восемнадцатом году выдались большие. И, казалось, над раскрытой могилой Петра Давыдовича звенит скованный морозом воздух. Январское затишье, полное сухого морозного шелеста, звона, снегового скрипа перед бурной, все сметающей весной. Неумолчное, готовое вот-вот разорваться напряжение стояло в воздухе тогда, в одна тысяча девятьсот восемнадцатом году...

Баллод приподнялся на локте — вопросник, теперь из двенадцати пунктов, лежал на столе, в сгущающихся сумерках метался огонек свечи, вздрагивало от ударов сердца перо. Надобно было отвечать, писать что-то. Сгорбившись, сел за стол, долго сидел без движений, потом вдруг, рванувшись, начал исписывать лист за листом, почти не задумываясь. Совсем стемнело, только свеча да затухающий огонь в печи освещали камеру. Эх, думал, Митя, Митя...

Через час Сабанеев появился в коридоре.

— Ну? — спросил у старшего наряда. — Что?

— Кричал, ваше высокоблагородие, и в дверь, и в стену бился.

— Отлично, — лик полковника выразил удовлетворение. — Писал?

— Не могу знать, ваше высокоблагородие, — унтер обернулся: — Михеев! Номер шестой — что, писал? Глядел ты?

— Писал, точно так, вашвыскобродь, — подскочил солдат, — писал, а потом так что в печке жег!

Сабанеева перекосила гримаса бешеной злобы, рука занеслась ударить солдата, тот интуитивно отступил, но тут же, испугавшись еще больше собственного своеволия — отступить от полковничьего удара, снова шагнул вперед. Оба, унтер и солдат, вытянулись, лупя глаза на полковника.

— Бо-о-лваны! Открывай шестую!

Рывком распахнув дверь, Сабанеев ринулся в угол,

встал на колени, пачкая руки, обшлага, рейтузы, зашуровал в погасшей пасти печи, вылез — довольный.

— Ну, вот-с, господин Баллод. А вы надеялись? Слово — не воробей, изреченное-с не вернуть.

Лежавший на кровати Баллод усмехнулся, глядя на грязного полковника, отвернулся к стене. Сабанеев начал отряхиваться перчаткой, сунулся в грязный обгорелый листок, прочитал:

— «Государь, когда будете подписывать мне приговор...» Отлично! Только начали подавать надежды и вдруг опять? Этот номер не пройдет, милейший, нет, не пройдет! Одевайтесь!

Горели свечи. Вся Комиссия, словно бы и не ночь на дворе, сидела на своих местах. Шитье на мундирах, ордена отражали огонь. Баллод смотрел теперь совершенно равнодушно, словно душу вынули из него. Сейчас ему не принесли пальто, вели из камеры в одном скюртуке, но он не ощущал холода, ничего не ощущал, ничего не чувствовал.

— Господин Баллод, что означает ваше противозаконное действие? Господин Баллод, вы готовы отвечать?.. Посадите его на стул, капитан.

Новый, незнакомый Баллоду плац-адъютант, четко шагнув, четко поставил к Баллоду стул, ударив ребром сиденья ему под колени. Баллод сел, глядя в пространство.

Брезгливо держа запачканный пеплом листок, Потапов прочитал:

— «Государь, когда будете подписывать мне приговор, то вспомните, что я жил среди воплей и стона и трудно было мне, от природы очень чувствительному, не сказать упрека тому, кто смотрит на них равнодушно. Вы можете закрыть...» Все-с? — так же брезгливо положил листок в сторонку. — К кому же отнести позволите слова «не сказать упрека тому, кто смотрит на них равнодуш

но?» И далее, что значит «вы можете закрыть», господин Баллод?

— Не помню, писал в расстройстве чувств. Более не повторится, — ровно сказал Баллод.

— А напрасно. Надобно бы и повторить.

— Петля! — визгливо закричал Голицын. — Петля полагается за возмутительные листки!

Баллод молчал.

— Князь справедливо изволит говорить, — Потапов был сама мягкость и доброжелательность. — Напрасно вы, голубчик, не внимаете. Ведь как хорошо — сами же и начали письмо к государю. Поймите, голубчик, у нас порядок такой, — он улыбнулся, — все пишут к государю по окончании следствия. Уж что вы напишете — дело ваше, но выражения советую выбирать. Неужели неясно — судьба ваша у вас же в руках, господин Баллод.

Баллод поднял голову:

— Следствие, значит, закончено?

Потапов комически развел руками. Жест был невнятен, понимай как хочешь.

— Будете писать?

— Буду, — бледная усмешка разлепила Баллоду губы.

— Садитесь к столу.

Торопясь кончить сразу, забыв про обращение, единым духом настрочил: «Я напечатал три листка, которые называются возмутительными. Я не думаю, чтобы мои листки могли возмутить кого-нибудь, потому, что, как мне кажется, они не могут переменить убеждений ни в ком, а для того, чтобы возмутить кого-нибудь, необходимо переменить в нем убеждения, т. е. довести его до того, чтобы он соглашался с такими листками. Попадись мне мои же листки лет шесть тому назад, я напал бы на них точно так же, как теперь напал на брошюру Шедо-Ферроти. Появление подобных листков показывает, что есть уже люди, которые понимают их.

В прошлом году в это время вышел «Великорусс», цель его, как мне кажется, была зондировать общество.

Когда зондирование дало успешные результаты, тогда комитет «Великорусса» выпустил второй и третий номера.

Потом вышло еще несколько листов; об них говорили много, но никогда почти не говорили с особенно дурной стороны...»

Поднял голову от бумаги — все смотрели на него, не отрываясь. Потапов чуть наклонился, в его пронизательном взгляде читалось: «Что-то слишком бойко строит». Улыбнулся в глаза Потапову.

«...Несколько человек, недовольных этими листками, засели в кабинет, прочитали всех социалистов и демократов, вскочили, подумали, что строят памятник второму тысячелетию России, и стали зондировать общество. Общество приняло их за немцев и сухо сказала, что оно по-немецки не знает.

Очень естественно, Государь, что такое движение могло увлечь с собой человека неопытного. Теперь меня изолировали от общества и спрашивают, зачем я печатал и каких последствий ожидал я от распространения этих листов?

Печатая свои листки, я никогда не задавал себе вопроса, предложенного мне Комиссиею. Петропавловская крепость дала мне возможность обдумать этот вопрос серьезно. Серьезное размышление о нем привело меня к несерьезному результату: я увлекся; от нечего делать вздумал пошалить и стал печатать; когда я печатал, мне было весело, я смеялся и никогда не воображал, что эта шалость заведет меня так далеко.

Я виноват, Государь, перед Вами. Оправдаться я не могу.

В конце своего письма позвольте, Государь, обратиться к Вам и просить Ваше Величество при подписании

мне приговора вспомнить о моей молодости, которая была причиной моего увлечения».

Подписался: «Петр Баллод». Толкнул листок по столу.

— Все.

Секретарь, изогнувшись, подал написанное. Голицын, держа одной рукой очки на черной резной рукояти, а другой — наглое сочинение Баллода, начал медленно приподниматься, читая. Баллод ожидал нового визга, но князь только посмотрел на него и, поманив пальцем, вернул секретаря:

— Приобщите, сударь мой, к делу вместе с обрывками этими из печи. Я государю сего письма не передам. Что ж... — Кивнул плац-адъютанту поверх головы Баллода. — В каземат.

И через два дня, как доложил Сорокин, через два дня господина Писарева поместили хорошо, хорошо. Невская куртина — самая приятная у него в крепости. Дробясь о мрачные скалы, тут, господин литератор, режут и пенятся валы, а вода, как известно, сырая и холодная. Что-то вы запоете при прохладе-с? Жечь показания станете? Баллода вашего тоже, кстати, надо перевести в Невскую. А печи в Невской куртине топятся из коридора, когда топятся, а когда и нет, на все есть порядок, установленный комендантом. А здесь не понравится — переведем в равелин!

Перед глазами Сорокина стояло юное, розовощекое личико арестованного литератора. Почему-то сразу тот не понравился старику. Ишь ты, молодо, а не зелено, получается. И, сразу видно, старших не уважает! Родину грудью не защищал, путного в жизни ничего не сделал, только пакостит, только клеветает на Отечество, а — розов! Доволен! И будто бы удивляется: что это и куда это, господа, вы меня привезли? Оглядывал кордергардию, словно бы напоказ ее для него здесь поставили да восковыми персонами оснастили. И на пирамиду оружей-

ную с интересом посмотрел — дескать, что это такое, да зачем, да почему тут ружья стоят? Очень, очень ему занятно! Ну, играй себе. До первого допроса. Правительство недаром озабочено литераторами, во главе беспорядка, несомненно, стоят литераторы, вот такие же, как этот молодой нахал. Все, все идет от чинонепочитания, неуважения родителей. А там и до противугосударственных воззваний шаг один. Вот пожалуйста: во дворце, говорят, получено подметное письмо. Если, пишут, над поджигателями свершится смертная казнь, неминуемая смерть посредством отравления будет внесена в царское семейство. И, говорят, тут же для примера в Финляндском полку заболело животом и умерло сорок человек. Сорок солдат! Сорок защитников Отечества! Всё литераторы мутят воду. От писанины их, думается, и так несварение желудка может произойти...

Желчь в старике волновалась.

Вызванный на первый допрос, юнец заявил: «Я, кандидат Санкт-Петербургского университета Дмитрий Писарев, предьявленной мне статьи не писал и не сочинял». Наглец!

В следующий раз показали голубчику бумаги, взятые из его же стола, в его же квартире в доме Дорна по Второй линии, снимаемой им от штабс-капитана Попова. Показали ему любовное письмо к неизвестной женщине. Впрочем, говорят, что женщина та Комиссии уже стала известна, оказавшись чужой женой. Чего же еще следовало ожидать от подобного молодого человека? Непочтение основ государства и непочтение уз супружества — все звенья одной и той же цепи — противопоставления себя обществу. Да это просто Асмодей какой-то! Господи прости!

Тут, докладывая ему приватно Сабанеев, тут Писарев впервые изменился в лице и, говорил Сабанеев, посмотрел с явной злобой, до сей же минуты глядел благодуш-

но. Изменился, значит, в лице и показал следующее: «Я, кандидат Дмитрий Писарев, действительно писал предъявленное мне письмо, но статья, заключающая в себе возражения на брошюру Шедо-Ферроти, написана не мною, хотя почерк поразительно похож на почерк моей руки». И потребовал, представьте, письмо к возврату! К возврату ему, арестованному по подозрению в государственном преступлении, так как, дескать, письмо личного характера и принадлежать имеет быть лично автору либо адресату. Адресата же назвать отказался. А ему, голубчику, сами назвали: это госпожа... госпожа... забыл фамилию... немецкая фамилия... Словом, назвали имя сей мадам и историю любовную всю ему напомнили. Тут господин литератор, говорил Сабанеев, совсем потеплел: начал скалиться, как собака, одним углом рта, косить глазом, и судороги по лицу пошли. Потеплел, хе-хе. Взяло за живое. С тем и отправили обратно в камеру, чтобы там, в одиночке, бесился себе на здоровье. И на прощание пообещали очную ставку с доносителем. Вот и сиди, ломай голову, кто из твоих же друзей-приятелей оказался поистине верен престолу, да и вспоминай потерянную навсегда женщину. Которая мука страшнее, трудно решить. Обе вполне соответствуют к делу. На следующий день показали обоих друг другу. Баллод-то все подтвердил, то есть лишь кивал на зачитываемую секретарем справку, в глаза Писареву не смотрел, а тот лишь однажды сказал:

— Вспомните, господин Баллод, не было же этого!
Тут же князь оборвал:

— Не переговариваться! Отвечать на вопросы!

Писарев к Голицыну повернулся и так же говорит:

— Не было этого!

Вот ведь bestия рыжая! А ведь офицерский сын! Сам слышал, как зачитывали ответ на первый вопросный пункт: отец — отставной штабс-капитан и шестьсот деся-

тин имеет земли в Тульской губернии. Мало его отец порол в свое время!

Сорокин, будучи комендантом и членом Военного совета, конечно, имел доступ к допросным листам, мог и не сидеть в Комиссии, а сам взять и прочитать, что в знакомцах у рыжего сплошь литераторы. Так тому и следовало быть — рыбак рыбака видит издалека. Писарев показал: «В Петербурге я знаком с графом — поди ж ты, с графом, а вот он, генерал-лейтенант Сорокин, из унтерских детей и, хотя потомственное дворянство выслужил, титулов никаких не заслужил! — с графом Кушелевым-Безбородко, с г. Благосветловым, с Поповым, с г. Минаевым, с г. Крестовским, составляющим ближайший круг редакции «Русского слова»...» И получается: ближайший круг лиц издания, закрытого ныне, что известно из меморандумов того же князя Александра Аркадьевича. «Встречался я у гр. Кушелева со многими литераторами и познакомился довольно коротко с г. Афанасьевым-Чужбинским, Палаузовым, Шишкиным, с братьями Тибленами, с Достоевским, с Кремпиным. С другими редакциями я не сходил и только два раза был по делам журнала у г. Чернышевского».

Вот тебе и раз! А господин Чернышевский нынче же взят и привезен сюда, к нему, старому служаке Сорокину. Стало быть, тоже во что-то вмешался. Что они, все рыжие, договорились, что ли, воду в России мутить?

Наедине с собою старик засмеялся лающим смехом: то, что оба — литераторы, оба — рыжие и оба — преступники, было смешно. Взял снова опросный лист. Писарев показывал, что Баллода, распространителя возмутительных сочинений, знал лишь как соседа по квартире и сотоварища по университету. Дескать, играли вместе в карты, пили и принимали женщин. Разврат! Разврат вытекал естественно из образа мыслей подобных молодых людей. С похмелья только и можно нацарапать пером та-

кие слова: «Династия Романовых и Петербургская бюрократия должны погибнуть... То, что мертво и гнило, должно само собою свалиться в могилу. Нам остается только дать им последний толчок и забросать грязью их смердящие трупы».

Сорокин, поджимая сухие губы, поднялся из-за стола. В крепость допускались праздногуляющие, чему он начал уже решительно препятствовать, и скоро следовало ожидать положительного результата на его прошение, отправленное непосредственно на имя государя, а пока, выпрямляясь во весь свой высоченный рост, комендант мог видеть в окно, как парочка, смеясь, стояла у места захоронения всех бывших в истории комендантов крепости. Позор! Непорядок. Никакого почтения ни к чему. Хотя бы к святой религии — у собора ведь стоят в двух шагах!

Комендант потрогал холодными старческими пальцами холодный георгиевский крестик у горла. «Я, кандидат С.-Петербургского университета Дмитрий Писарев, предъявленной мне статьи не писал и не сочинял...» Ну, погоди же, сукин ты сын!

ЧАСТЬ III

I

Сколько времени прошло — неделя, что ли? Неделя... Лежа на кровати, обводил взглядом помещение. В сумерках, казалось, стены раздвигались, такой привычный в Питере сумрак клубился над головою. Если только заставить глаза смотреть строго, своды начинали вырастать в двух метрах от протянутой руки, выстраиваться кирпич за кирпичом, подниматься и, суживаясь, смыкаться над головой. Штукатурили тут давно, розовый кирпич выступал, словно рана, из серой от копоти стены. Старинная кладка незыблемо, как государство Российское, стояла на века. Восемь метров в одну сторону, четыре в другую — в камере можно было бы устроить отличный, право слово, кабинет, отличный. Его комната у Поповых была того меньше. Лежа на кровати, привычно — неужели уже привычно? — осматривался, не двигая головой, только проводя взглядом по стенам.

Ошеломление от ареста не оставляло его несколько часов, арест помнился смутно — сейчас хотел вспомнить, не получалось толком. Хотел вспомнить, чтобы потом рассказать... Раисе. Да не Раисе, черт возьми, не надейся, некому рассказать, что ли! Хотел, говорю, вспомнить — только мельтешение стояло в голове. И рябое лицо жандармского полковника все время возникало из памяти. Кривоногий, ухватистый, он напоминал скорее лихого унтера казацкого полка, нежели старшего офицера такого, господя, высокого ведомства. И все лез своей рябой физи-

ей, лез, словно целоваться собирался. А! Ракеев! Фамилия — Ракеев. И говорил, что лично имел удовольствие быть знакомым с Михайловым.

— Ведь вы, господин Писарев, тоже знакомы с литератором Михайловым? — тут же, заглядывая в лицо, спрашивал Ракеев, и бумаги в его руках шелестели, словно колода карт, когда по ней, по колоде, опытный картежник проводит большим пальцем. Тр-р-р-ть! — Изволили быть знакомы?

— Изволил...

— Тр-р-р-ть!

Он тут же отходил, шаря по комнате; сейчас вспомнились и его красные, в прожилках, нездоровые глаза.

Ракеев заглядывал в сосредоточенное лицо Писарева.

— У всех литераторов удивительно много бумаг. Да что вы! Я ж понимаю! Литераторы на то и есть! Ха-ха! Это чей портрет? У всех литераторов, господин Писарев, как я понимаю, должен находиться портрет Герцена, обязательно должен быть. То есть не у всех, а у тех, которых берем. Не так ли? — он поворачивался. — Литератора Михайлова брали — взяли портрет Герцена. Да-с! Ваши бумаги?

— Мои, мои...

Ракеев вспоминался теперь ясно, а дорога сюда почти забылась, однако к тому времени, как привезли в крепость, Митя пришел в себя, с интересом рассматривал новое помещение, с детским каким-то интересом рассматривал, никак уже не волнуясь и не обращая внимания на окружающих.

Его ввели в куртину, пахнуло теплом. Возглас «Старшего!», теперь слышимый постоянно, прозвучал тогда в первый раз. Тускло блеснула каска, блеснула рукоятка палаша на поясе старшего наряда. Свет перескочил на связку ключей, дверь загрохотала, за спиной раздалось:

— Входите!

И чувство полного, ей-же-богу, полного успокоения за закрытой дверью после только пережитого волнения.

— Эй, Поливанов, свечи зажечь!

На столике вечно горел ночник, сумрак стужался, стены раздвигались; вечером, после того как приносили ужин, наступала пора покоя, лежал на кровати, смотрел в потолок.

Все определилось. Все наконец-то определилось. И ни сомнений, ни страстей — ничего, только уверенность в своих силах, которая раньше требовала и требовала постоянных доказательств, а теперь сама вела его за собой, вела, словно и в самом деле можно было куда-то пойти отсюда, вела — он чувствовал ведущую, толкающую вперед, уверенную и упорную силу. Все определилось. Будем воевать!

— Старшего! В девятую!

Ключ с грохотом вошел в скважину его камеры. Митя сел на кровати. Вошел Сабанеев. Рысьи глазки Сабанеева быстро прошлись по лицу арестанта. Тот спокойно сказал:

— У меня отобрали часы. Прикажите, пожалуйста, чтоб отдали.

Жандарм не отвечал, поэтому Митя лег на кровати, вытянулся, словно стараясь сделаться длиннее (лежащим он действительно и казался длиннее, чем был на самом деле), лег, вытянулся:

— Вы обещали еще третьего дня хорошую свечу, господин полковник. Свечу, часы и карандаш с бумагой.

— Не разрешено, — с удовольствием сказал Сабанеев, не отрывая взгляда от лица арестанта и ожидая, когда лицо его изменится. — Господин комендант не изволили разрешить. Не полагается.

Митя потянул одну щеку на сторону, выражая улыбку, пожал плечами. Хотел сказать: «А мне плац-адъютант говорил, что можно иметь часы, хорошую свечу и бумагу!

И книги!» Хотел сказать, но что-то удержало; подумал: не подведет ли этим доброжелательного — успел убедиться — плац-адъютанта. Пожилой штабс-капитан, водивший его на допросы, почему-то не вызывал такого отвращения, как этот толстый гусь.

Пожал плечами.

— Извольте встать! Встать! И впредь вставать!

Митя поднялся.

— Собирайтесь, — выдержав паузу, сказал Сабанеев, наконец-то отмечая, что заключенный перестал прикидываться равнодушным. Повернулся к двери: — Давай!

Вошел солдат с одеждой в руках. Сюртук, брюки, рубашка — все давно было страшно измятым, мелкие соломинки пристали к костюму. Солдат вытряхнул одежду прямо на кровать. Митя здесь получил серый халат, кадетское белье, сапоги, фуражку без козырька. Тогда, в первый день, старший наряда свернул его облачение в комок, комок засунул в дерюгу, напоминающую мучной мешок без дна... Сырое белье давно нагрелось на горячем Митином теле, теперь как-то и не хотелось снимать его.

— Куда это на ночь глядя? Не хочется, — извиняющимся тоном сказал Писарев, словно не желая огорчать полковника отказом, но тот вдруг затряс животом и начал разевать рот, как щука на берегу. Выражать свои желания здесь, в крепости, словно здесь кто-либо хоть на секунду стал бы считаться с желаниями арестанта?! Это было смешно. Но смеяться не приходилось: это было наглостью. Так, как Писарев, никто еще не вел себя с Сабанеевым. Писарев делал вид, что он не в крепости находится, а у маменьки в имении на травке лежит. Сабанеев хотел заорать, но только повторил:

— Со-би-рай-тесь!

...Круглая голова с усами выглянула из высоких дверей кабинета и позвала:

— Писарев!

Обставленная шкафами и диванами комната имела чрезвычайно уютный вид. Пока Митя поднимался со стула, на котором сидел, и входил в эту комнату, голова скрылась. Она принадлежала крепкому, толстому генералу. Тот успел сесть за стоящий посреди комнаты стол спиной к огню — позади него тепло потрескивал камин. Митя улыбнулся: в III Отделении была вполне домашняя обстановка.

— Шувалов,— сказал сидящий.

Митя поклонился.

— Очень приятно.

— Не валяйте дурака, господин Писарев, со мной не надо. Я человек порядочный. Да-с,— Шувалов вылез из-за стола и подошел к Мите. Тому показалось, что Шувалов сейчас подаст ему руку, и он машинально отодвинулся, но, оказывается, у генерала вовсе не было такого дикого намерения. Шувалов только прошелся по кабинету взад-вперед и, с удовольствием слушая себя, повторил несколько раз:

— Я человек честный, порядочный человек. Совершенно честный.

Митя смотрел на него, как на Петрушку с ярмарки.

Бывший петербургский обер-полицмейстер, граф Петр Андреевич Шувалов, будучи отличного дворянского рода, сделал хорошую карьеру. Вышедши из Пажеского корпуса, служил в конной гвардии, но вдруг скоро стал адъютантом военного министра и даже, пробыв с ним недолго на позиции, всю жизнь потом считался участником обороны Севастополя. Тут-то, в натуре увидав военные действия, двадцатисемилетний граф Петр Анд-

реевич твердо решил идти далее по ведомству борьбы с врагами внутренними. Обер-полицмейстером он стал в тридцать, директором департамента Министерства внутренних дел — в тридцать три, а теперь, тридцати четырех лет, управляющим III Отделением собственной его величества канцелярии. Выше него был только Долгоруков, которого граф Петр Андреевич твердо, как и все, что он решал в жизни, твердо решил в самом ближайшем времени подсадить. Шувалов хотел быть полным генералом, и даже генерал-адъютантом: к занятию постов и получению званий он очень был расположен. Для того чтобы подсадить старика Долгорукова, Шувалов буквально ночей не спал. Твердые решения он незамедлительно претворял в жизнь. Теперь, после некоторого успокоения полицейской деятельности в связи с пожарами, необходимо было допросить лично — лично-с! — всех, проходящих по делу так называемой «Карманной типографии»!

— Садитесь, господин Писарев.

Митя, оглядевшись, сел на диван. Мятая одежда стесняла. В арестантском халате он чувствовал бы себя раскованнее.

Шувалов откашлялся.

— Я человек порядочный, — в который раз повторил он, с прежним удовольствием пыжась, — и всяких там подходов не люблю. Скажите прямо, господин Писарев: ведь это вы писали прокламации?

— Нет, — чуть не хохоча, сказал Писарев, — никакой прокламации не писал. Даже, собственно, не понимаю, о какой прокламации изволите говорить, ваше превосходительство.

— Бросьте, бросьте! Слышите, бросьте! Писали.

— Нет, не писал.

— Писали, писали, — Шувалов и рукой махнул. — Я знаю и говорю вам: писали, — Шувалов вытянул голо-

ву, губы, весь потянулся вперед, к сидящему на боковом диванчике Писареву, даже золотые погоны на его плечах скособоились. — Писали прокламацию против Шедо-Ферроти.

— Я уже, ваше превосходительство, докладывал Следственной комиссии, что не писал. Так что изволите видеть сами — не писал.

— Писали.

У Мити совсем поднялось настроение. Не было бы хуже, а этак можно было жить.

— Говорю, писали.

— Говорю, не писал.

Оба помолчали, набираясь сил для диалога.

— Послушайте, Писарев. Вас уличил сообщник. И почерк ваш установлен экспертизой графологов. Письмо к мадам Гарднер вы писали? Что ж молчите?

— Письмо писал, а прокламацию не писал, — уже с раздражением сказал Митя, чувствуя, что хорошее настроение постепенно улетучивается. Собственно говоря, радоваться было нечему. — Прокламации не писал, — повторил.

Шувалов встал и подошел к двери, выглянул.

— Привезли? — послышалось за дверью. — Нет еще?

Он вернулся, снова уселся.

— Сейчас вас уличит новый для вас господин. Лучше признайтесь сами, что прокламация — ваша, и делу конец. Ну, писали?

Митя молчал. Метод Шувалова не отличался тонкостью, но, видимо, давал неплохие результаты. Нервов у Шувалова не было никаких. Имел ли он для эдакого нахрапа какие-либо данные? Показаний Баллода мало, много ли их вместе с экспертизой? И что могут дать за прокламацию? В самом деле! Он еще выйдет отсюда и напишет им — будь здоров! Главное — поскорее выйти на свободу.

— Ну, вижу, что писали, — как попугай, сказал Шувалов. — Не молчите, Писарев.

Переждав некоторое время, Шувалов вздохнул, опять вышел из-за стола, остановился посреди кабинета и вдруг отрывисто произнес:

— Ступайте!

Митя молча встал и пошел. В коридоре за ним пристроился жандарм.

Навстречу прошел офицер, окинувший Писарева любопытным взглядом, и вдруг — Митя даже остановился, топаящий за ним жандарм налетел на него сзади — вдруг, когда до выхода оставалось сделать несколько шагов, в коридоре появилась Жабина.

— Идите! — жандарм несколько подтолкнул Писарева в спину,дохнул табаком. — Давай!

Жабина, высокая, прямая, шла так, словно она сто раз проходила здесь, шла так, словно она была здесь дома. Семенящий следом чиновник выражал всем видом полное почтение Ангелине, чуть не кланялся на ходу. Он с любопытством, как и офицер, махнул глазами по Писареву. Она же не то что не узнала, даже не посмотрела, бровью не повела.

Мите стало мерзко. Жабина, по всей видимости, и была тем «новым господином», встречу с которым сулил Шувалов.

Жандарм снова подтолкнул в спину, Писарев, потрясенный, шагнул за порог.

На дворе была буря. Погода установилась в середине лета совершенно октябрьская, сейчас порыв ветра ударил арестованному в лицо, в грудь, почти и не защищенную. Ворот рубашки расстегнулся — даже галстучной запонки не возвратили. Митя скрючился, свернулся, чтобы уберечь себя хотя бы на протяжении нескольких шагов, которые ему надо было пройти до черной кареты, закрыл горло рукою. Сопровождающий жандармский офицер был

в шинели с николаевским воротником. Сопrotивляясь ветру, Митя неуверенно пошел вперед, твердая рука поддержала его и направила:

— Сюда. Садитесь.

Карета тоже дрожала от ветра. Вместе с офицером сели, стукая палашами, два жандарма. Пахнуло чесноком, кожей перевязей — все трое несли на себе сложную упряжь, словно ездовые жеребцы.

Обратно, в девятую камеру Невской куртины, Митю не повели. Сопровождающий выпрыгнул первым, на секунду исчез в темноте, появился снова, снова исчез, и перед Митею появился высокий плац-адъютант, тот, что казался ему симпатичнее прочих.

— Я штабс-капитан Пинкорнелли! — прокричал плац-адъютант почти в ухо Писареву, решив теперь представиться. И зачем-то добавил: — Иван Федорович! Вы слышите, Дмитрий Иванович?

— Ведите! Холодно! — буркнул Митя себе под нос. — Я не должен тут мерзнуть!

— Что?! — закричал Пинкорнелли. — Говорите громче! — он повернулся одним ухом к арестованному. — Не слышу!

— Ведите меня на место! — заорал Писарев, тщетно закрываясь от ветра ладонями.

Пинкорнелли повернулся, что-то сказал конвойным и показал рукою, как решил Митя, на Монетный двор. Они двинулись через площадь перед собором. Факелы, горящие на стенах, бросали в ночь рваные куски огня, длинные тени метались по булыжнику. Обогнув Монетный, процессия остановилась на новой, открытой площадке перед подъемным мостом. Впереди горели огни, отражаясь теперь — блики скользили, вода темно посверкивала — в маленьком канале.

— Дежурного офицера! — закричал Пинкорнелли. Огни за канальцем задвигались, мост начал опускаться.

— Это ненадолго, — вдруг услышал погруженный в себя Писарев; показалось, что ветер принес чьи-то далекие слова, но это, несомненно, говорил Пинкорнелли. — Ненадолго, Дмитрий Иванович, надо перетерпеть.

На секунду перестав замечать холод, Писарев попытался прочесть что-нибудь на лице плац-адъютанта — тщетно. Глубокие ночные тени открывали только поблескивающую седину на его висках, висячие тараканьи усы.

— Иди! — услышал Митя другой голос. В плечо толкнули, он шагнул на деревянный настил, за которым стояло здание Алексеевского рavelина — помещение для особо опасных преступников. Заключенные рavelина находились в ведении непосредственно III Отделения. Генерал-лейтенант Сорокин тут уже не распорядился и, надо признать, с удовольствием отдавал власть над рavelином Долгорукову с Шуваловым. Генерал-лейтенант Сорокин сбывал заключенного Писарева с рук долой. Как потом оказалось, действительно ненадолго.

Дверь в камеру уже была открыта. Окруженный толпой жандармов, ничего не понимающий Писарев вошел в нее.

— Садись! — раздалось сзади. — Раздевайся.

Грубые лапищи легли на Митины плечи, бросили его на скамью. В мгновение он остался в чем мать родила, тут же в волосы его воткнули гребень, и, выдирая клоки, гребень пошел по волосам, отыскивая спрятанные, быть может, в редковатых Митиных волосах тайные вещи. Митя хотел крикнуть, но не успел. Вонючие пальцы, надавив на скулы, раскрыли ему рот, словно пасть собаки, залезли, казалось, внутрь до желудка, ощупали зубы; сильные руки зашарили по телу, прошлись по подмышкам, между ног, перебрали один за другим пальцы. Все произошло, казалось, в единый миг. Обыскивающие схлынули, как наважденье, оставив голого Митю одного посреди камеры в состоянии бешенства. На привинченном к стене железном столике теплился

ночник. Злобно скалясь, Митя сделал несколько шагов и разглядел кровать и лежащую на ней горку одежды. Это был синий халат, старый, без подкладки, и стоптанные войлочные туфли, в него завернутые. Только что Писарева была крупная дрожь, а теперь он чувствовал, как все тело горело огнем. Набросив халат, он свернулся на койке, ощущая спиной железные ее ребра. «Вот это все, — подумал, — это все так, как надо. Все так, как надо, господа. И — напрасно. И это все — напрасно. Ошиблись, господин генерал... господа генералы».

Заставил себя выпрямиться, лежа, положил ногу на ногу. Недоставало только хорошей сигары, чтобы представить себе отдыхающего на софе сибарита. Усмехнувшись, Митя вспомнил оставленный дома халат à la Гарднер. Что ж, тут был почти такой же, в конце-то концов. Его, Дмитрия Писарева, поставили в необходимость бороться. Отлично, теперь он будет по-настоящему бороться. Следовало подумать, как это сделать лучше, что и как говорить. И кому. Впрочем, все они одна и та же шайка.

Он собирался спать, когда дверь опять отворилась. Чудеса: в вошедшем офицере показалось что-то знакомое. Однако не приглядывался — было темно, да и устал.

— Нужно раздеться, — сказал офицер.

— У вас тут только и знай, что переодеваешься. Ни дать ни взять как в бане!

Халат тут же был подхвачен вынырнувшим из-за офицера жандармом.

— Теперь одевайтесь, Дмитрий Иванович, — сказал офицер, и Митя совершенно ясно и радостно узнал в нем капитана Борисова. Жандарм бросил на кровать новый тюк.

— Капитан... — начал Митя и осекся: кто его знает, как теперь с ним надо себя вести. Ничего не придумав, он только добавил: — Нельзя ли принести из прежней камеры мои вещи? У меня оставался чай и сахар.

— Позвольте представиться, — Борисов чуть поклонился, — помощник смотрителя Алексеевского рavelина капитан Борисов Иван Алексеевич. — То ли он показывал Мите, что они более незнакомы, то ли не хотел показать солдату, что он знаком с арестантом. — Ужинать сейчас дадут. — непонятно, отвечая или не отвечая на вопрос, сказал Борисов и повернулся. — Лампу не тушите, — до-
бавил он, выходя. Жандарм вышел следом.

Пожимая голыми плечами, Митя снова оделся. Сшитое из мешковины белье кололо — в дерюге застряло множество мелких щепок. Щепки торчали и в суконных портянках, которые Митя кое-как приладил на ноги. Громадные коты, подбитые гвоздями, решил пока не надевать. Разрез на широченных штанах, идущий вдоль внутренней части ноги, озадачивал — зачем бы такой разрез? Тут же догадался, что ножницы прошлись здесь, чтобы пропускать цепи ножных кандалов. Их-то теперь не хватало для полноты костюма, — подумал с некоторым удовлетворением. Словно ощущая на щиколотках жесткое давление железа, медленно подошел босиком к открывшемуся в двери окошечку, взял протягиваемые ему деревянную ложку, кусок черного хлеба и миску.

3

В это время написаны были различные письма, записки и докладные.

Подписчики «Русского слова» получили по почте циркулярное письмо: «Русское слово» приостановлено по 13 января 1863 г. Милостивый государь имеет возможность по выбору: получить подписные деньги за второе полугодие или внести их в зачет подписной суммы будущего года. Само же издание «Русского слова» передается графом Г. А. Кушелевым-Безбородко Г. Е. Благо-

светлову, заведовавшему в продолжение последних двух лет редакцией».

Генерал Потапов писал матери арестованного Писарева, приехавшей к сыну:

«Милостивая Государыня Варвара Дмитриевна! На письмо Ваше от 6-го июля замедлил отвечать потому, что ожидал постановления Комиссии, которая определила: собственно Вам принадлежащие вещи, взятые при арестовании сына Вашего, Вам выдать, а потому не угодно ли Вам будет прислать за ними в III Отделение Собственной ЕИВ Канцелярии к ДСС Каменскому; что же касается до свиданий Ваших, то, как я имею честь объяснить Вам, Комиссия не считает себя в праве их дозволить впредь до разъяснения обстоятельств дела, по которому Ваш сын арестован. Сын Ваш здоров. Я видел его лично сего дня. Примите, М. Г., уверения и проч.

А. Потапов»

Писарев на принесенном Борисовым листе бумаги написал первое письмо матери:

«Насчет моего здоровья ты с Верочкой можете быть совершенно спокойны. Я чувствую себя хорошо; сегодня ровно две недели с тех пор, как я в крепости, а между тем меланхолии, которой ты так боялась, не показывается. О положении моего дела не могу сказать тебе ничего, потому что сам ничего не знаю. Ради бога только, мой друг, татап, не сокрушайся заранее, но смотри на дело спокойно и серьезно, не увлекаясь приятными надеждами. Ты спрашиваешь, ехать ли тебе в деревню или оставаться здесь. Мне бы хотелось, конечно, чтобы ты осталась здесь, и я попрошу тебя это сделать, если только позволят это твои домашние дела... Обо мне вы обе, татап и Верочка, не беспокойтесь, мне денег не нужно; у меня все казенное, и я сам, как человек казенный,

пропасть не могу... Ну, кажется, все, больше писать не о чем. Крепко обнимаю вас и прошу обеих быть благо-разумными — не плакать и не заболеть. Обнимаю вас. Поклонитесь всем знакомым, в особенности м-ме Гарднер, и пишите по возможности часто и много».

Благосветлов писал приятелю, что «Русское слово» он берет и, хоть сдохнет, будет издавать его. Вполне резонно Григорий Евлампиевич опасался за собственную свободу — взятые полицией письма его, написанные Попову еще в конце пятидесятых из Лондона, оказывались весьма радикальными по нынешним временам. Именно поэтому задерживался ответ Цензурного комитета о передаче журнала Благосветлову. Потапов старался. Потапов собирался сменить Шувалова так же, как Шувалов — Долгорукова, Потапов брал дело «Карманной типографии» в свои руки.

Голицын отписывал Потапову через канцелярию, хотя виделись они почти каждый день:

«Последствия ...допросов в продолжение минувшей недели указали на неблагонамеренность действий проживающих в С.-Петербурге прикомандированного ко 2 кадетскому корпусу гвардии штабс-капитана Попова и литератора, занимающегося в редакции «Русское слово», Благосветлова... Но имеющиеся в виду о сих лицах данные не могут еще служить достаточным поводом к принятию касательно их решительных мер и к их арестованию».

За Благосветловым и Поповым установили секретное наблюдение.

В Курске, где служил Ваня Хрущов, получено было указание произвести у подозрительного по знакомствам господина обыск. Валяжный Хрущов испугался до коллик, хотя обращение с ним было самое вежливое. Ничего не взяли. Самого не взяли тоже. Гуляй, Ваня!

И, наконец, Митя, получив очередной вопросный лист и решивши переменить тактику, написал следующее:

«Я вижу, что дальнейшее запирательство бесполезно и невозможно, и потому решаюсь разъяснить все дело. Разговор мой с Баллодом происходил, действительно, так, как показывает Баллод. Я принял его предложение и исполнил данное ему обещание. В разговоре с Баллодом я выразил раздражение против цензурных притеснений и вообще против отношений правительства к литературе. Баллод предлагал мне выразить это раздражение, и я согласился, потому что, во-первых, это предложение давало мне возможность вылить накопившуюся желчь; во-вторых, оно льстило моему авторскому самолюбию; в-третьих, оно было так поставлено, что не принять его значило бы обнаружить трусость. Вот побуждения, заставившие меня писать эту статью. Определенной цели у меня не было, потому что я не знал и не расспрашивал, каким образом Баллод намерен распространить мою статью. Я слышал от него только, что он может ее напечатать. Когда я стал писать, то уже увлекся за пределы всякой осторожности и благоразумия; я дал полную волю моему раздражению и обругал всех и все, что только попало мне под руку. Статья эта, как и большая часть моих журнальных статей, писана без черновой, прямо набело, под впечатлением минуты. А впечатления эти были: закрытие воскресных школ и читален, закрытие Шахматного клуба, приостановление журналов «Современник» и «Русское слово», упразднение II отделения Литературного фонда. Все это волновало меня и отражалось на моей статье. Поэтому она написана резко, заносчиво и доходит до таких крайностей, которые я в спокойном расположении не одобряю».

Играть дурачка Мите претило. Он дурачком себя не считал с молодых ногтей. Теперь, отсюда, ему уже казалось, что вся жизнь его совершенно фатально была

движима к верхней, переломной точке, помещающейся в Алексеевском равелине С.-Петербургской Петропавловской крепости. В самом деле — это Александр Романов с Долгоруковым и Потаповым мешают ему жить и писать так, как он считает нужным? С дороги их!.. Хе-хе-хе...

Усмехался, невидимый никому: ишь, разбушевался!

В конце концов запирательство надоело себе самому. Как-то получилось, что он перед всеми ими унижается. Это не понравилось ему. Оправдываться, словно школяру? Нет, оправдываться он не будет, но стоять на одном (случайность, мол), действительно, оказывалось необходимым. Именно так вести себя ему уже посоветовал Борисов.

— Почему же столь долго не сознавались, молодой человек? Ась? Ваньку валяли?

Он уже написал в опросном листе, что, дескать, погорячился. Поддался влиянию минуты. Молод. Горяч.

Равнодушие, к которому он себя готовил последние недели — а после очной ставки с Баллодом прошел почти месяц, — равнодушие его к тому времени испарилось, а вот злоба окрепла. Заведенный порядок заключения — подъем, завтрак, уборка камеры, обед, ужин — шел без сбоев. Прогулок не давали, никто не приходил, никто, кроме заглядывающего в окошко солдата, не беспокоил. Книг не было. Пробовал стучать в стену — напрасно, никто не отзывался. Один раз стукнул особенно громко, что ли, — тут же крикнули:

— Не стучать!

День шел за днем.

Поразительно, что психика его не давала ни малейших срывов. Пробовал, проверял себя, чуть ли не заставляя мозг галлюцинировать, — курам на смех, мозг отказывался заболеть, и Митя с радостью думал, как рационально устроен собственный его организм: в нужный момент и душевные, и физические силы, соединившись, готовы

были сопротивляться. Только — чему? Главное — выйти отсюда как можно скорее. Защищаться ему приходится самому, в одиночку. Тогда, когда Борисов советовал представляться на допросе, он отказался валять дурака, однако же потом пришел к выводу, что это, право же, всего рациональнее. Никому он не сделает вреда, только себе принесет пользу. И — другим, потому что надо работать, работать.

— Так что ж молчали?

Потупился. Сказал, словно бы преодолевая себя:

— Я, ваше превосходительство, человек упрямый...

— Гм.

— Вот и решил не сознаваться... Да и... впечатлительный, увлекающийся я человек.

— Да-да, вы изволили уже это сообщить письменно. Бумага, как на Руси у нас говорят, бумага все стерпит.

Нет, это не унижение, как он подумал спервоначалу. Это игра по-крупному. Они знают его карты, он прекрасно знает их расклад. Так что напрасно веселье ваше, миленькие мои.

Потупился снова.

— Мой темперамент могут, вашество, подтвердить доктора Штейн и Шульц, в собственной частной клинике. Кроме того... мне стыдно, но я должен сказать...

Вспыхнул, потому что действительно стало стыдно. Сжал зубы — останавливаться было нельзя.

— ...Моя история с господином Гарднером, вы понимаете... Комиссия, как я знаю, располагает этими материалами и моими ответами на вопросные пункты... И, кроме того, мои карточные долги...

— Хватит! — брезгливо сказал Голицын. — Повторяйтесь.

Писарев остановился. Действительно, было уж слишком.

— Главную причиной моего заперательства было нежелание бросить тень на ту часть журналистики, к которой я принадлежал. И принадлежу. Нелепые толки о литераторах, замешанных в агитации, ставились в связь с пожарами, ваше превосходительство. И я не желал, чтобы мое случайное участие в агитации повредило тем литераторам, с которыми я работал.

— Ну, и теперь вы раскаиваетесь, молодой человек? Вернись назад, так действовали бы иначе?

— Совершенно! Совершенно иначе, ваше превосходительство.

— Хэм... Хорошо-с. А эта записка что означает, позвольте спросить? — Отнесся к секретарю: — Зачитайте!

— «Попов — 927, Чужбинский — 650, Апухтин — 344, Быковский — 224, Кушелев — 463, Благосветлов — 88, Новинский — 41, Баллод — 38, Нехлюдов — 40, Козлова — 30, Делянов — 50».

— Так что же сие?

Захохотал, как всегда, вскидываясь, из глаз выступили слезы. Стоящий сзади Пинкорнелли взял за руку, он не нашел сил вырвать руку и досмеивался уже, словно бы вися на поддерживающей руке офицера.

— Прекратите истерику, милостисдарь!

Из горла еще выходили всхлипы, но хохота больше не было. Несколько раз с болью глотнул, криво улыбнулся в лицо Голицыну.

— Это мои карточные долги, о которых уже говорил,— голос окреп.

— Экие голодранцы, в долгу как в шелку! У этого две тысячи с лишком выходит!

Никто не засмеялся. Писарев, обессиленный, опустивший голову, почувствовал, что его поворачивают и выводят на улицу. Дорогу в каземат он теперь мог найти и один, без конвоя. Так слепая лошадь, что, вращая жернова, ходит по кругу, продолжает свое движение, даже

когда с нее снимают узду. Горло болело, при глотании кадык процарапывал внутри шеи словно бы видимую полосу. Вечером дали кашу, и впервые Митя решился выпить принесенной теплой воды, называемой здесь кипятком. Непривычная сырость сделала свое дело или на последнем допросе сорвал горло — неизвестно. В первый миг радость поднялась волною откуда-то из живота — заболел, так будут лечить, быть может, госпиталь. Все лучше! Должен же быть госпиталь, врач! Тюремный врач!

Борисов после памятного разговора не показывался. Вместо Борисова явился неутомимый Сабанеев. Писарев встал.

— Предупреждая ваши вопросы, господин полковник, — просипел, — заявляю, что болен и говорить не могу.

— Что-с? Как?

Писарев щелкнул себя пальцем по горлу, получилось неожиданно хлестко, словно они с Сабанеевым от души болтали про выпивку. Щелкнул и руками развел: не могу, мол, не могу.

По сучьей физиономии Сабанеева неожиданно пошли добрые морщинки, словно жест заключенного и раздавшийся при этом звук напомнили ему что-то неожиданно приятное. Полковник выскочил из камеры, дверь захлопнулась.

Через некоторое время она отворилась, и на пороге появился бородач — борода клоками — в генеральской форме. Недоумевающий Митя снова поднялся. Это, несомненно, была инспекция. Наличие сразу двух генералов в крепости казалось невозможным. Из-за спины генерала выглядывал Сабанеев.

— Вот-с, Гаврила Иванович, Писарев.

— Болен? — грубо спросил генерал, не приближаясь, все стоя на пороге камеры. — Чем болен?

Писарев молча показал на горло.

— Вздор! — так же грубо сказал генерал. — Ты подай мне вещественные признаки болезни. Горло — вздор!

Колючие глазки сверлили Митю насквозь. Он подивился, что глазки тут у них у всех одинаковые. Видимо, по взгляду и подбирали здешнюю команду. Если бы пришедший был чуть повыше и чуть потоньше, он смотрелся бы точной копией Сорокина. Собственно, чего же было еще ожидать? Александр Николаевич Романов выбирал тюремных служителей, а они раз и навсегда выбрали себе Александра Николаевича. Они взаимно нашли друг друга.

— Покажи горло! — вдруг сказал генерал, делая шаг вперед. Писарев отступил. Требование прозвучало особенно дико, потому что в полумраке камеры ничего увидеть, конечно, было невозможно. Но возмуцало и обращение.

— Я просил врача, — сказал с ненавистью.

— Я Вильямс, врач Петропавловской крепости, — проворчал генерал. Подойдя вплотную, он, однако, не сделал никаких попыток осмотреть Митино горло, а только попытался взглянуть в глаза. В сумраке глаза обоих, казалось, сами излучали свет, и генерал тут же отвернулся, не вынеся писаревского взгляда.

— Не лечить, а вешать всех надо! — подытожил врач результаты осмотра. Писарев стоял перед ним, с огромным напряжением сдерживаясь. Сказать, сделать что-нибудь — это было бы совсем глупо, чрезвычайно глупо, глупее некуда. Однако оскорбленное самолюбие колокотало. Только конвойный однажды сказал ему «ты». Все, даже Сабанеев, «выкали», и сейчас более всего задевало то, что врач, человек, долженствующий по профессии своей доставлять облегчение, пользовался так беззастенчиво выгодой своего положения. Тут Митя успел подумать, что самая большая глупость сейчас — обижаться на грубость очередного тюремщика. Его, Дмитрия Писа-

рева, за несколько слов, в справедливости которых он каждый миг убеждается здесь, гноят в яме, а он собирается обижаться на личное обращение и чуть было пощечину не дал генералу. Отправят на каторгу — кому лучше будет? Глупо. Он засмеялся в лицо Вильямсу, придерживая пальцами горло: смеяться тоже было больно.

— Господин полковник, — обратился генерал к Сабанееву, не отрывая взгляда от писаревского лица. — Лечить его нечего, блажь одна.

Писарев продолжал смеяться.

— Это мошенник, и более ничего. Вывести его перед сном на прогулку, десять минут гулять, потом дайте стакан зеленого. К-ха! Зеленого! И полушубок дать в камеру. Печь натопить!

Писарев осекся. Должно быть, неподдельная радость выразилась в его чертах, потому что Сабанеев сказал:

— Прогулок еще не дозволено, ваше превосходительство. И тем более водки.

— Ничего, я скажу коменданту, — так же ворчливо сказал Вильямс, — не лечить же его, в самом деле. Даром порошки изводить.

— Не дозволено, Гаврила Иванович, — твердо сказал Сабанеев.

— Вы-пол-нять! — заорал Вильямс.

— Слушаю, ваше превосходительство.

— То-то. Сбережем его для петли — в самый раз. К-ха-ха! — генерал словно бы захлебнулся смехом. — А лечить нечего. Прогулка, потом полушубком накрыться и зеленого! Зеленого! Мошенник! Мошенник, шулер, более ничего. Шулерá!

Свежий воздух дохнул в лицо, вошел в грудь, как нож. На глаза навернулись слезы. Полушубок был велик, руки не доходили до края рукавов. Словно смирительная рубашка, висел полушубок на Писареве.

Остановившись на середине внутреннего двора раве-

лина, огляделся. Треугольный в плане бастион образовывал треугольный дворик, полный зелени. Если бы взгляд мог течь на два-три метра далее, не упирался бы ежесекундно в стены, смотреть бы и смотреть на березы, в ряд высаженные по периметру дорожки, на огромную посреди дворика липу, чья макушка возвышалась над стенами и видна была, наверное, с набережной, с той стороны. Он представил себе, что стоит сейчас, скажем, у Биржи. Вот — Ватный островок с двумя-тремя небольшими постройками, справа — величественное здание Главного Адмиралтейства, а посреди, куда устремился взор, — тяжелая, грузно лежащая у воды громада Петропавловки, приколота к земле шпилем собора, словно пресмыкающееся копьём африканца. Со стороны видел, как разливается за темной громадой красно-белая вечерняя заря, переходя сквозь совсем белую полосу на небе в голубую, потом в синюю, а потом в совершенно темную, становясь самым небом, воздухом, разрывающим легкие, царапающим горло. Безо всякой водки под полущубком прошиб пот.

— Гуляй! — сказал караульный в спину.

Митя шагнул, пошел по дорожке.

На следующий день удовлетворенный Голицын велел перевести Писарева обратно в Невскую куртину. Потапов согласился. Сорокин же в это время хворал и не оспорил писаревское возвращение под свою ферулу. Сабанеев, подчиняющийся Потапову, тоже и не подумал возразить. А в конце ноября и сам Голицын избавился от Писарева: теперь Мите предстоял суд Сената. Дело перешло в I-е отделение V-го департамента. И теперь стоял на дворе тысяча восемьсот шестьдесят третий год.

Варвара Дмитриевна вернулась в Грунец в состоянии полной растерянности. Арест Мити свалился на них с Верочкою буквально как снег на голову. И за что, боже мой, за что?

Сидя в поезде, она, словно сомнамбула, все повторяла: — За что? За что?

Обращала слезящиеся глаза к Верочке, но та, укутавшись в платок, молчала в углу, только взглядывала в лицо матери и тут же отводила глаза, как будто в самом деле что-то знала. Может быть, и знала.

За несколько недель, проведенных в Петербурге, Вера успела войти в круг Митиных интересов, знакомств, за нею — она, мать, неужели не видит? — начали ухаживать некоторые Митины приятели. Тогда, в шестидесятом, Ваня Хрущов дочери не понравился, да и ей самой он не понравился тоже. Теперь же в редакции «Русского слова» Верочка бывала чуть не каждый день. Там поэты эти... Хоть Курочкины оба. Господи помилуй — второй-то, Николай, каждый день почти пьян... И Василий хорош...

Но Митя, Митя! Он эстетик, эстетиком был до недавнего времени, и его последние статьи... Последние статьи захватили в основном Верочку, которая успела — дня за два до Митино ареста — высказать ей, матери, твердое свое желание искать себя на том же поприще журналистики. Боже мой! Женщина, девушка! Все смешалось, что за время!

Она написала Шувалову письмо с просьбой разрешить ей взять Митю на поруки, увезти в деревню. Ничего противоправительственного ее сын не мог написать и тем более — сделать. Она добивалась свидания — отказ. На прием к Шувалову, а потом к набравшему силу, как ей сказали, генералу Потапову попасть тоже не удалось.

— К сожалению, госпожа Писарева, возможности такой не представляется.

И слышала все эти дни только: «к сожалению», «к сожалению», «к сожалению».

Несколько раз писала Потапову, чтобы вещи сына, ненужные для следствия, вернули ей. Тянули невесту сколько, пока не отдали. Потапов в письме сделал вид, что, ах, он только что сейчас понял, что вещей не возвращают. Мадам, примите и проч. Ее письма не передавались, Митины же письма ей доставили и сказали, что будут доставлять почти регулярно.

— Позвольте узнать, что значит «почти»?

Низенький петропавловский полковник с пронзительными глазами, принимавший ее в комендантском доме, отчеканил:

— «Почти» значит «почти», мадам. Я же советую вам, лично советую, написать сыну записку с рекомендацией открыть сообщников. Эту записку незамедлительно передам. Тотчас же.

Она встала.

— Мой сын, господин полковник, полагаю, ни в чем не виноват. Не имея сведений о том, в чем его обвиняют, я не имею возможности писать ему с подобной рекомендацией.

Они уехали с Верочкой домой: и ждать более нечего было, и жить было не на что. Она приходила прощаться к Благодетелю. Григорий Евлампиевич выглядел испуганным, взъерошенным и — одновременно — каким-то особенно надменным, чего она раньше за ним не замечала.

— Открылись ли какие-либо новые обстоятельства, Григорий Евлампиевич? — спрашивала, сидя на зеленом диване для посетителей. В редакции никого не было, редакция умерла, журнал не выходил уже несколько месяцев.

Благосветлов почему-то вздрагивал.

— Что вы имеете в виду под новыми обстоятельствами?

— Стало ли известным что-либо? Вы знаете, скажите.

Благосветлов вставал и, переваливаясь, ходил по кабинету.

— Черт их знает! — бормотал. — Черт их... простите... возьми совсем! Обстоятельства таковы, милостивая государыня Варвара Дмитриевна, что никто не безопасен в России. Никто! И я не безопасен, и любой сотрудник мой. Да-с. Дочь ваша интересуется польским вопросом... отражением оного в зеркале прессы, если можно выразиться. Так вот: не-бе-зо-пас-но. И твердо это необходимо понимать! Учитывать и знать, на что идешь!

Лицо Варвары Дмитриевны каменело.

— Простите! — Благосветлов целовал ей руки. — Простите дурака — испугал! Сейчас время переждать. И будем бороться, обязательно... Пока не знаю — как. Но будем. Журнал возобновим, хоть лоб разобью, но возобновим! — стоя посреди комнаты, он потряс кулаком и тут же сник: — А вы с дочерью пока уезжайте. Я извещу при необходимости. Все эти... Мы им еще покажем... Покажем!

— Да, — она заставляла себя улыбнуться.

С мужем у нее давно уже не было никаких отношений. Иван Иванович неизвестно что делал по хозяйству, пропадал по делам. К обеду выходил не всегда, а когда выходил — только в охотничьем костюме. Его выбрали мировым посредником после объявления воли — мирить помещиков с крестьянами. На последние деньги купил беговые дрожки, так и ездил по деревням — в дрожках и в охотничьем костюме. И прихорашивался, прихорашивался, словно красная девица, в солнечные дни даже

вуалетку прицеплял к тирольской охотничьей шляпе с пером. Она молчала, была примерной женой, молчала с первого дня свадьбы. Имение было перезаложено. Призрак нищеты вставал перед всем семейством.

Подруга Веры, Лида Цвилинева, подала мысль: уроки музыки. Слава богу, нашлись ученицы — младшая сестра той же Лиды, две дочери Коростелевых, племянница Шаховых, что жила у стариков Шаховых как дочь. Обещали еще учениц.

Имение жило само по себе, собственной жизнью. Вера только раз попробовала поговорить с отцом. Из-за закрытой двери несколько времени не доносилось ни слова, потом явственно послышалось басовое «дрянь!» и «пороть, пороть!». Вера быстро вышла из его кабинета — бледная, отец выскочил следом — красный как рак. Более они с Верой не разговаривали вообще, только по утрам Вера приседала перед отцом, выходя к завтраку, и он в ответ злобно дергал усом. О Мите запретил вспоминать за столом.

Дни тянулись — нервные, злые, наполненные страшной тревогой за все — за детей, за состояние семьи, за Митю, Митю.

Письма приходили, действительно, почти регулярно, она стала отвечать — счастье! — убедилась, что Митя письма получает, хотя, как она высчитала, с некоторым запозданием. Но получает! Она напрасно гнала от себя мысли о Митином здоровье. Он мог заболеть, как тогда, в шестидесятом году; душа его могла не выдержать. Удивительные, странные в его положении письма от Мити не успокаивали. Не может быть, чтобы он был настолько спокоен в крепости.

«Серега рара, татапа и Верочка! Давно я не писал вам, но надеюсь, что вы на меня не будете сердиться. Желал бы также надеяться на то, что вы не будете тревожиться, но знаю, что эта надежда неосуществима.

По тону твоего письма, душечка маман, я вижу, что ты почти так же грустишь и беспокоишься, как в то время, когда я был у Штейна. Не знаю, как бы мне уверить тебя, что я действительно ни в чем не нуждаюсь и не чувствую ни малейшего страдания — ни физического, ни нравственного. С тех пор как мы расстались с тобой, прошло уже более двух месяцев, и все это время я был совершенно здоров, расположение духа с начала до конца было самое ровное, светлое и спокойное. Я получил от тебя два письма, первое, писанное в Петербурге, второе — из Грунца; оба чрезвычайно обрадовали меня; родным воздухом повеяло; особенно приятные минуты доставило мне второе письмо, как более длинное и подробное...» (Там она описала хозяйство, Верочку, Катеньку, уже ставшую совсем смышленной, только с трудом удержалась от описания Ивана, его зеленой вуалетки на шляпе и порок, что продолжал устраивать мужикам! Постаралась писать как можно спокойнее, но сын, умный, взрослый ее сын и так понял все, что творится дома.) «Дурно только одно: зачем ты, мама, так страдаешь? Хоть бы ты с Верочки пример брала. Она гораздо мужественнее тебя. Как бы мне хотелось сообщить тебе хоть незначительную часть моей беспечности, которая составляет счастливейшую черту моего характера. Зачем горевать? Ведь все же это со временем пройдет и понемногу забудется, как начинает забываться мое пребывание у Штейна. Мне кажется даже, что эти волнения и испытания вместе с семейными событиями, совершившимися нынешнею весною, теснее приблизят меня к вам, а то я в самом деле начал превращаться в какую-то окаменелость. В жизни бывает хорошо получать столь сильные толчки. От этого крепнешь и умнешь. Пишите, пожалуйста, побольше».

Тон Митин был непонятен и гораздо больше пугал, чем успокаивал. А письма приходили, действительно, поч-

ти регулярно. На ее письмо, написанное по-французски, ответа не получили, она обратилась к Потапову лично, и вдруг пришло от Мити сразу три письма: «...Я здоров и, следовательно, спокоен. Особых известий нет, а это в своем роде хорошее известие...» Ясным оставалось одно — надо было самой ехать в Петербург, быть к сыну как можно ближе. Устроить хоть как-нибудь дела, может быть, еще раз перезаложить имение и ехать, ехать.

Снова обратилась к Потапову, получила казенное уведомление, что дело передано суду Сената. Заключение Следственной комиссии Потапов, естественно, не переслал:

«По производству следствия оказались виновными:

1) Баллод, по собственному сознанию:

а) в печатании возмутительных воззваний: «Офицеры» в количестве 80-ти экземпляров, «О капитане Александрове» около 500 экземпляров, «Русское правительство под покровительством Шедо-Ферроти» около 650 экземпляров;

б) в распространении этих воззваний посредством разбрасывания их на улицах и в гостиницах;

в) в покушении распространить таким же образом листок «Что нужно народу», который уже был набран Баллодом;

г) в имении у себя в количестве 9-ти экземпляров в высшей степени возмутительной прокламации под заглавием «Молодая Россия», о приобретении коей Баллод неосновательно показывал, что будто получил оную от членов какого-то революционного комитета, с которыми имел тайные свидания в Александровском парке, и

д) в заказе наборщику Горбановскому напечатать возмутительный листок под заглавием «Офицеры», который Горбановский представил начальству;

2) Писарев — также по собственному сознанию, в со-

чинении статьи возмутительного содержания под названием «Русское правительство под покровительством Шедо-Ферроти» и в передаче оной Баллоду для напечатания и распространения».

5

Как в юности, как всегда, закрывался согнутым локтем от нового дня, просыпаясь. Медленно отводил локоть, словно бы ожидая, что перед взором, в волшебном фонаре, откроется чудесная страна с горами и домами, работниками на поле, речкой, пением птиц. Своды вырастали в двух шагах от лица, сходились над головою. Глухо, сквозь кованую дверь, донеслась ругань унтера — значит, сегодня опять дежурит Павел Иванов — нечто вроде Сабанеева в простом звании. Страшная свинья. Просыпаться не хочется, не хочется.

Не человек спал, мысль спала, пока не получил разрешение писать. Не знает, как и прожил почти год в крепости. В равелине, переведенный туда, как понял по недомолвкам Борисова, для устрашения, — слушал тишину, вспоминал, начинал беситься и успокаиваться неизбежностью будущего, невозможностью и, главное, нежеланием что-либо изменить в прошедшем. Здесь, в Невской куртине, звуки, звуки — жизнь.

Над головой, кажется, над самой головой, ровно в двенадцать стреляет пушка. Бах-х! Словно физически ощущаешь, как орудие откатывает, подпрыгивает на каменных плитах. Бах-х! Вся камера гудит, будто бы отражающая звуки внутренность музыкального инструмента. Слава богу, по крайней мере точно знаешь, который сейчас час. Правда, что делать с этим знанием? Сам все писал, что никакое знание повредить не может, а тут?

И тут, пожалуйста, — вскоре понял, что и сигнал пушечный может пригодиться.

С утра начиналось хождение. Сначала врывались несколько солдат — завтрак, уборка. Наскоро махнув по углам веником, солдат начинал водить тряпкой по полу, пока на столе стояла миска и кружка. Через несколько минут дверь хлопала, штырь в замке задвигался и тут же отодвигался снова — приходил плац-адъютант. Впрочем, если дежурил, например, Русов или молодой Соколов, посещения плац-адъютанта, как правило, не было: те спокойно посиживали где-нибудь в свое удовольствие. Пинкорнелли приходил обязательно. Иногда — очень редко — сам Сорокин вставал у двери, как свеча:

— Просьбы, пожелания?

Обыкновенно просил бумаги и чернил. В первый год, когда еще не разрешали писать, Сорокин молча поворачивался и уходил: шпага задевала за дверной косяк. Потом на эту просьбу выговаривал, сводя губы:

— Вам дают достаточно.

Просил книг.

Иван Федорович Пинкорнелли Сорокина хвалил, рассказывал, что каждому отправляемому в Сибирь арестанту от коменданта выносили чашку кофе на дорогу и давали отличный тулуп. Митя усмехался:

— Я в Сибирь не собираюсь, Иван Федорович.

Пинкорнелли, сидя на Митиной табуретке, крутил головой:

— Не зарекайтесь.

Сигнал пушки означал конец утренних явлений разных чинов. Тут же вслед за выстрелом раздавался первый удар соборного колокола, начиналась служба. И другие, тихие и осторожные удары слышались Мите.

Стук в стену прозвучал, как знак вопроса: «Тук? тук?» Однако он уже пробовал стучать в стену, но ответа не получил, только часовой заорал и заматерился. Теперь Митя, кинувшись, ответил:

— Тук! Тук!

Сразу раздалось несколько ударов. Напряженно вслушиваясь, пытался разгадать систему, по которой можно было бы понять передаваемое. Несомненно, нужен был телеграфный ключ. Но он не знал телеграфного ключа! Может быть, алфавит? Нет, не получалось. Несколько дней сосед стучал настойчиво, долго, начинал с первым звоном колокола; Митя только отвечал ему: тук... тук... тук... И наконец понял, на вторую неделю только и понял, мыслитель.

Весь алфавит оказывался разделенным на шесть строк: первая строка — а, б, в, г, д, вторая — е, ж, з, и, к, третья... Первое число ударов означало, в которой строке стоит нужная буква, второе число ударов — которая по счету буква в строке. Первое, что передал сосед, оказалось: «кто». Митя простучал: «Писарев». За стеной замолчали. Митя стукнул один раз. Молчание. Простучал «кто».

В коридоре закричал солдат:

— Не стучать! Отойти от стены! Курва!

Митя лег на кровати; сердце колотилось, словно это сердце само подавало сигналы заключенному.

В соседней камере у стены стоял Баллод. После окрика Баллод отошел от стены и тоже лег. Это было в первые недели после очной ставки, когда еще ничего не определилось и неуспокоенные мысли, сомнения, подозрения, упорство и страх — все смешивалось в голове; казалось, разорвется черепная коробка.

Потом-то Баллод со своим соседом напротив, студентом Медико-хирургической академии Стахеевым, переговаривался, подходя к дверям, — ясно было слышно. Когда солдат уходил в дальнюю часть коридора пить чай или курить, а старший наряда унтер сидел в караулке, переговариваться можно было совершенно свободно. Баллод даже стучал по жестяной кружке, выбивая тюремную азбуку. Стахеева Баллод учил на правах отсидевшего не

один день. Это было потом, потом. А тогда Баллода охватило смятение. Рядом в камере был Митька, он, Баллод, его и засадил.

— Тук! — тихо раздалось в девятом номере. Писарев приподнялся на кровати.

— Тук!

Он подошел к стене, опасливо оглядываясь на железную шторку двери. Солдат мог заглянуть каждую минуту, и за несколько проведенных в камере недель Митя успел узнать, что соглядатай может подкрасться и на цыпочках, как это делал, например, усердствующий Сабанеев.

— М... и... т... я... — медленно складывались слова соседа, — п... р... о... с... т... и... п... е... т... р...

Буквы Писарева складывались в слова еще медленнее.

— Н... е... с...е...р...ж...у...с...ь... н...а...д...о... б...ы...л...о... ч...т...о...т...о...с...к...а...з...а...т...ь... н...а...с...т...о...я...щ...е...е...

Он хотел добавить, что фантастический рассказ Баллода о встрече в Александровском саду, о коем Голицын у него, Писарева, спрашивал, привел его в восторг и, дескать, что делать, одною фантастикой Голицын не удовлетворится, а он, Писарев, теперь будет все равно гнуть свою линию, а потом, как и советовал Борисов, сознается в написании чего при расстройстве чувств. Хотел передать все это, приготовился к долгой беседе по тюремной азбуке, когда раздался истошный крик: «Старшего!»

Кто-то из тюремщиков, значит, стоял у их соседних камер.

Сапоги старшего затопали по коридору.

— Спишь, сурок!.. Спишь!

— Никак...

— Я те покажу «никак нет!». Спишь... — дальше последовала матерщина. — Спишь? Говори!

— Точно так, вашскобродие! Кха!

— Курил, подлец?

— Точно так, вашскобродие!

— То-то,— проверяющий неожиданно успокоился.—

Открывай! Открывай восьмую!

Рядом раздались характерные, знакомые уже наизусть звуки: ключ резко вошел в замок, повернулся в нем, дужка замка с резким звуком выдернулась из петли, надетая на петлю скоба откинулась, стукнув в дверь, и сама дверь, мерзко царапая каменный пол обшивочным железом, провернулась в петлях.

— Петя! — закричал Писарев.

— Молчать в девятой! А ты выходи! Лицом к стене!

Открывай пятую!

— Митя! — закричал и Баллод.— Меня переводят в...

— Молчать!

С Баллодом что-то сделали, не ударили, но, видимо, зажали ему рот и скрутили, послышался топот еще нескольких ног, звуки открывания — совсем глухие, дальние — еще одной камеры, возня. Все стихло.

— Петя,— сказал Писарев в стену.— Петя.

Шторка его камеры открылась, показались подстриженные сабанеевские усы.

— Об этом пожалеете,— четко сказал Сабанеев в камеру. Стоя у стола спиной к окну, Митя молча, медленно покивал головой в ответ на ясное предупреждение. Митиных глаз Сабанеев не увидел. И хорошо, что не увидел.

Несмотря на угрозу, санкций никаких почему-то не последовало, но с тех пор соседние камеры оставались, как правило, пустыми. Утром просыпался — никакой гимнастики не делал. Пинкорнелли советовал ходить. Нет, он не ходил из угла в угол, делал это, во всяком случае, редко. Гимнастику давал голове — думал, думал, думал; подходя к окну и вставая на цыпочки, всматривался

в угол комендантского садика, куда выводили гулять, в крашенную охрой стену соседнего здания. Если бы камера его выходила на другую сторону коридора, можно было, наверное, увидеть Неву, противоположный берег, скользящие по свинцовой, колеблемой ветром глади корабли. Так представлял себе в равелине, так мечтал и в Невской куртине, словно видел корабли и лодчонки, а за ними на противоположном берегу — трехэтажный дом, принадлежащий прежде фельдмаршалу Кутузову. Там, пойдя чуть левее, начиналась и Гагаринская улица с кушелевским палаццо...

Вспоминал, как получилось разрешение писать.

Если бы не Суворов, если бы, вернее, не самолюбие Санкт-Петербургского военного генерал-губернатора Александра Аркадьевича Суворова... За оное самолюбие дергали Суворова уж второй год и сам заключенный № 9 Невской (переводили на некоторое время в Екатерининскую по разным номерам, там сидел) куртины, и тамап, и Благодетелю. Усмехнулся: по себе знал, что самолюбие — движущая сила.

В мае шестьдесят третьего тамап приехала в Петербург.

Некоторое время они молча смотрели друг на друга: приведенный на свидание Митя в который раз был простужен, выглядел — что уж, не в пансионе мадам Суффле, как часто говорил любимый начальник Сорокин! — выглядел не лучшим образом. В камере нещадно топили, к одной стене было — не подступись, а от второй, оконной, несло холодом, холодным был и пол. Митя простужался здесь регулярно, и простуды свои называл месячными — приходили точно, как по расписанию.

Варвара Дмитриевна смотрела, словно впитывая в себя, в память свою новое, прежде незнакомое лицо сына. Черты его стали угловаты, нос торчал остро, как у викинга, уголки губ твердо сжатого рта смотрели вниз, и неболь-

шой, но сильный подбородок, отцовский упрямый подбородок, выделялся, оканчиваясь, как и у Ивана, решительной ямочкой. И странно — в Петропавловке у Мити лучше стали расти волосы. Аккуратно зачесанные, как и всегда, слева направо, лежали они одним коричнево-рыжим крылом, открывая высокий лоб. Митя улыбался, тогда печать тоски и усталости, неизгладимо лежащая на его простом, таком русском лице, исчезала. Улыбка слетала с него, и лицо казалось грубо-солдатским, словно бы крестьянским, недворянским.

Все эти наблюдения промелькнули в ее голове, пока она, не отрывая взгляда от сына, усаживалась в торце огромного дубового стола, на другой стороне которого сидел Митя. Стоял тут, как предмет мебелировки, солдат в шинели — безо всякого оружия, тарашил глаза в пространство, и офицер — старик с обвисающими тараканьими усами, штабс-капитан. Ее удивило, что мундир на нем не голубой, жандармский, а черный, армейский, с красным воротником. Офицер прихрамывал — непонятно, на какую ногу, кажется, на обе, и, видимо, плохо слышал. Во всяком случае, на ее вопрос, заданный на лестнице, сколько продлится свидание, он не ответил. Не услышал или не пожелал отвечать?

— Ну, вот, — сказал Митя, и это были первые его слова после того, как они обнялись, — видишь, все хорошо, жив я и здоров.

— Вижу.

Он засмеялся:

— Действительно здоров. А простуда — ерунда, право слово. Ну, что, как вы все. Рара? Верочка? Кахас?

— Хорошо, — коротко сказала она, не вдаваясь в подробности. О подробностях говорить не хотелось: Иван становился, кажется, невзрастеником от своих общественных обязанностей — бывало, дома из-за ерунды плакал навзрыд, как ребенок, тут же, с еще не просохшими

от слез глазами, орал на Веру, на Катеньку. Катенька не слушалась, росла букой, а Вера... Вера с начала года поступила гувернанткой к Цвилиневым, дома бывала редко. Об этом последнем никак нельзя было говорить — Митя огорчится уж точно. Поступила гувернанткой — да, надо же на что-то жить.

— Хорошо.

Он знакомо усмехнулся одной стороной лица, закосил глазом. Молча, как только что мать, сам вглядывался в нее.

— Ну, ну.— Повернулся: — А это, позволь представить тебе, мой самый лучший хранитель Иван Федорович Пинкорнелли, плац-адъютант крепости.

Она смотрела, не понимая Митино тона, одновременно и насмешливого, и чуть ли не любовного, во всяком случае — дружественного.

Пинкорнелли — ну точно как Митя! — усмехнулся одною щекой, кивнул солдату:

— Трубку мою из кордегардии, на столе лежит, живва!

Голос штабс-капитана был хриплым, резким, как тут у них у всех.

Солдат протопал в дверь, и тут же в руках у сына появился маленький комочек бумаги, свернутый шариком. Варвара Дмитриевна ощутила легкий, невесомый бумажный шарик у себя на ладони. Прежде чем она, ошеломленная, успела сообразить что-нибудь, Пинкорнелли, отворачиваясь, прохрипел:

— В сумочку!

Сын улыбался:

— Сразу же передай Благосветлову.

Она, не сразу попадая пальцами, сунула шарик в сумочку. Лучший хранитель!

Пинкорнелли прохрипел в сторону:

— Будет дежурный плац-адъютант подпоручик Со-

колов — ничего не передавать ни под каким видом. Вы поняли, Варвара Дмитриевна?

Она только кивнула, краснея с лица.

— А кто-нибудь другой — так когда будете здороваться, передадите незаметно из рук в руки, вынесете хоть в башмаке, под ногою.

Митя засмеялся, усталые лучики побежали по его новому, обострившемуся лицу:

— Не беспокойтесь, Иван Федорович, тамап у нас великий конспиратор.

— Я вас не подведу, — поняв все, твердо сказала и она, — не беспокойтесь.

Тот покивал:

— А при Соколове — ничего, и ни разговора лишнего... Да-с. И советую вам добиваться разрешения для Дмитрия Ивановича — писать. Официального разрешения. Чернышевский пишет в самом рavelине. Кто разрешил, не знаю. Кажется, издатель добился, господин Некрасов.

— Я знаю, — сказала она, в волнении приподнимаясь, — мне уже говорил господин Благосветлов, издатель «Русского слова». Об этом в Петербурге знают все.

С грохотом ввалился солдат, протянув трубку и кисет офицеру, вытянулся. Пинкорнелли кивком указал ему на прежнее место, тот опять встал у двери, а Пинкорнелли сел на свободный стул, положил ногу на ногу, не спеша набил трубочку, закурил.

— Дым не мешает, мадам?

Ивану Федоровичу шел седьмой десяток, а чин имел он мальчишеский, и то недавно полученный. Только что был поручиком — во второй раз в жизни. Поручик Пинкорнелли — давно это было — однажды перед строем полка дал пощечину полковому командиру. Вспоминать то не хотелось об этой истории. Грязный, развратный мздоимец полковник дал делу соответствующий ход,

ни до какой дуэли с любителем справедливости себя не допустил. Поручик Пинкорнелли подвергся арестованию, а затем — трехлетнему заключению в подземном каземате, после чего — солдатом был отправлен воевать Шамиля. Только после шестого ранения Иван Федорович получил прапорщицкие погоны. Здесь, в Петропавловской крепости, куда переведен был, как ветеран, на спокойную службу, старался делать все, что мог, для заключенных. Помнил свое сидение. Помогал в рамках присяги, разумеется. Скажем, способствовать побегу иного заключенного, на что ему намекали посетители литератора Михайлова, он решительно не мог и разговоры об этом решительно же тогда и пресек. Но лишать человека чтения, свиданий, прогулок?

Комендант, видевший в Пинкорнелли такого же, как и он сам, заслуженного солдата, к Ивану Федоровичу благоволил, в обиду не давал и только что вот не дал списать в инвалидную команду, наоборот — представил к чину. Доносы Сабанеева на Пинкорнелли Сорокин всегда раздраженно обрывал, хотя обычно к Сабанееву прислушивался.

— Не мешает, так буду курить, мадам. У Дмитрия Ивановича всегда курю, хе-хе, и он со мною за компанию курит папиросы. А потом, во избежание тяжелого духа в каземате, проветриваем помещение. Заключенного выводим на сей момент проветривания! Гулять!

— Благодарю, — почти прошептала.

— Так вот, разрешение писать при личном благоволении могут дать, — он педантично начал загибать пальцы: — Василий Андреевич князь Долгоруков, Главный начальник III Отделения его величества канцелярии, Петр Андреевич граф Шувалов, начальник корпуса жандармов, сейчас он, правда, несколько отошел от наших дел, и слухи ходят, что государь назначает его в Эстляндию губернатором... весь северный край ему отдает...

Да... Зато, — опять загнул палец, — есть Александр Львович Потапов...

— Имею честь быть знакомой заочно, — Варвара Дмитриевна поджала губы.

— ...Потапов, исполняющий обязанности начальника штаба корпуса жандармов и управляющего III Отделением его величества канцелярии.

— Еще Александр Николаевич Романов... — тихонько сказал Митя, опять улыбаясь.

Пинкорнелли не обратил внимания на вольность, он продолжал загибать пальцы.

— Думаю, мадам, вам надлежит обратиться к Александру Аркадьевичу Суворову-Рымникскому, князю Итальяскому, графу, Санкт-Петербургскому военному генерал-губернатору...

Она пошла на Морскую в канцелярию Суворова.

«...Таким образом, ваше сиятельство, семья остается без средств к существованию совершенно. Литературные заработки сына — единственное, что поддерживало меня и двоих моих дочерей...»

6 июня Сорокин держал в руках письмо Суворова. «Любезный...» — было обращение. Любезному Сорокину с легкостью необыкновенной и легким слогом предписывалось: заключенному Писареву литературную работу разрешить, исходя из соболезнований к слезам матери его и двух сестер, коих он поддерживает литературным трудом, и поскольку аналогичное разрешение уже было дано литератору Чернышевскому, заключенному Алексеевского равелина. Все написанное Писаревым подлежало передаче в канцелярию генерал-губернатора, словно он, Сорокин, вообще тут пешка, запертая на одной шахматной вертикали, и никак не может сам распорядиться... Сорокин отнесся с этим делом к Долгоорукову, тот решил лично переговорить с губернатором.

— Ваше сиятельство, Александр Аркадьевич! Да он ведь сообщает матери, что, дескать, является самым деятельным сотрудником «Русского слова» — журнала, известного, ваше сиятельство, откровенно вредным направлением, ваше сиятельство, Александр Аркадьевич.

Сановники прогуливались после обеда у императрицы по наружной анфиладе загородного дворца. Стояло начало лета, цветы на клумбах распускались и благоухали — императрица любила цветочный запах. Теперь казалось, что терпким духом ранних цветов несло от расшитых, словно весенние поля, цветами золотых мундиров Суворова и Долгорукова.

Внук великого полководца вышагивал легко, выворачивая поблескивающие при каждом шаге сапоги, словно учитель танцев. Долгоруков рядом с ним выглядел тяжеловесным. Ссориться Долгоруков не хотел.

— И много пишет, князь? Моя канцелярия передает...

— Александр Аркадьевич, ваше сиятельство! Пишет очень много. Потапов и Сорокин передают — очень много. И бумаги требует. А что получается из писания?

Суворов молчал. Мать заключенного Писарева, жена дворянина, произвела на него хорошее впечатление. В конце-то концов, что за беда? Он так считал искренне: что за беда? В самом деле! И он распорядился. Он, князь Суворов-Рымникский, распорядился. Его канцелярия осмотрит написанное этим Писаревым и, если не встретится затруднений к печатанию, передаст в редакцию. Что ж тут?..

— Василий Андреевич, голубчик, но ведь существует цензура, не так ли? И общие меры, направленные, э... Я полагаю... — он оглянулся на каменную физиономию лакея, стоящего недвижимо у стены, словно рим-

ская ваза, оглянулся, взял Долгорукова под локоток и повернул. Пошли обратно.

— Полагаю, затруднения тут надуманные, — сказал мягко. — Мерами карательными и мерами предупредительными, коими вы сами, князь, вполне управляете, можно ограничить высказывания этого молодого человека впредь.

— Об одних высказываниях ли речь?! Помилуйте, батюшка Александр Аркадьевич! Чернышевский писал в Алексеевском равелине в самом! И что ж — сами изволите видеть последствия! Кто Чернышевскому разрешил писать? Высказывания! Последствий не видим — вот беда наша российская самая коренная! Живем одним днем!

Суворов не ответил. Не так давно генерал-лейтенант Сорокин по службе доставил ему обращение к государю еще одного заключенного — Николая Серно-Соловьевича, взятого вместе с Чернышевским. Он генерал-губернатор, государю возмутительное послание передать не решился, носил оное всегда с собою, не доверяя даже письменному столу в кабинете, много думал на сей счет, однако ни к какому выводу так и не пришел. Этот Серно-Соловьевич, кажется, как-то приходил на прием, просил разрешения открыть писчебумажный магазин. Или другой какой-то Серно-Соловьевич? Тот, припоминается, назвался купцом, а этот — литератор...

«Теперь наиболее образованная часть нации, видимо, опередила в своих стремлениях Правительство. Если Правительство не займет своего природного места, то есть не встанет во главе всего умственного движения Государства, насильственный переворот неизбежен, потому что все правительственные меры, и либеральные и крутые, будут обращаться во вред ему, и помочь этому невозможно. Правительству, не стоящему в такую пору

во главе умственного движения, нет иного пути, как путь уступок. А при неограниченном Правительстве система уступок обнаруживает, что у Правительства и у народа различные интересы и что Правительство начинает чувствовать затруднения. Поэтому всякая его уступка вызывает со стороны народа новые требования, а каждое требование естественно рождает в Правительстве желание ограничить или обуздать его. Отсюда ряд непрерывных колебаний и полумер со стороны Правительства и быстро усиливающееся раздражение в публике...»

Суворов чуть было не полез в карман за документом, но решил — сейчас только решил! — не показывать его Долгорукову, а передать в Сенат. В конце концов, долго держать такое письмо тоже представлялось небезопасным.

«Теперь в руках Правительства спасти себя и Россию от страшных бед, но это время может быстро пройти. Меры, спасительные теперь, могут сделаться чрез несколько лет вынужденными и потому бессильными. О восстановлении старого порядка не может быть и речи; он исторически отжил. Вопрос стоит между широкой свободой и рядом потрясений, исход которых неизвестен. Громадная масса энергических сил теперь еще сторонники свободы. Но недостаток ее начинает вырабатывать революционеров. Поэтому я и говорю, что преследовать теперь революционные мнения — значит создавать их.

Правительство обладает еще громадную силою; никакая пропаганда сама по себе не опасна ему; но собственные ошибки могут быстро уничтожить эту силу, так как она более физическая, чем нравственная».

Да, господа, страшновато. И что-то, что-то в этом, действительно, есть.

— Отдаем приказы, разрешения, помилуй меня грешного! А там что бог даст... — Долгоруков все причитал

и причитал, но вдруг осекся, увидев лицо генерал-губернатора.

— Ваше сиятельство,— сказал Суворов сухо,— государь вверил мне руководство в столице империи, и оное руководство я осуществляю. Петропавловская крепость — часть столицы.

— А мне,— пискнул Долгоруков,— вверил государь порядок во всей империи!

Они постояли некоторое время друг перед другом. Суворов первым поклонился, Долгоруков ответил. Быстрыми шагами оба пошли прочь.

Вечером того же дня Суворов получил бумагу от своего подчиненного, коменданта Сорокина. Долгоруков наложил резолюцию на донесении Потапова: «Оставить без последствий», а на уведомлении губернатора о разрешении заключенному Писареву и впредь заниматься литературным трудом Сорокин начертал: «Просьба г-жи Писаревой подлежит разрешению Правительствующего Сената. Разрешение такового есть как особенная Высочайшая милость. Но заниматься литературным трудом в казематах Высочайше воспрещено».

Это переполнило чашу терпения. Указывать себе Суворов прежде не позволял и впредь не позволит. Ну да... поторопился. Наедине с собою можно признать: поторопился. Или скажем так: поторопились, ибо все виноваты, поторопились с разрешением Чернышевскому и теперь вот Писареву... Но получать эдакие отписки от подчиненных — нет-с, покорный слуга. Сорокин конечно же боевой генерал, но изволит подчиняться его, Суворова, указаниям. Дед был в таких случаях крутехонек, и он, внук, будет крут тоже!

Суворов дал указание снестись с Сенатом, получил сенатское уведомление, что препятствий для занятий Писарева литературной работой Сенат не ставит. И уже совершенно официально написал Долгорукову и особо

резко Сорокину: Писареву писать разрешено. Причем в отношении Сорокину присовокупил, что все рукописи Писарева незамедлительно должны доставляться ему, Суворову.

Не так давно государь император Николай Павлович выразил желание стать личным цензором литератора Пушкина. Это факт известный. А он, князь Суворов, станет личным цензором литератора Писарева. Очень, очень хорошо!

Сенат не торопился с приговором. Только 25 мая 1864 года принял Сенат определение по делу «Карманной типографии»:

«1. Бывший студент Спб. университета Баллод виновен по собственному сознанию, с обстоятельствами дела совершенно согласному: а) в принятии участия в заговоре противу правительства и в заведении тайной типографии для печатания возмутительных противу оногo сочинений, б) в печатании сих сочинений и в) в распространении их посредством подкидывания. Первое из преступлений его составляет злоумышление противу правительства, предусмотренное в св. зак. угол., в главе о государственных преступлениях, в ст. 283. Но как это злоумышление Баллода открыто правительством при самом начале его, и посему никаких вредных последствий от оногo не произошло, то на основ. последующей 284 ст. он подлежит наказанию по 3 или 4 степени 21 ст. уложения. Обращаясь к выбору одной из двух степеней наказания, Сенат находит, что неискренность Баллода в сознании, ибо он, пойманный правительством на самом преступлении, не будучи в состоянии скрыть этого, тщательно утаивал своих сообщников, и нераскаянность в его преступных действиях, ибо при самых последних показаниях своих он, вместо подробного и точ-

ного изложения всех обстоятельств дела, как требовал от него Правит. Сенат, дозволил себе иронически отзываться о своем преступлении, сравнивая себя с охотником, идущим на медведя, — приводят Сенат к убеждению, что он должен подвергнуться строжайшему из приведенных наказаний, т. е. по 3 степени 21 ст. За напечатание и распространение посредством разбрасывания возмутительных против правительства воззваний Баллод, на основ. 285 ст., подлежит наказанию по 5 степени 21 ст. По совокупности преступлений, на основании 165 ст., он должен быть подвергнут строжайшему из вышеприведенных наказаний и в самой высшей оною мере, т. е. лишен всех прав состояния и сослан в каторгу в рудниках на 15 лет, а затем поселен в Сибири навсегда.

2. Кандидат Спб. унив. Писарев виновен, также по собственному сознанию, с обстоятельствами дела вполне согласному, в составлении возмутительной статьи, заключающей в себе опровержение брошюры Шедо-Ферроти и преисполненной дерзких и оскорбительных выражений и против правительства, и против самого Государя Императора. Сочинение это, написав, он отдал Баллоду, который сказал ему, что, может быть, ему удастся его напечатать. При таком положении дела, обращаясь к определению свойства преступления Писарева, Сенат находит, что полных требуемых законом юридических доказательств к признанию Писарева виновным в составлении сочинения его с целью распространения в деле не содержится, ибо передача им статьи своей Баллоду не ведет еще к заключению, чтобы он непременно старался распространить ее, хотя по тем же обстоятельствам он в преступлении сем навлекает на себя сильное подозрение. Таким образом, не будучи признаваем вполне изобличенным в покушении распространить свое возмутительное сочинение, он положительно виновен в составлении его. Такое преступное действие закон называет

приготовлением и началом покушения к возбуждению бунта и подвергает виновного в оном наказанию, в 3 ч. 285 ст. изложенному, т. е. заключению в крепости на время от 2 до 4 лет с лишением некоторых прав состояния. На основании Указа 17 апреля 1863 года п. 7, заключение это должно быть сокращено на одну треть, а при обстоятельствах, уменьшающих вину, оно может быть уменьшено и наполовину. Посему, обращаясь к суждению о мере наказания Писарева и сокращении оного по Указу 17 апреля, Сенат находит, что первоначальное упорное заперательство его в преступлении, а потом неискренность и в самом сознании, несмотря на все делаемые ему увещания, ведут к тому, что он должен понести наказание, ему следующее, в высшего оного мере, а сокращено должно быть оное на основании вышеприведенного Указа Сенату только на одну треть, т. е. он должен быть лишен некоторых прав и преимуществ и подвергнут заключению в крепости на 2 года и 8 месяцев, а по предмету покушения на распространение сочиненной им возмутительной статьи оставлен в сильном подозрении. Писарев во время производства дела сего ходатайствовал о смягчении ему наказания, оправдывая себя тем, что преступление его было плодом минутного увлечения и что он — человек впечатлительный до такой степени, что даже подвергался умопомешательству, от коего и был пользуем. Такое ходатайство Писарева Сенат признает не заслуживающим уважения, потому что статья, составленная им и заключающая два листа весьма мелкого письма, написанная притом не в один раз, а с значительным промежутком времени, доказывает обдуманность преступного его действия...»

Более двух лет Петропавловки, естественно, не шли в зачет приговора. Два года и восемь месяцев начинались со 2 июня 1864 года, когда приговор утвердил Александр II.

В конце концов получается, что замкнутое пространство способствует концентрации мысли.

Так подумал и усмехнулся наедине с собою, сам себе усмехнулся. Выработалась привычка говорить в одиночестве с воображаемым оппонентом. Вслух, слава богу, сам с собою не разговаривал, следил за этим. За несколько лет заключения чуть ли не привык — «благодарите всевышнего, Дмитрий Иванович, что вы не в Шлиссельбурге» — к своему положению. Мысли лились свободно.

После реформы позволено было обличать, обличать, обличать. Что же? Все обличение вылилось на мелкое чиновничество. Бессмысленное дело! Надо реформировать среду — это совершенно справедливо говорят господа обличители. Но вот как? Как? «До сих пор видим перед собою два громадных факта, из которых вытекают все наши неприятности и огорчения. Во-первых, мы бедны, а во-вторых, глупы. Мы бедны — это значит, что у нас, сравнительно с общим числом жителей, мало хлеба, мало мяса, мало сукна, мало полотна, мало платья, обуви, белья, человеческих жилищ, удобной мебели, хороших земледельческих и ремесленных орудий, словом, всех продуктов труда, необходимых для поддержания жизни и для продолжения производительной деятельности. Мы глупы — это значит, что огромное большинство наших мозгов находится почти в полном бездействии и что, быть может, одна десятитысячная часть наличных мозгов работает кое-как и вырабатывает в двадцать раз меньше дельных мыслей, чем сколько она могла выработать при нормальной и нисколько не изнурительной деятельности... Кто может, тот работает, но кое-как, потому что потребность на эту работу слаба, и потому самый страстный актер будет холоден и вял, когда ему придется играть перед пустым партером».

Так записал; подумал, что мозг необходимо постоянно поддерживать движением, как и тело. Мой мозг, подумал, в прекрасном состоянии работы, чего не скажешь о мозгах большинства, истомленных продолжительным бездействием. Все эти мозги надо расшевелить. Вот главное!

Чтобы разбогатеть, надо поумнеть, а поумнеть никак не получается, потому что бедность не дает. Вот и поди тут! «Есть, однако, возможность пробить этот заколдованный круг в двух местах. Во-первых, известно, что значительная часть продуктов труда переходит из рук рабочего населения в руки непроизводящих потребителей. Увеличить количество продуктов, остающихся в руках производителя, — значит уменьшить его нищету и дать ему средства к дальнейшему развитию... Во-вторых... браться только за те работы, которые могут принести обществу действительную пользу. Такая экономия умственных сил необходима везде и всегда...»

Вот люди — Рахметов, Базаров. Эти люди реалисты, строгие и последовательные реалисты. Их задача реформировать среду? Да! Отлично. Но остальные что же? Как могут реформировать среду люди, в этой среде выросшие, впитавшие ее в себя самое? По меньшей мере странно, господа, требовать от людей того, чего они никак совершить не могут. Надо прежде всего почувствовать себя свободными от уставов того общества, в котором мы благополучно пребываем, тогда уже можно ставить задачи реформы самого общества. Это же ясно, как божий день! Базаров, Рахметов — реалисты, исповедующие принцип экономии умственных сил в условиях, пока эти силы не на что тратить. Они — реалисты, потому что вполне отчетливое стремление к пользе называется реализмом, а единственная польза, которую они могут принести, — возбуждать других своим примером! Копить силы! Освободиться от гнета условностей и пу-

стых привычек! Добиваться полной нравственной, полной умственной свободы! И — для себя самого, для своего ближнего. Ведь «каждого соотечественника придется уговаривать поодиночке и каждого придется, при этом удобном случае, обучать тем элементарным истинам, которые человек непременно должен знать для того, чтобы иметь какое-нибудь мнение...»

Мало того, что умственный труд должен быть направлен ко вполне определенной цели, он должен цели достигать. Достигать! Иначе все напрасно.

«Вам нужен строевой лес, а под руками у вас мера желудей; конечно, если положить эти желуди в землю, то лес вырастет, но, рассчитывая на этот лес, подрывать плотников — это было бы с вашей стороны опрометчиво. А кстати, подрывать-то некого, потому что плотники, подобно строевому лесу, сами находятся также в зачаточном состоянии. Как же тут прикажете поступить мыслящему реалисту?» Необходимы знания, конкретные знания, а не метания из угла в угол или стояние в каком-нибудь одном углу с опущенными руками. А «общество не знает ровно ничего и не умеет даже отличить живую деятельность мысли от бессознательной игры слов и оборотов... Десятки людей будут жаловаться на то, что исследователь пишет неясно, и ни один из этих ноющих десятков не потрудится разъяснить и переработать собственными силами то, что он находит неудовлетворительным». Между тем «надо только понимать и любить общую пользу, надо распространять правильные понятия об этой пользе... Словом, надо думать». Надо думать!

Надо думать. Вот главное...

И учить общество думать — более важной задачи нет сегодня...

Между тем Антонович, скрывающийся почему-то под псевдонимом «Посторонний сатирик», все вопрошал, со-

гласна ли редакция «Русского слова» со статьей «Нерешенный вопрос» г. Писарева. Странный вопрос, не решенный, — усмехнулся каламбуру, — только г. Антоновичем. Конечно, редакция согласна, коль скоро статью поместила. Жаль только, что название «Реалисты» заменено. Но это не так важно.

Решив не поддаваться заносчивому тону, быстро тогда написал пояснения к своей статье, предлагая дураку Антоновичу ответить на три вопроса:

Существуют ли люди, подобные Базарову?

Полезны ли они для общества?

В чем заключается приносимая ими польза?

В Базарове и заключалось все дело.

Нового героя литературы, замеченного им, Дмитрием Писаревым, Антонович считал бездельником.

В Базарове заключалось все дело. Но дело не в том, что Базаров — герой литературы. Базаров — герой жизни, и вот этого-то Антонович как раз и не мог понять. Сегодня Базаровы — отрицают, завтра они будут утверждать. В конце концов, это и есть революция, конечная цель всего нашего мышления. Он написал там, в «Реалистах»: «Конечная цель всего нашего мышления и всей деятельности каждого честного человека все-таки состоит в том, чтобы разрешить навсегда неизбежный вопрос о голодных и раздетых людях; вне этого вопроса нет решительно ничего, о чем бы стоило заботиться, размышлять и хлопотать...»

Да, сейчас надо экономить силы, экономить силы и умственные и физические, чтобы...

Встал, тратя силы, энергично заходил по камере — нет, не будем силы тратить! Привычно лег, заложил руки под голову. Чтобы... «...чтобы сосредоточить внимание и умственные силы общества на самом незначительном числе жгучих и неотразимых вопросов первостепенной важности».

Написал:

«Евлампиев! Эту заметку, по моему мнению, следует напечатать в октябрьской книжке. Но это только мое мнение, а ничуть не требование. Я вовсе не хочу насильствовать твое решение и разгонять сотрудников «Русского слова». Поэтому объявляю тебе заранее, что, как бы ты ни поступил, я ни в каком случае не выражу и даже не почувствую ни малейшего неудовольствия».

Евлампиев принял все буквально и напечатал от себя, что, дескать, г. Тургенев старался отнестись к Базарову, как к представителю современного реализма, беспристрастно, а критике, дескать, оставалось только разъяснить и дополнить упущенные романистом черты своего героя...

В характере ли Базарова смысл? Его статья предлагала читателю новую систему взглядов, которую, надо отдать ему должное, Евлампиев сумел в «Объяснении» втиснуть в прокрустово ложе чисто литературной статьи...

Антонович отвечал, Писарев отвечал в ответ, безоглядно ринулся в драку Зайцев, в конце концов перешли на личности; полемика кончилась, как считали в «Русском слове», полной их победой.

К тому времени Вера Писарева была великой сторонницей таланта брата. Митя затронул струны душевные — первым в России заговорил о молодежи как о некоей отдельной силе в обществе, первым заговорил о настоящей свободе — освобождении человеческой личности. И неважно, кто эта личность — мужчина, женщина. Главное, человек должен поступать осмысленно и свободно, свободно!

У Веры давно уже, почитай, с приезда в Петербург, была своя жизнь. Наедине с собою сходя по этому поводу с ума, Варвара Дмитриевна ни слова Вере не говорила. Вера могла теперь ответить резкостью не хуже Мити. Кажется, у дочери были близкие отношения с Ни-

колаем Соколовым, сотрудником «Русского слова», отставным подполковником. Человек, конечно, красоты не-описуемой, прямо какой-то Садко, но уж очень... очень уж пьет. Бесшабашен, удалая голова. Такие девки от веку сбивают с панталыку, а потом что?

— Вера,— лишь спросила однажды,— Николай Васильевич что, не придет сегодня?

— Нет,— отрезала Вера,— и больше вообще не придет.

Варвара Дмитриевна не нашлась что сказать.

— Мама, теперь меня послушай,— Вера в свою очередь высказывала явное замешательство.— Я получила предложение. Но это неважно.

— Так. Господи, твоя воля. Как же неважно? — она тяжело задышала.— Кто он? Тоже из редакции? — это прозвучало уже с настоящей болью, и Вера улыбнулась:

— Да не мучай себя, бога ради! Не из редакции. Хотя... Это человек нашего круга! — лицо дочери снова окаменело.

Варвара Дмитриевна поднялась.

— Как я понимаю, ты уже приняла решение?

— Вовсе нет. Я просто предвещаю его появление. Пойми: речь не о том, чтобы встречать его как жениха,— она помолчала,— думаю, этого не будет. Да! Но это замечательный человек, и он хочет издавать Митю! — она выкрикнула, снова изменив обычной сдержанности: — Издавать нашего Митю! Отдельными выпусками! Ты представляешь! Говорит, что это цель его жизни!

— Ох,— татап взялась за сердце и снова села на диван.— Да кто он?

— Отставной офицер и дворянин, но главное, повторяю, порядочный человек. Флорентий Федорович Павленков. Он в отставку-то вышел, потому что не пожелал терпеть казнокрадства. Сейчас он перевел курс физики

с французского, издает его на свой счет в типографии Куколь-Яснопольского и располагает иметь барыш. И на вырученное издать восемь выпусков Митиных сочинений! И в дальнейшем собирается... Ну, о дальнейшем речь в дальнейшем и пойдет, — Вера выросла совершенной педантической. — А пока он придет сегодня... Словом, — она чуть покраснела, — это не Николай Васильевич, вот и все, что я хотела сказать. И только.

— Вера, Мите скорее передать! Сказала бы утром, а теперь когда? Может быть, записку?

— Да... Но нечего спешить. Мы переговорим с Павленковым об условиях, потом пусть он сам, если это удастся сделать, переговорит с Митей. В следующий раз мы с ним к Мите и пойдем. И... не беспокойся. Ты понимаешь?

Она покивала головой. Жизнь кончилась, и старшие дети уже не нуждались в ее опеке, Вера прекрасно обеспечивает себя переводами в журналах. Теперь, должно быть, надо было больше думать о младшей, Катеньке.

В каземате Митя взял письмо этого молодого человека, Павленкова. Вот так вот, несмотря ни на что, ни на что, ни на стены эти, ни на господина Сорокина, Дмитрий Писарев будет не только печататься, но и издаваться томами. Ныне и присно и во веки веков!

«Милостивый государь, Дмитрий Иванович!..»

Вера при свидании наговорила с три короба комплиментов Павленкову. За глаза. Сорокин ему в свидании с заключенным Писаревым отказал. Разрешение только родственникам, и баста. Будто этим он что-нибудь изменит.

«Я желал бы приобрести право на издание полного собрания Ваших сочинений. Что касается до расплаты с Вами, то я могу в начале января вручить Вам 600 рублей. Остальные надеюсь выдать через небольшие промежутки времени таким образом, чтоб вся сумма была

погашена не позже конца апреля или (самый последний срок) середины мая... В пробном выпуске я бы желал поместить «Базарова», «Нерешенный вопрос», «Новый тип», «Разрушение эстетики». Впрочем, я всегда буду согласен на Ваш выбор. За издание всех Ваших сочинений я могу предложить Вам 2500 рублей».

Трудя-ля-ля!

«...Во всяком случае, не думаю, что оно займет более года...»

Заживем, заживем, да еще как заживем! Вот и слава — проверка моей самоуверенности, о которой только и слышишь всю жизнь отовсюду. Пожалуйста: слава — самая лучшая проверка. Слава — признание в тебе общественном смысле, дарования и полезности.

Заживем!

7

В коридоре горела свеча. Медный шандал, укрепленный в круглом проеме над дверью, недавно, после небывало строгого инспекторского осмотра комендантом, генерал-лейтенантом Сорокиным приказано было почистить, но свечи оставались прежние, и копоть, оседая на тусклый блеск чищенного металла, с треском отлетала от огня. Неизбывный запах сырости (куртина подходила к самой воде), горящего воска, нагара — все это смешивалось с острым ароматом дегтя и табака. Легкие у караульных были хоть куда, в затхлой атмосфере куртины витал характерный дух казармы. Тускло блестел шандал, тускло отзывались блеском пуговицы дежурного часового; трепещущий огонек только сгущал мрак. Еще света прибавлял обычно печной огонь, но сейчас дрова прогорели, а новых подбрасывать часовому лень; изразцы почти не излучали тепла, угли багрово мерцали еще полчаса назад, теперь почернели, потухли...

Часовой с кряхтением встал, отвел железную шторку на двери камеры, сунул в окошко усы. Мокрые усы на топорном лице часового зашевелились.

— Пишеть,— сказал часовой вполголоса,— пишеть, бисов сын.

Митя адресовался лично к Сорокину — такой был порядок.

«Ваше превосходительство, милостивый государь Александр Федорович, позвольте мне беспокоить ваше превосходительство следующими почтительными просьбами: 11 января нынешнего года издатель «Русского слова» г. Благодетель заказал мне для своего журнала срочную работу и 20 января г. Благодетель доставил к господину полковнику Сабанееву те книги русские и иностранные, которые необходимы мне для выполнения указанной работы. Я просил господина полковника передать мне эти книги и получил от г. полковника ответ, что об этих книгах послан запрос в канцелярию господина военного генерал-губернатора. 1 февраля я снова виделся с Благодетелем и узнал от него, что от г. военного генерал-губернатора уже прислано разрешение выдать мне эти книги. Тогда я снова обратился с просьбой к г. полковнику, но г. полковник ответил мне, что он не имеет разрешения от вашего высокопревосходительства. Вследствие этого я имею честь убедительно просить ваше высокопревосходительство о разрешении иметь у себя необходимые книги, доставленные г. Благодетелем...»

Маленькая фигурка заключенного, сидящего у стола, дрогнула, сидящий повернул к часовому стриженую рыжую голову. Часовой знал, что заключенный сейчас криво усмехнется, и потому поспешно отпрянул, шторка с железным скрежетом опустилась, стукнула в дверь, тяжелым стуком откликнулся приклад, ударивший в каменный пол.

— Пишетъ,— еще раз сказал солдат в темноте, усаживаясь и доставая кисет. Он страшно удивлялся и самому слову, а действие, им означаемое, приводило часового в полное уже изумление.— Пишетъ,— опять повторил он, словно стараясь проникнуть в смысл колдовского заклинания.

«...Теперь, ваше превосходительство, следует вторая моя просьба. 7 января нынешнего года я просил исходатайствовать мне у г. военного генерал-губернатора позволения читать «Московские ведомости» за текущий год. 11 января г. Благосветлов привез это позволение к г. полковнику Сабанееву. Когда я стал просить г. полковника о том, чтобы мне было представлено право пользоваться этим позволением, то г. полковник ответил мне, что он не имеет разрешения от вашего превосходительства. Вследствие этого я имею честь убедительно просить ваше превосходительство о дозволении читать «Московские ведомости» за текущий год. С глубочайшим уважением имею честь быть вашего высокопревосходительства покорный слуга Дмитрий Писарев».

Усмешка проявилась на лице узника. Он мгновение помедлил и, макнув перо, приделал к четкой подписи под ровными, без единой помарки каллиграфическими строками широкую наглую завитушку, встал, подошел к двери и стукнул в эту дверь кулаком.

— Я желаю видеть плац-адъютанта,— спокойно сказал он в возникшие перед глазами усы, перечеркнутые решеткой-глазком.— Штабс-капитана Пинкорнелли.

Усы не отвечали.

— Ты понял?

Шторка на глазок опустилась. Писарев вернулся к столу и снова начал писать.

«I. По вопросу о том, какие книги нужны Писареву для его работ:

Я желаю продолжать статью «Исторические идеи

Огюста Конта», которой начало было напечатано в «Русском слове». Для этой работы мне нужно иметь:

1) «Русское слово» за ноябрь 1865 года, чтобы видеть, на чем я остановился и не сделано ли в этой статье каких-нибудь изменений.

2) August Conte. Cours de philosophie positive. Volumes vet VI.

3) Бокль. «История цивилизации в Англии».

4) Tocqueville. «L'Ancien regime et revolution».

II. По вопросу о том, кто позволил Писареву видеться с матерью от 10 час. утра до 2-х часов пополудни.

По чьему позволению это делалось — этого я не знаю, знаю только, что меня обыкновенно уводили на свидание в 10 часов или в начале 2-го, а приводили в каземат в 2 часа или в начале 3-го. Канд. университета Дмитрий Писарев».

Писарев поднял голову от письма и снова, в который раз, усмехнулся. Это было занятно, что Сорокин спрашивает и приказывает письменно донести, почему и как он, заключенный № 9, получил разрешение на свидания. Свидания продолжаются по 4 часа — льгота исключительная. Выходит, Пинкорнелли все устроил совсем тихо. А генерал-лейтенант не ведает, что у него в крепости делается. И Сабанеев... И Сабанеев не расстарался, не вынюхал еще.

Писарев взглянул на непозволительную свою подпись — «канд. университета». Заключенный должен был подписываться заключенным, а никак иначе. Не в первый раз подумал, что игра с огнем не доведет до добра, с таким трудом выхлопотанное матерью разрешение писать, работать — одно и поддерживало душевные силы. Но не быть самим собою не мог, не мог. Тем более что он, сидя у Сорокина, продолжает оставаться первым сотрудником «Русского слова». Одно это придавало

ему бог знает каких свежих чувств. И гордости, и фанфаронства по-прежнему было не занимать.

Больше трех лет он здесь.

Мука отразилась в только что насмешливых чертах Писарева. Маленькое личико сморщилось, он сильно зажмурил глаза, провел по сжатым векам пальцами. Свидания могли прекратиться в любой момент, могла прекратиться и переписка, могла прекратиться и работа. Останутся тайные пересылки с помощью Пинкорнелли. А останется ли сам Пинкорнелли? Иван Федорович стар.

Никто не видел, как уже настоящий страх выразило лицо узника, как он, словно затравленный зверек, огляделся, будто впервые видел темные каменные стены, кровать, стол. Писарев вскочил, сжал виски руками. Крик готов был сорваться с уст, страшным усилием воли заключенный подавил его. Глухое грудное урчанье — так собака стонет во сне — на миг повисло в камере и пропало. Загремел ключ в замке, дверь распахнулась. Борисов вошел в полной жандармской форме при каске с орлом, ступил в полосу света. Скуластое лицо его со щеточкой усов выражало государственную твердость.

Писарев встал.

— Здравствуйте. Я ждал господина Пинкорнелли, но это, право, все равно... Вместо Ивана Федоровича пришел Иван Алексеевич. Изволите присесть, Иван Алексеевич? Будьте как дома, милости прошу.— Тут он подумал, что пытается уязвить собеседника совершенно напрасно. От Борисова он не видел ничего плохого, самого же Борисова не видел почти год, с тех пор как обретается вновь в своем номере 9.

Губы у жандарма чуть дрогнули, но он не улыбнулся. Он лишь кивнул часовому, тот вышел. Бум-м! — дверь захлопнулась, ключ повернулся в двери. В тишине шторы Писарев со скрежетом придвинул к столу табуретку и сел. Усталость наваливалась на плечи. Борисов

неотрывно смотрел на заключенного, и, казалось, никакая мысль не отражалась в этом взгляде. Писарев сидел, подперев голову кулаками.

— Дмитрий Иванович! — наконец сказал жандарм, и заключенный вздрогнул. — Дмитрий Иванович, вы помните, что такое Алексеевский равелин? Вас могут перевести обратно. Сорокин сильно старается об этом.

По-прежнему бесстрастно глядя, Борисов протянул руку и ловко снял со свечи нагар, камера осветилась. Писарев молча поднял голову, и жандарм смог увидеть, как побледнел заключенный.

— Я знаю, вы неоднократно обращались к господину военному генерал-губернатору князю Суворову. Вы... вы понимаете, Дмитрий Иванович, что в Алексеевском равелине он уже не сможет вас защитить?

Писарев, стараясь понять, что значит этот визит, что значит неподвижный взгляд посетителя, не отвечал ничего. Теперь Борисов смотрел в стену, словно видел за нею широкую перспективу уготовленной для заключенного будущности. Потом перевел взгляд на него самого.

С тем же отрешенным лицом жандарм снял с головы каску, на лоб ему выплеснулись русые мальчишеские пряди.

— Я сжег все, чему поклонялся, — бесстрастно сказал Борисов, — и возврата к прошлому нет. Мне... сказал Иван Федорович. Он сейчас не может прийти. Давайте записку, Дмитрий Иванович.

Писарев молчал, веря и не веря, стараясь прочитать что-либо на каменном лице тюремщика. Записка к Благосветлову была готова, передать ее должен был Пинкорнелли. Отдать записку... этому? Малый, что называется, свойский, но до таких откровений у них не доходило.

— Понимаю, — Борисов не изменил ни интонации, ни выражения лица, — понимаю. Но я даже знаю, где у вас лежит записка. Вот здесь. Под подушкой.

Писарев сделал движение, но длинная рука капитана уже вытащила сложенный в несколько раз бумажный комочек.

— Вам ничего не остается, как довериться мне, Дмитрий Иванович. Вы понимаете?

Писарев кивнул.

— Я, собственно, пришел, чтобы сказать: не извольте беспокоиться. Даже... если опять равелин. Разум нельзя заточить. Его превосходительство господин комендант хлопочет напрасно.

Теперь Писарев неподвижным взглядом смотрел на диковинного жандарма. Тот же поднялся, кажется, хотел протянуть заключенному руку, но не сделал этого и шагнул к двери.

— А, — Митя прокашлялся, — как же, — он кивнул на дверь, — часовой? Порядок? Ведь вы не должны были приходить?

— Бросьте, Дмитрий Иванович! Что они понимают!

Тут на лице Борисова впервые отобразилось какое-то чувство.

— Чурбаны! — презрительно бросил он. И закричал: — Открывай!

Тогда, в равелине, он, проходя в Митину камеру, убеждал его сознаться, говорил посмеиваясь, пошучивая, и Писарев, мучительно думающий, как выкрутиться, не знал, верить или не верить, отвечал: «Да не писал я ничего, Иван Алексеевич, по дружбе и говорю». Борисов смеялся. «По дружбе» — это он первый ввел в их обиход.

— Вы человек впечатлительный, увлекающийся, мало ли чего, ха-ха-ха, могли по неопытности понаделать, — говорил тогда Борисов, словно бы подсказывая...

— Надоела вам служба ваша, Иван Алексеевич, — сказал сейчас Писарев в спину капитану. — И очень хорошо.

Благосветлов направлялся в Петропавловку со странным чувством в душе. И раздражение, и настоящая злоба, и стыд, и раскаяние — все смешалось.

Почти два года работа шла более или менее исправно. Статьи в журнале (в его журнале, черт возьми! Не он ли один тянет воз?) вышли почти без цензурных поправок, но бывало, что щипали, и довольно основательно. Погромов пока не производили, хотя, памятуя прежнее, можно было бы опасаться и настоящих цензурских вакханалий. Сейчас же Благосветлов чувствовал себя капитаном большого корабля, осторожно, но и уверенно ведущего его сквозь рифы, мели и прочие всяческие преграды и препоны. То, что «Русское слово» — корабль большой, огромный корабль, не вызывало сомнений ни у кого, и прежде всего у него, у Благосветлова.

Журнал становился первым журналом России, первым демократическим журналом, утверждающим революционное начало в отечественной публицистике. После того как «Русское слово» влезло в спор с «Современником» из-за тургеневского Базарова и, можно утверждать, победило в этом споре, «Современник», милостивые государи, становится менее радикальным, чем его журнал.

Имя Григория Благосветлова войдет в историю новой, будущей России, которая, несомненно, встанет на «обломках самовластья». «И на обломках самовластья напишут наши имена» — так выразился поэт. Об отношениях с «Современником», зашедшим, надо признаться, в тупик, надо было сейчас поговорить с Писаревым. Два единственных — ну, будем говорить прямо — два единственных революционных журнала в России не могут между собою грызться — на радость охранителям. Всю свару, собственно, Писарев и затеял, из-за Писарева все и началось, Варфоломей Зайцев подхватил и перегнул через

край. Неудержимый человек Варфоломей, ей-богу, неудержимый.

Об этом тоже сейчас надо было поговорить, наконец определить сложившиеся по-новому отношения.

Писарев, конечно, самый деятельный сотрудник журнала, вон сколько им написано с момента разрешения писать, с самой первой статьи «Наша университетская наука»! Две-три статьи в месяц сдавал, в некоторых книжках журнала его материалов набиралось до пятой части!

Благосветлов остановился — по теплому времени шел пешком, прогуливался, приводя в порядок мысли, — и с набережной посмотрел на приземистую громаду Петропавловки. С Большой Невы поднимался туман, курился у подножия лежащего исполина и тек вверх, к проглядывающему сквозь него золотому шпилью. Толком золота и не разглядеть было. Мда, писать там... писать там, конечно, ох, не сахар... Не сахар! Он ли не понимает!

Словно споря с невидимым собеседником, Благосветлов прижал к груди стиснутые кулаки, подался вперед.

Он понимает! Но редактор журнала он, Благосветлов, а Дмитрий и Варфоломей — сотрудники, сотрудники. И соответственно...

Между тем Дмитрий в крепости положительно, ха-ха, обнаглел. Ну, право слово, обнаглел! Что же у него там в каземате происходит, если он на волю через мать передает послания, вроде того, что передал зимою? Как был, ха-ха, петушком, так, глядите-ка, и остался. И сегодня в разговоре о деле журнальном надо, наконец, определить и дела коммерческие. Он, Благосветлов, хозяин журнала, и точка.

Григорий Евлампиевич вытащил из кармана специально взятое с собою старое письмо. Взял, чтобы увещевать Митю... Напрасно взял, выбросить надо. Писарева только могила исправит. Начал перечитывать:

«Бесстыжие твои глаза! Ты меня огрел при расчете на 77 р. 50 к. сер., которых я тебе не подарю ни за какие коврижки. Слушай! В расходе никаких разногласий быть не может. Но число написанных мною листов определено у тебя неверно. По-твоему выходит с чем-то 64 листа, а по-моему 66 листов и 5 страниц.

Вот тебе подробный расчет по страницам и по рублям...

«Университет- ская наука»	(две статьи)	128	стр.	320	р.—	к. сер.
«Очерки ист. труда»	I	68	»	165	» —	»
» » »	II	62	»	155	» —	»
«Историч. эск.»	I	78	»	195	» —	»
» »	II	65	»	162	» 50	»
«Цветы невин- ного юмора»		42	»	105	» —	»

И так он доводил до последней тогда статьи «Промахи незрелой мысли» и, словно банковский служащий, подводил итог и писал под чертой:

«Остается	729	» 50	»
Мать получила только	651	»	
Остается за тобою	77	» 50	»

...Впрочем, так как я мог ошибиться, я уполномочиваю Верочку проверить по книжкам журнала, верно ли обозначено у меня число страниц...

Ха! И действительно, явилась сестра его Вера, чрезвычайно упрямая и своевольная особа, недаром со своевольной же Варфоломея сестрой они приятельницы, и действительно собралась было — проверить!

Он был тогда взбешен. Взбешен, хотя Дмитрий и написал тут же, что готов отказаться от прибавки в 10 рублей за лист, если журналу сейчас туго. Но и тут же

называл возможный свой отказ жертвой и — «от моих 77 с полтиной я даже и для спасения журнала не отступлюсь. Хоть тресни, а подавай мои деньги...».

Этот всегдашний писаревский тон, и в крепости не утраченный! Благосветлов тут же накатал ему, дураку, письмо и Вере отдал, та глазенками сверкнула и ушла, сказала, передаст. Как у них там налажена передача-то? При свиданиях Писарева с ним, с Благосветловым, все время рядом толстый полковник Сабанеев и каждое слово ловил, казалось, уши у него разбухают от напряжения. Как там они передают?..

Благосветлов машинально сунул письмо обратно в карман, хотя только что собирался бросить. Вздохнув, косолапо двинулся в сторону перевоза.

Вера принесла второе от Писарева письмо, в ответ на то, в раздражении нацарапанное им в редакции. Надобно было объясняться окончательно. Иначе, понимал, станет страдать дело. А этого допускать было нельзя, никак нельзя! «Русское слово» — его детище, и обидно было бы упускать его из рук, тем более что столько положено труда, столько перца сыпано в грязные зады всякой сволочи!

Благосветлов подождал немного возле перевоза — шлюпки не было. Зеленая под солнцем вода мерно плескала в парапет. Достал часы — оставался почти час времени до назначенных одиннадцати.

Что это он и поднялся ни свет ни заря? Медленно пошел кругом, прикинув, что за час как раз доберется до кронверкского пролива — с другой стороны крепости. Там стоял деревянный мосток.

Цифры плясали в голове, хотя надо было думать о смысле печатаемых им статей куда больше, чем о деньгах. Однако не мог заставить себя не думать об этом.

Как-то Курочкин устроил безобразную сцену: на обычной встрече в редакции, когда вечер был уже в разгаре,

вдруг начал требовать прибавки. Он, Благосветлов, сначала пробовал успокоить рифмоплета, а потом просто послал подальше. Так этот голодранец заорал:

— Тут все наше! Наше! Ты на сотрудниках наживаешься!

Это ему-то в лицо!

Сбивая со стола посуду, Курочкин бросился к стенам обдирать картины, одна-таки свалилась, ухнула в пол, вылетела из рамы — отличный был натюрморт, не хуже голландского.

С Курочкиным, конечно, расплевались, он из редакции ушел. Ушел — пес с ним, но крик этот «все наше!» надолго засел в душе. Это как же так? Кто поднял журнал и вытянул? Курочкин? Не Курочкин и даже не Писарев. Ему хорошо там сидеть, а тут войей с цензурой, ездят в типографию, причем каждый фактор норовит обмануть!.. Тиблен вон прогорел и сбежал с деньгами. Кому выкручиваться? Опять Гришке Благосветлову? Писареву хорошо там строчить статью за статьей да проверки наводить! Ему хорошо!..

Снова остановился, пораженный вопиющей несправедливостью этой мысли. Густо вздохнул, широко зашагал дальше, простучал каблуками по деревянному настилу мостика, быстро двинулся вдоль крепостной стены.

...Час, когда Благосветлов, редактор и издатель нового журнала «Дело», заведет себе мебель красного дерева, выезд четверней и эфиопа-лакея на запятках кареты, настанет еще не скоро. Но тогда, на еженедельных вечерах «Дела», никто и не подумает пускать «подлеца» хозяину, все станет идти чинно-благородно. Григорий Евлампиевич стяжает к тому времени всеобщее уважение. Но дух разночинца и, господа, революционера, дух свободного мыслителя пребудет в нем, несмотря ни на что. Тверд, груб, но прост, ясен останется Григорий Евлампиевич навсегда, не станет чураться общего дела никогда.

Ведь и журнал будет у него так называться — «Дело». Прежде всего — общее дело. Через пятнадцать лет, вместе со всеми — да, смотрите, и Благосветлов пришел и говорит со слезами на глазах, — участвуя в жестокий мороз в похоронах корректора Королькова, простудится без шапки-то, в три дня скончается от воспаления легких. Избранные сочинения единожды издаст Лизавета Александровна, вдова...

Варвара Дмитриевна ждала у ворот точно в одиннадцать. Ее фигура в черном платье и темном платке ясно вырисовывалась на светлом фоне открытых ворот.

«Черт, как по покойнику одевается», — подумал Благосветлов, снимая цилиндр и целуя ручку Варвары Дмитриевны.

— Вот, — она повернулась, — позвольте вас рекомендовать: Благосветлов Григорий Евлампиевич, редактор и издатель моего сына!

Титул «редактор моего сына» прозвучал, как невесть какой. Флигель-адъютант! Генерал свиты! Член Государственного совета! Благосветлов снова вспыхнул от самолюбивых мыслей. Неясно было, кому его представляют, но тут из-за полосатой будки караульного вынырнул рябой старикашка в подполковничьих погонах и, представьте себе, протянул руку!

— Петр Петрович Кандауров, плац-майор здешней крепости, — сказал старичок, словно «здесьняя крепость» находилась на Аляске, где-нибудь у черта на рогах, а не в центре столицы.

— Петр Петрович нам с Верочкою дал приют на время пребывания в Петербурге, — так же внятно произнесла Варвара Дмитриевна, — мы здесь, в крепости, и живем теперь. Так что нынче существенных затруднений не станет, Григорий Евлампиевич.

— Ну, — Благосветлов развел руками, не зная, чем он, собственно, и здесь недоволен.

Старичок-боровичок, этакий майор-от ворот¹, словно исполняя упраздненную должность, кивнул караульному, тот скрылся за воротами. Они втроем остались посреди соборной площади.

Старичок смерил взглядом Благосветлова, от чего тот несколько стушевался и пришел в себя. «Вот сейчас посажу тебя, голубь, в каземат, узнаешь, каково там», — говорили голубые глазки нового знакомца. Фамилия Кандаурова была Благосветлову известна: любитель чужие книги читать, передаваемые Писареву, читать, а потом не возвращать, зажуливать.

Часы на башне собора пробили одиннадцать и завели — «тир-ли-трили-три-ли-ли», положенный на сей час мотив.

— Пойдемте, господин Благосветлов, — странно сказал Кандауров, будто бы собираясь выполнить высказанную взглядом угрозу.

Писарев уже сидел — один сидел, солдат стоял за дверью! — в знакомой Благосветлову комнате комендантского дома, вытянув руки поверх исцарапанной доски стола, сидел, улыбаясь. Благосветлов не видел Писарева всего несколько недель и теперь с удивлением рассматривал его.

Из обшлагов сюртука выглядывали у Писарева худые желтые кисти с голубыми ногтями, как у покойника, но сам он почему-то казался чуть ли не пополнившимся. Возможно, этому впечатлению способствовали появившиеся у него курчавая рыжая борода и редкие, но весьма нахальные, как у маркера, усики. Писарев, видимо, был очень доволен своим новым видом и засмеялся:

— Не узнаешь? Садись, — он приглашал, словно хозяин. — Книги принес? Давай! — Вскочив, жадно бросился к книгам. — Так... так... Молодец...

¹ До начала XIX века — одна из офицерских должностей в крепости.

Кандауров, вздохнув, уселся в угол комнаты к камину и пропал там, хотя, конечно, должен был проверить и просмотреть передачу. Митя с подполковником и не поздоровался, никак не выразил ни почтения к тюремщику, ни вообще какого-либо отношения к нему, из чего Благосветлов заключил, что то ли Кандауров у Писарева свой человек, то ли Писарев у Кандаурова; во всяком случае, сегодня они уже наверняка виделись и сегодняшние вопросы свои решили. Благосветлов pokrутил головой, удивляясь.

— Ладно! — Писарев сгреб пачку книг и отложил на угол стола. Был необычайно оживлен. — Давай, Григорий Евлампиевич, выясним наши отношения. Твое последнее письмо, — Благосветлов оглянулся на тюремного соглядатая, все-таки письмо передавалось тайно, но старичок, казалось, просто-напросто спал у пустого каминного зева, — твое последнее письмо страдает крайней неопределенностью выражений, милый мой. Требуются, воля твоя, комментарии.

— Ну, давай комментарии, — сказал багровый Благосветлов.

— От тебя, от тебя комментарии! Ты пишешь, что, дескать, я буду предлагать «Русскому слову» условия, а ты будешь решать, принимать их или же нет, смотря по, изволишь ли видеть, какой-то «нравственной деликатности наших отношений», — кавычки были подчеркнуты особо язвительной интонацией. — Что это за нравственная деликатность такая?

— Я буду печатать или нет, — упрямо брякнул Благосветлов, — смотря по твоим условиям. Я редактор. Хотя и прекрасно знаю, что ты и Зайцев желаете управлять журналом сами. Причем ты — отсюда, из крепости. — Благосветлов пожал плечами и еще раз оглянулся на дремлющего плац-майора. — Если ты существующими условиями недоволен, ты вправе предлагать новые.

а я, редактор, вправе принимать их или не принимать.

— Нет, миленький, — легко засмеялся Писарев, — это ты новые условия предлагай. Я же намерен остаться при старых — 50 рублей за лист и четвертую часть барышей. И отношения редактора и работника, — тут Благодетель попытался сделать слабый протестующий жест, — работника, думаю, должны основываться не на нравственной деликатности, что мало доступно пониманию, а просто на взаимной выгоде. Вот и все, — Писарев побарабанил пальцами по столу. — Который час? В двенадцать придет Сабанеев... Да, так вот: мне выгодно писать, а тебе выгодно меня печатать. При чем тут какая-то нравственная деликатность, я не понимаю.

— В любом случае прошу меня избавить от полицейских ревизий. Я это писал и повторяю.

— Вот что, Григорий Евлампиевич! Полемиические красоты побереги для печати, — Писарев выказал намерение подняться, но остался сидеть на месте и только руки сложил на груди. Глаз его закосил на Благодетель.

— Я к тебе на квартиру заушников подсылаю, что ли? Этих... полисменов? Насильно меня в «Русском слове» никто не удержит, а сам уходить я из него не желаю — запомни это твердо. Уйти сейчас значило бы отказаться от жатвы с того поля, которое я сам засеял вместе с другими сотрудиниками и тобою.

— Ну, спасибо, вспомнил.

— И если твоя нравственная деликатность не возмущается тем, что я могу с этого поля причитающуюся мне долю урожая не получить, то на такой нравственной деликатности отношения строить, воля твоя, очень мудрено!.. Нам не выгодно расходиться и мы не разойдемся.

— Ха! Ты вечно со своею выгодою.

Писарев низко кивнул головою, очень довольный.

— Что совершенно согласуется с моею бессмертною теорией последовательной утилитарности и систематического эгоизма.— Засмеялся и снова стал серьезным: — Кроме того, наш разрыв был бы нарушением наших общественных обязанностей. Это, если желаешь знать, надо учитывать прежде всего. Вот так, Евлампиев. За книги спасибо, начатые статьи я все равно закончу, возьмешь ли ты для «Русского слова» или же нет,— встал.— За сим прощай.

Он вдруг шагнул и, потянувшись, обнял Благодетеля. На глазах у того выступили слезы.

— Подожди,— сказал Благодетель, шмыгая носом.— Я тебе на сладкое приготовил... блинчики. Князь Суворов разрешил мне видеть тебя раз в неделю. Это будет гораздо полезнее, чем передачи через твою маму. Я с нею,— Благодетель опять озлобился,— совершенно запутался с книжными расчетами. В общем, я вижу, что вся ваша фамилия решительно настроена произвести у меня...— Хотел сказать «обыск», но запнулся, «полицейские ревизии» здесь более уже не подходили.

— Ну, ну, договаривай.

— Изволь. Относительно книг мне с вами со всеми не размежеваться во веки вечные, если я не представлю сигнатуры книжных магазинов.

— Может быть.

— Изволь! — чуть не закричал Благодетель.— Изволь! Я брошу все и начну этим заниматься. «Может быть...» Может быть, подтвердить тебе присягой под колокольным звоном что-нибудь? Например, то, что Зайцев врет, будто это он тебе передает книги... Зайцев вечно готов везде воду мутить... Лорон, например, свежий и неразрезанный тебе был доставлен, а Зайцев делает пометки на полях... Последний раз уплачено до сорока рублей за книги, затерянные,— покосился на дремлющего Кандаурова,— уж не знаю, где затерянные... А на



твою долю я отношу только четырнадцать рублей и тридцать копеек...

Писарев засмеялся:

— Помнишь!

— Да! Одна «История» Богдановича стоит семь рублей, между прочим! В одном шестьдесят четвертом году мною потрачено до пятидесяти рублей на тебя. И книги эти из крепости не вернулись. Где они, спрашивается, оседают?

Кандауров переменял положение и дремал теперь, подперев щеку другой рукой.

— Я же те книги тебе в счет не поставил, так как понимаю же твое положение!

— Ну, спасибо,— сказал теперь Писарев.

— Пожалуйста.

— Ладно, хватит,— с досадой сказал Писарев,— давай прощаться.

Он встал, вскочил Кандауров, на секунду в комнате повисло молчание, и Благосветлов, понимая, что то, что он сейчас произнесет, уже не может иметь никакого значения, все-таки сказал:

— Я сообщу тебе в следующий раз порядок наших будущих счетов по журналу.

Писарев, не оглядываясь, уже входил в узкую дверь.

9

Зимой пред Митей вновь предстала Раиса, Раиса! Митя в тот день соображал плохо — ночью чуть не угорел от печи. Дыму напустили во весь коридор; расслаиваясь, дым заползал в камеры и ел глаза не хуже рассеянного зимнего света каземата. Из коридора доносилась непрерывная ругань унтеров: в три часа пополудни солдат Губин заснул, закрыв раньше времени заслонку одной из печей. Солдата унесли, заключенные по камерам кашляли.

Было видно, как, вытекая из-под двери, дым тек к окну. Митя, превозмогая боль в висках, наблюдал за дымом, стараясь не слышать доносящиеся из коридора голоса.

После завтрака вошел Пинкорнелли, и Митя встал. Сегодня должна была прийти Верочка, но так ломило всего, что не хотелось даже вставать, чтобы видеть и Верочку, вставать, одеваться, идти по морозу.

Пинкорнелли внимательно посмотрел на Митю, оглядел камеру.

— Чай не пили сегодня.

— Не хочу, Иван Федорович.

— Надо. Кипяток — первое дело при угаре. И грудь растереть. Ну-ка...

Он плеснул себе на ладонь из остывающей кружки и, не спрашивая Митю, энергичными движениями провел ему горячим от подвздоха до горла.

— Да что вы, я сам! — Митя сделал несколько ленивых движений.

— Сам...

Пинкорнелли повернулся и настежь открыл дверь камеры. В проеме сейчас же показался старший наряда. Пинкорнелли кивнул:

— Так оставь. Сюда больше всего зашло... Одевайтесь, одевайтесь, Дмитрий Иванович, невежливо заставлять дам ждать. Да и на воздух.

Значит, с Верочкой пришла какая-то из подруг. Верочка усиленно сватала его, что, по его мнению, было явно преждевременно, да, преждевременно. Хотя с ее легкой руки он даже затеял длительную переписку с Лидой Цвилиновой, их соседкой по Грунцу, которую, надо признаться, он даже девочкой совсем не помнил. Затееял переписку и предложил даже руку и сердце — заочно. Потом переписка прервалась. Цвилинова не отвечала, видимо, посчитав странным такие предложения от заключенного каземата, странными передаваемые свернутыми

в комочек письма. А ему самому стало стыдно: ничего глупого в их переписке не было, он бы и не мог никаких глупостей написать, но стыдно было обманывать женщину. Он продолжал любить Раису, хотя в письмах к Цвилиной сей факт отрицал.

Чем черт не шутит, может быть, Цвилинова и пришла.

Одеваясь, Митя посмеивался. На самом деле не верил в эту затею.

Свежий морозный воздух начал выдувать остатки угара из головы. Пока прошелся быстро — солдат, шедший следом, почти не поспевал — до резиденции Сорокина, окончательно разогрелся под полушубком: хорошо! Пинкорнелли открыл дверь, и Писарев увидел глаза Раисы. Он непроизвольно сделал шаг назад, и она засмеялась:

— Да я так и знала: убежит!

Митя бросился к ней. Была Раиса в немецком глухом платье неопределенного болотного цвета, и, может быть, именно потому лицо ее казалось несколько бледным, зеленоватым, осунувшимся. Только глаза, глаза оставались теми же, родными, любимыми, и Писарев, конечно, не замечал, как изменилась мадам Гарднер.

— Прошу сесть! — деликатно напомнил Пинкорнелли. Сели по сторонам стола.

В шестьдесят третьем Раиса заболела — кажется, это была печень.

В письмах к маман и к Верочке — отношения, испорченные было после Митино ареста, когда Митя заявил матери сгоряча, мол, в том, что с ним произошло, виновата Раиса, и Варвара Дмитриевна немедля слова Мити передала адресату, — отношения, испорченные было тогда, теперь восстановились, и в письмах Раиса отчитывалась о пребывании в мужнином доме, его родственниках и прочем. В общем, у Гарднера оказалась какая-то фарфоровая фабрика. К удивлению Писа-

ревых, можно было жить. Но здоровье, здоровье Раисы вдруг пошло никуда. Она не смогла родить, муж упрекал ее за это... Хотя, наверное, виновата была печень. С некоторым злорадством — что уж там! — Митя, помнится, писал к Цвилиновой, что, дескать, как хорошо получилось: это не он, Писарев, остался с носом, а Гарднер получил в жены насквозь больную женщину, да еще и с невозможным характером. Так что, дескать, Лидия Осиповна, никакой ревности с вашей стороны быть не должно — ревность ни на чем не основана, я Раису выбросил из сердца вон и страшно рад, что вышло так, как вышло. Да, писал...

Теперь Митя — как несколько лет назад, как всегда — впитывал, принимал в себя бесконечно любимое лицо, жил им.

Год назад Раиса уехала в Швейцарию, оттуда в Швальбах на воды, оттуда тоже писала — больше всего к Верочке. По приезде и Верочка, и татап упростили ее прийти к Мите. Ведь все, что было, — давнее, а ему станет приятно! Его надо поддержать нравственно. Раиса! Ну, Раиса!

Ничего не было необычного в желании доставить минуты радости заключенному. Ведь ему приятно будет встретиться с подругой детства! Не так ли, право же? «Что же, пойдем», — сказала, выслушав Веру. Вера была сдержанна, такой оставалась всю жизнь...

— Да борода-то какая у тебя теперь, борода! Замечательная борода! Митя! Не сбивай ни в коем случае, слышишь?

Писарев, не зная, как справиться с переполнявшим его счастьем, подпер лоб рукою — голова кружилась; утвердил локоть на столе, закрыл глаза.

— Да что с тобою?

— Угорел, — тихонько подсказал сзади Пинкорнелли.

Раиса засмеялась, Вера улыбнулась.

— Напрасно, мадам, веселитесь. Вся Невская куртина сегодня угорела сплошь, солдат в коридоре угорел на смерть. Здесь и такие случаи бывают. Каземат-с.

— Боже мой...

Митя вскочил, минутная слабость прошла; вскакивая, ударился головой о низко висящую жестяную лампу.

— Ничто меня в могилу здесь не сведет! — радостно сказал, потирая голову. — Разве что эта лампа! А более ничто и никто!

Солдат заглянул в комнату и снова, по знаку Пинкорнелли, прикрыл дверь.

— Раиса! Раиса! Я здесь пишу, работаю — это главное. Понимаешь?

Она, улыбаясь, глядела на изменившегося — конечно, он стал старше, даже старше, появились морщинки у глаз, складки на лбу, кожа стала бледной, а не розовой, как прежде, и эта борода и усы! — смотрела на изменившегося Митю, с добрым, простым чувством узнавая его прежнего, всегдашнего, по-дружески радуясь, что тюрьма не сломила его.

— Да я все твои статьи читаю. Если не достаю журнал, так мне мама или Верочка припасают оттиски.

— Да?

У Писарева задрожали ноздри.

— И ты... читала... «Нерешенный вопрос»?

Она кивнула:

— Да, но я только начала читать...

Весь дрожа, заговорил — ну, прежний, прежний, прежний, такой знакомый Митя:

— У меня называлось «Реалисты», — быстро засмеялся, не отрывая горячих глаз от Раисы, — они, конечно, вымарали это название. Само слово для них ненавистно. — Продолжал и продолжал, все глядя и глядя неотрывно глаза в глаза: — Сняли посвящение матери — почему? Уж это действительно единственный нерешенный вопрос

тут. Остальные вопросы я задаю, ставлю к разрешению и разрешаю. — Снова коротко засмеялся: — «Нерешенный вопрос» еще потому называется, что по этому делу еще не поступило никакой разрешающей резолюции Александра Николаевича. — Снова издал короткий, злой смешок: — Вообще ряд кавалерийских маневрирований произведен на полях моей рукописи, однако ничего поделывать войскам не удалось, ты понимаешь?

Она снова кивнула, начиная пугаться его лихорадочного румянца, вдруг проступившего, его быстрой, нервной речи, его сумасшедшего взгляда.

— Раиса...

— Дмитрий Иванович, свидание окончено, — Пинкорнелли вдруг встал.

— Напиши!

— Да, да, — она кивала, улыбаясь.

— Обязательно, буду ждать — очень, Раиса, Раиса.

— Да, да. Прощай.

Больше они никогда не встречались.

10

27 марта 1866 года, в день святой пасхи, в Зимнем дворце служили позднюю заутреню. Светило солнце, весна уже давно поднялась в полный рост. Христосовались с утра, а теперь можно было хоть еще раз похристосоваться: столько праздничных наград, столько, что более, право же, и не надо! Такие мысли отдавались в сердце Шувалова колокольным звоном. Сегодня он получал генерал-адъютантские аксельбанты.

Принимая знак высшего благоволения, Шувалов на миг коснулся мясистой красной рукою белых холодных рук Александра. Из толпы генералов было видно, как взгляд государя остановился на шуваловских усах. Государь что-то сказал, и граф, выпучив глаза, ответил. При-

нятая формула верноподданной признательности конечно же была произнесена — иного и быть не могло.

Александр же на самом деле произнес только: «Служи».

«Служи», словно бы он, Шувалов, не служит. Еще как служит! Недаром и отличие! Однако же вот в городе много толков о выходе Валуева из министерства внутренних дел. Если так, место остается вакантным, предстоят разные перемещения. Но царское «служи» могло означать только одно: служи, где тебе, дураку, скажут.

Шувалов отошел от Александра несколько растерянным.

Действительно, истинная, чистая радость так редка! — печально думал Шувалов. Его, например, и не уведомили о предстоящем совещании, где обсуждались предложения по поводу 16 апреля. Это весьма странно. Он бы мог помочь советом!

На серебряную годовщину бракосочетания их императорских величеств, 16 апреля, намечались разные льготы каторжникам, сосланным и высланным, но случившееся событие переменяло все.

4 апреля, когда Александр Николаевич, как обычно, в это время гулявший в Летнем саду с собакой, уже садился в коляску, какой-то быстро подошедший к нему молодой человек выстрелил почти в упор. Пуля прошла мимо. Через секунду тот бился в руках окруживших его людей и кричал. Можно было разобрать, кричал: «Дураки! Дура... ки! Господи! Я же за вас, за вас!» Александр только и спросил убийцу, русский ли он, подозревая, очевидно, что не поляк ли? Таковые подозрения в государе казались вполне обоснованными — злоумышленник был высок ростом и белокур.

Сразу поехали в III Отделение, к Долгорукову. А старик Долгоруков совсем не мог распорядиться. Одно приказал, чтобы арестованного немедленно отправили в Петропавловскую крепость, в Алексеевский рavelин. Полная

растерянность отображалась на лице Долгорукова. Александр вошел в его кабинет почти сразу после ошеломляющих слов, произнесенных высланным вперед офицером:

— On vient de tirer sur l'Empereur ¹.

Долгоруков застыл в кресле, еле-еле поднялся на встречу вошедшему государю. Тот холодно осмотрелся, словно ему навязывали в подарок долгоруковский кабинет, и так же холодно, глядя в глаза Долгорукову, произнес:

— Il vient de m'arriver un accident ².

Долгоруков кивнул.

— Un attentat ³.

Долгоруков все кивал.

Через несколько дней объявлено было, что князь Долгоруков верноподданно просил его императорское величество об отставке. На его место назначался генерал-адъютант граф Шувалов. Граф Михаил Николаевич Муравьев, стяжавший, будучи виленским генерал-губернатором, известность усмирением бунта поляков, назначался председателем Следственной комиссии. Произошли в скором времени и некоторые другие изменения. Упразднена должность санкт-петербургского генерал-губернатора — совершенно, господа, никому не нужная, даже, с точки зрения III Отделения, вредная должность. Александр Аркадьевич, князь Суворов, имел обыкновение влезать в дела, нисколько его не касающиеся. Долгорукову и Потапову он вечно мешался, а ему, Шувалову, более не будет! Отлично, что и вместо рохли Анненкова теперь

¹ В государя только что стреляли (*франц.*).

² Со мной произошел несчастный случай (*франц.*).

³ Покушение (*франц.*).

овер-полицмейстером стал Трепов. Федор Федорович отлично, отлично зарекомендовал себя в Варшаве и нынче, подчиненный непосредственно Шувалову, подавал самые лучшие надежды.

Монаршее «служе» пришлось, думал Шувалов, как нельзя кстати.

Прежде всего — ликование народа необходимо было использовать со всей полнотой. Божий промысел должен иметь конкретное воплощение. Чудесное спасение монарха... Человек... м-м-мда-с... человек из народа! Отвел руку преступного убийцы!

Шувалов еще раз просмотрел списки задержанных в Летнем саду. Распорядился доставить костромского — из тех же мест, что и Иван Сусанин, отдавший жизнь за царя! — крестьянина Осипа Комиссарова. Осмотром предполагаемого спасителя граф остался вполне доволен. Маленький, щедушный, дрожит, совсем обеспамятел. Глуп. Глуп, но, кажется, хитер. В самый раз.

— Иди,— сказал Шувалов и вдруг, словно разговаривал уже с дворянином, поднялся:

— Идите... Вам... сейчас все объяснят.

Сам — так привык — открыл дверь:

— Увести!

Завертелось, завертелось. И сразу переборщили — с Иосифом Иоанновичем Комиссаровым-Костромским, бывшим Осипом Иванычем. Ну, дворянское достоинство. Ну, дом в столице. Но дальше уже перебор.

— Русь молится?

— Везде благодарят бога, государь,— подтвердил Шувалов.

Александр благосклонно кивнул.

— Прекрасная черта русского народа. Я полагаю, мой народ без молитвы не был бы русским.

- Совершенно верно, государь. Прекрасные слова.
— Но... в какое положение... Пф...

Александр Николаевич вовремя остановился, потому что дальнейший выговор шефу жандармов делать не следовало. Шувалов заварил кашу, он, Александр, тогда же, четвертого числа, согласился, и теперь следовало терпеть, сидеть рядом с крестьянином в театре и прочее. Терпение — добродетель.

Все же сказал:

— С высокими и глубокими чувствами не следует обращаться легкомысленно. Il ne faut pas trop faire mourir l'homme auquel un souverain doit on quelque peu, on la vie, lorsque cet homme n'a pas donné sa vie pour l'au tre¹.

Шувалов понял: вызвал неудовольствие. Никто, мелькнула мысль, никто не ожидал, что этого Комиссарова начнут взасос целовать члены Государственного совета. Хотя, собственно, чего еще следовало ожидать? Эх, пересол, видимо, в нашей натуре.

— Я должен подумать о своем спасителе. Каково будет его положение впоследствии?

Обед в Дворянском собрании стал последним действием, в котором участвовал Комиссаров-Костромской. Муравьев здесь же, на обеде, заявил, что ляжет костью, но преступников вырвет с корнем. Лечь костью все-таки прерогатива начальника III Отделения, а не Муравьева. Муравьев — администратор, а тут... тут дело тонкое. Зачем, скажем, раскрывать имя преступника в газетах?

¹ Не следует слишком превозносить человека, которому монарх обязан чем бы то ни было, даже жизнью, если этот человек не отдал своей жизни за монарха (*франц.*).

Надобно обождать, не торопиться, найти все нити, да сразу и пресечь! А Муравьев газетную заметку послал на цензуру государю.

В раздражении Шувалов потянул на себя одно из «Дел» — Долгоруков не успел подписать, — представленных на подпись.

«Дело о чтении гг. чиновниками III Отделения собственной его величества канцелярии и офицерами штаба корпуса жандармов получаемых в III Отделении журналов и газет».

Начал читать:

«В III Отделении получают все издаваемые в пределах России журналы, газеты и другие периодические издания, а равно некоторые газеты и журналы, выходящие за границей. При нынешнем развитии журналистики необходимо обращать внимание не на одни статьи, направленные против Правительства, его органов и вообще против предметов, ограждаемых законодательством, но также и на те статьи, в коих заявляются полезные мысли или содержатся дельные указания на общественные нужды и потребности. Смотри с этой точки зрения на значение периодических изданий, желательно, чтобы чиновники III Отделения...»

Взял карандаш и лично исправил писарскую ошибку — вставил перед словами «чиновники» две буквочки «гг.».

«...Чтобы гг. чиновники III Отделения тщательно и внимательно читали их согласно утвержденному расписанию и о результатах своего чтения сообщали бы мне или словесно, или же в самых кратких записках, оставляя необходимые подробности до личного объяснения...»

Да-с, это неплохо Долгоруков привел к месту. Литературе надобно уделять особое внимание. Что же, так и будемте продолжать, господа! Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Перекрестил пуговицы на мундире. Глаза скользили дальше по бумаге.

«...Иметь возможность постоянно следить за литературой и общественными вопросами в ежедневном их проявлении...»

Под списком издаваемых в Петербурге журналов и газет, сведенным в табличку, в каждой графе стояла фамилия чиновника или офицера: д. ст. сов. *Нордстрем*; полк. *Кейзер*; над. сов. *Бернард*; над. сов. *Шульц*; над. сов. *Проскураков*; колл. ас. *Горемыкин*; колл. ас. *Горянский*.

Специально посмотрел, кто читает «Современник» — надворный советник Шульц. «Русское слово» — коллежский асессор Горянский. Подумал, что чин восьмого класса при наблюдении за таким журналом, как «Русское слово», — маловато. Ну это со временем можно и поправить.

Написал сбоку: «Исполнить тщательно». И сверху, в начале: «Согласен».

Отдал «Дело» дежурному офицеру к исполнению.

«Однако же, — встал, — однако же все это в некоторой части напрасно. Просто лишнее. Нужно поддержать дворянство, собственность, восстановить власть, улучшить полицию. Закрывать, безусловно закрыть ненужные издания — и тем прекратить всякие вредные толки о состоянии прессы. Революционно-социальная пропаганда уже дошла до попытки цареубийства, высшее сословие раздражено, волнуется, среднее сословие тупо колеблется, а низшее, как вечно было на Руси, тупо готово на кровь. Да, необходимо выступить открыто в пользу дворянства и прав собственности. Не станет революционной пропаганды, не за кем будет и наблюдать. Все очень просто. Так и доложить государю».

Начальник III Отделения помнил, что ему говорил третьего дня Валуев: «Петр Андреевич, голубчик, нельзя

кроить печать, как виц-мундир. Надо что-либо предпринять раз и навсегда».

Бритая верхняя губа Валуева шевелилась в усмешке. Шувалов слушал — министр его поддерживал, всегда, по сути, был заодно и, главное, номинально считался начальником.

— Насилие, приказания и тому подобное не производят хорошей прессы и не могут прекратить дурной. Вечные наши отрывчатые полумеры!

«Северная почта» тогда напечатала:

«По высочайшему повелению, объявленному министру внутренних дел председателем Комитета министров 29 минувшего мая, журналы «Современник» и «Русское слово» вследствие доказанного с давнего времени вредного их направления прекращены».

— Ну, этак-то лучше,— сказал Валуев.— Так и представить дело,— Валуев на минуту возвел глаза под лоб,— вредное направление обоих журналов давно доказано. Завтра утром их императорские величества выезжают в Москву, значит, надо сегодня... Гм. Я буду в Сенате... Словом, найду возможность. А вы, Петр Андреевич, решили, как производить суд над Каракозовым? Приговор, конечно, ясен, хотя государь, возможно, и помилует.

— Не помилует,— брякнул Шувалов, по обыкновению не успев сообразить, что надо держать политес. Либерал Валуев даже на мгновение замолк, прижав плоскую скандинавскую бороду к воротничкам, склоняя голову. Так он обычно демонстрировал полное смирение пред возможною даже, а не только что пред высказанною волею монарха. Шувалов был чужд сантиментов.

— Ваша решимость, Петр Андреевич,— чуть насмешливо сказал Валуев, приподнимаясь из-за стола,— целиком оправдывает вашу горячность.

Объявление только констатировало уже случившееся. «Русское слово» было приостановлено еще с января, а

с 13 апреля Благосветлов содержался в Екатерининской куртине Петропавловской крепости.

Сломать Евлампиева оказалось невозможным. Когда дверь камеры захлопнулась за ним, он почувствовал дикую злобу. Так вот — приехать, перевернуть весь дом, перепугать жену, взять известного литератора за шиворот, издателя журнала взять! Засадить! А кто будет вести дело? И кто, самое главное, возместит ему, Григорию Евлампиевичу Благосветлову, убытки, а?

В бешенстве ударил в стену кулаком, напрасно ссадил кожу. Слизал кровь с руки.

Кто будет платить?

Благосветлова особо допросами не мучили, попросили только представить полный список сотрудников редакции.

— Не знаю, — отрывисто сказал он, отворачиваясь. Встал лицом к окошку, повернулся задом к спрашивающему. Тот, неизвестно что за личность — в партикулярном, — представленная ему как надворный советник Шульц, улыбаясь, выставил вперед бритый подбородок.

— Напрасно, господин Благосветлов. Как же так — своих сотрудников не знаете?

Вместе с Шульцем пришел Пинкорнелли, молча стоял за спиной допрашивающего. А тот разложил на столе бумаги, поставил чернильницу, вытащил из жилета и зачем-то выложил, предварительно посмотрев на циферблат, массивные серебряные часы.

«Прилежный немчик», — подумал Благосветлов.

— Так, что-с?

— Всех сотрудников, говорю, не знаю. Мало ли кто к нам приходит!

— А все же?

Благосветлов усмехнулся и сел на кровать, закинул ногу на ногу.

— Сотрудников журнала вы можете легко устано-

вить. Полистайте книжки журнала и выпишите фамилии.

Немчик, словно Благосветлов открыл ему невесть какую важность, аккуратно записал добрый совет.

— Более ничего не имеете добавить?

— Ничего.

Шульц, склонив набок голову с пробивающейся розовой плешью, взял часы, снова посмотрел, который час, собрал бумаги, подхватил их себе под локоток. Сделал легкое движение, имитирующее поклон.

Благосветлов, все еще сидя на постели, отрывисто почесал за ухом, как собака.

— Честь имею.

Пинкорнелли вышел тоже, но через минуту вернулся.

— Ну, как вы, Григорий Евлампиевич?

Тот комически развел руками. Что «как вы»? Как он может себя чувствовать?

Почти три года Пинкорнелли передавал Благосветлову записочки от Писарева, официально встречал, провожал и присутствовал при крепостных свиданиях Писарева с редактором его журнала. В приятельских отношениях с Пинкорнелли нужды не было, но общение у них установилось весьма доброе. Да и как иначе!

Пинкорнелли сел на табурет, вытащил трубку.

— Есть папиросы, Григорий Евлампиевич.

Оба молча задымили.

— Дмитрий Иванович передает привет.

— Спасибо,— проворчал Благосветлов.

— Во всем городе аресты. У Дмитрия Ивановича все бумаги отобраны, запретили писать. Все ж таки покушение на жизнь особы императора.

Благосветлов промолчал.

— А вокруг Муравьева, я слышал, такое мнение, что современные журналы противуправительственного направления главные виновники как раз и есть. Вот вас и... с Дмитрием Ивановичем... прекратили...

Благосветлов все молчал. «Прекратили»! Обвел взглядом камеру. Действительно, куда как проще взять да «прекратить»! И непонятно было, какому богу молится этот Пинкорнелли.

— Простите, Иван Федорович, устал, — Благосветлов поднялся, машинально оправляя одежду. Тюремного ничего ему почему-то не выдали, и костюм редактора противуправительственного издания находился в совершенном беспорядке. — Устал и не имею желания обсуждать эти вопросы. Все уже вашему Штольцу или как его... Шульцу я доложил.

По лицу Пинкорнелли прошла тень. Он тоже поднялся.

— Ну, зачем вы так, Григорий Евлампиевич, — сказал с укоризной, качая головой. — Вы же знаете, как я... мое... Словом, напрасно вы так. К тому же, — подошел ближе, — скоро вас выпустят. Я имею положительные известия: освободят за отсутствием улики. И продолжите свою деятельность. Да, да!

Глаза Благосветлова блеснули. После ухода Пинкорнелли он, брезгливо отбросив подушку и подложив под голову свернутый сюртук, повалился на кровать. Григорий Благосветлов тоже не лыком шит! Развел в стороны руки, с удовольствием чувствуя не ушедшую силу в них. Сжал кулаки. Рукава рубашки белели в полумраке камеры.

С самого начала года приходилось вертеться ужом. И без всякого покушения становилось ясно, что работать более не дадут. Осенью прошлого, шестьдесят пятого, он объявил в «Голосе», что при главной конторе «Русского слова» открывается книжный магазин. Тут же Валуев, как рассказывали Благосветлову сведущие люди, сочинил запрос инспектору, наблюдающему типографии: «На основании какого разрешения открыты вышеозначенный книжный магазин и главная контора?» Еще бы!



Валуев знал, что делал. Вот и результат: за октябрьскую книжку журнал получил первое предупреждение, за ноябрьскую — второе, за декабрьскую — третье. И в январе — будьте любезны. Приостановление журнала на пять месяцев.

Вот тут, в январе, он и начал комбинировать. Он не мог допустить, чтобы дело кончилось крахом. Кстати, тогда еще и подумал, что отличное название для журнала — «Дело». Дело, а не махание языком.

После объявления в «Голосе» два месяца прошло. С разрешением тянули. Благосветлов не знал, что Валуев тогда конфиденциально обратился к Суворову:

«Характер изданий, принадлежащих самой редакции «Русского слова», нельзя признать благонамеренным, и притом, в случае продолжения этим журналом неодобрительного направления и закрытия его, было бы неудобно предоставлять распространение напечатанных в оном статей отдельными изданиями через книжный магазин, открываемый с этой целью».

Тянули, тянули и — в конце концов — не разрешили. Тогда он нашел делопроизводителя губернского правления, чиновника средней руки по фамилии Зубовский. Тот подал прошение непосредственно Суворову, и Суворов, в пику Валуеву, разрешил.

Лежа на кровати, Благосветлов приятно улыбнулся. Чувство победы над всей этой сворой — Валуев, Шувалов и прочая — согревало сердце. Еще посмотрим, кто — кого.

Тем временем на дворе стал май, и пока Благосветлов, улыбаясь, лежал на кровати в Петропавловке, Валуеву принесли следующее донесение:

«Содержатель книжного магазина при конторе «Русского слова» Зубовский, убоявшись, вероятно, неприятных для себя последствий по собранным сведениям о неправомерности его показаний насчет отлучек из Спб., равно

о связи его заведения с конторою редакции, а может быть, и по настоянию своего начальства, подал сегодня заявление старшему инспектору о прекращении открытой им торговли книгами. Таким образом, этот магазин согласно видам администрации закрывается сам собою, без каких-либо экстремальных мер. Затем, от личного благоусмотрения вашего превосходительства зависит обратить внимание надлежащего начальства на Зубовского, открывшего книжную торговлю без ведома и разрешения.

Член Главного управления
по делам печати *Фукс*.

II

Совершилось весьма буднично, без всякой помпы — вошел солдат, положил на стол несколько листов бумаги, поставил чернильницу. Писарев и не успел спросить — кто разрешил и прочее. Был удивлен. До начала июля ни прогулок, ни свиданий, ни литературной работы — ничего. Одно лишь скрашивало — получение книг из крепостной библиотеки. Подсказал на этот раз Кандауров:

— Вы до книг любитель, Дмитрий Иванович, а про наши книги, что в библиотеке, в приказе не сказано, чтоб не давать... Писания запретить — да, а про библиотеку ничего не сказано.

— Надо писать прошение? — быстро спросил тогда Писарев.

— Ни боже мой! Никакого прошения, а только изустная просьба. Вы просите?

Писарев засмеялся. Новым для него, усвоенным здесь, в крепости, движением погладил бородку:

— Прошу, прошу.

Кандауров принес на свой вкус — два тома Теккеря в «Библиотеке для чтения». Первых трех частей не ока-

залось, продолжения — тоже. Плац-майор заверил заключенного, что отсутствие начала и окончания романа совершенно не важно, что наслаждение доставляет сам процесс чтения, а что там, в книге то есть, происходит, никакого значения иметь не может. Писарев криво улыбнулся, принимая одобренные книжки журнала. А через дня три писал Варваре Дмитриевне:

«...Я теперь умею ценить Теккеря так, как не умел бы ценить его несколько лет тому назад. Очень молодым людям Теккерей не может нравиться, надо пожить, надо иметь за собой достаточный запас воспоминаний, тогда мягкий осенний колорит, лежащий на его произведениях, получает такую прелесть, с которою ничто не может сравниться. Однако пора и честь знать. Не в эстетики же я, в самом деле, записался! Отвечу тебе лучше, друг мой мамаша, на твой вопрос: ехать ли тебе к Львовой?..»

Львова была старшей надзирательницей IV Петербургской женской гимназии, что помещалась на Большой Дворянской. Катю наконец надлежало устроить в учение. Каково-то ей будет, подумал, соблюдать гимназическую дисциплину — Кахас выростала самой упрямой, самой упорной в семье. Предстояли трудности.

Сначала, так говорила Варвара Дмитриевна, собирались было устраивать Кахас в Анненскую немецкую школу — на Кирочной, недалеко от Литейного. Но вдруг оказалось, что там девочек секут — представьте себе! Этого бы Катя никак не стерпела, и терпеть подобное, конечно же, никак невозможно, слов нет. А Львова, в IV женской, кажется, не очень расположена была принимать мадмуазель Писареву: не нравилась ей юная мадмуазель... Что ж, надо было ехать уговаривать — почти одновременно — и гимназическое начальство, и Шувалова.

Шувалов был озабочен высокою политикой. Государь

получил письмо от императора Наполеона III — предлагалось согласие и прекращение охлажденного состояния отношений России и Франции. Шувалов находился в курсе дел.

Когда Варвара Дмитриевна, прямо сидя на стуле перед шуваловским столом, сказала: «Мой сын, сохраняя направление своих мыслей, ни в чем не изменил его с прошлых лет», Петр Андреевич решил, что наполеоновы условия вполне приемлемы. Не умалять территории Австрии, за исключением Венецианской области, и Пруссии предоставить главенство в северогерманском союзе.

Шувалов встал и начал расхаживать по кабинету. Варвара Дмитриевна замолкла, не понимая: это что — прекращение аудиенции?

— А на юге Германии создать другую конфедерацию, но без Австрии,— под нос сказал Шувалов, воображая себя творцом европейской политики.— Государь согласен на эти условия, кроме исключения Австрии из южного союза германских государств.

— Что? — Варвара Дмитриевна растерялась.— Вы... согласны, ваше превосходительство?

— Государь согласен,— твердо сказал Шувалов, отвечая на свои мысли. Варвара Дмитриевна просияла. Он очнулся:

— Что-с?

— Благодарю вас! Благодарю! — та уже вставала, радостная.— Поверьте, мой сын...— она смешалась. Хотела сказать, что Митя более ничем Шувалова не огорчит, но поняла, что сказать так значило бы сказать заведомую ложь, и только еще раз повторила: — Благодарю! Благодарю.

— Вашу просьбу подайте в письменном виде,— медленно произнес шеф жандармов, стараясь припомнить, чего желает мадам Писарева.

— У меня готово! Готово! — она достала из сумочки лист. — Вот, извольте, ваше сиятельство.

Шувалов взял лист, прочитал. Просьба была о разрешении кандидату Санкт-Петербургского университета Дмитрию Писареву свиданий и литературной работы в каземате Петропавловской крепости. О, боже мой! Эти Писаревы не дадут покоя! Ну куда он теперь, голубчик, будет писать? В печь, на растопку?

Шувалов мерзко улыбнулся — мадам не знает, что ли, о безусловном закрытии их вредоносного журнала, магазина, типографии? Хе-хе. Ну, пусть его. Чем бы дитя ни тешилось. Повертел лист в руках.

— Вы изволили сказать — государь согласен, — робко молвила Варвара Дмитриевна.

— Да!

Написал сверху: «Согласен». Поставил подпись. Встал.

— Можете идти, мадам.

Тем временем в Главном управлении по делам печати читались цензорские рецензии на выходящие у Павленкова тома.

«В первой части сочинений Писарева и в особенности в статье «Стоячая вода» всецело отражаются дух и направление приостановленного журнала «Русское слово». Отрицание родительской власти, порицание брачного и семейного союза особенно ярко выражены в следующей фразе: «Выйти замуж за человека, которого не любишь, — не беда; отдаться любимому человеку — стыдно и грешно, вот вам образчик общественной логики». Подобные фразы и многие другие ясно определяют социалистические и коммунистические тенденции автора.

Но так как мысли эти разбросаны и не сгруппированы систематически в виде коммунистического учения, то и, согласно с мнением Цензурного комитета, полагаю, что

1-ю часть сочинений Писарева нельзя еще подвергнуть судебному преследованию. Тем не менее, если в следующих частях автор продолжать будет проводить зловередные учения, то в совокупности это составит, по моему мнению, достаточный материал для арестования книги и для предания автора суду».

Сей документ Валуев читал еще в апреле, а летом поступил, вслед за предоставлением в цензуру второго тома, следующий:

«Вторая часть сочинений г. Писарева... есть книга положительно вредная, так как в ней разлит тонкий угар атеизма... подвергаются глумлению все науки, за исключением естественных, извращаются научные понятия, открыто проповедуется реализм, выражается глубокое уважение к «Современнику», осужденному высочайшею властью, но который, по мнению Писарева, «лучший журнал, когда-либо существовавший в России...»

Лето прошло быстро.

О казни Каракозова, как и о смерти Муравьева, Дмитрию Ивановичу было известно. Писать бы, но как-то не писалось. Да и куда, для какого издания? Неясно. Что-то новое предстояло ему, он всматривался в это новое, словно в закрытую для него даль. Варвара Дмитриевна, возвращаясь домой после свиданий с Митей, говорила дочерям, что Митя стал еще более бледен, бел, как Пьеро, и говорит мало и неохотно.

12

Лето прошло, наступил сентябрь. В узкое окно виделся клочок неба — ослепительно голубого, совсем итальянского. Четырнадцатого числа, после обычного колокольного звона к обедне, вдруг раздались пушечные залпы. Что-то происходило. Писарев посчитал — никаких праздников, кажется, сегодня не было. Впрочем, немудрено что-то и перепутать в здешнем пансионе.

Он позавтракал, но не поднялся, а остался сидеть на табуретке, стараясь справиться с подступающим раздражением. Не следовало давать волю напрасному гневу — можно только сойти с ума. Надобно было держаться.

Солдат выносил миску и кружку, на мгновение в открытую дверь стал виден кусочек коридора, и, прежде чем дверь захлопнулась, в камеру вошел Сабанеев.

— Написали сочинение новое — давайте, — громко сказал Сабанеев, стараясь перекрыть грохочущие над головой орудия. — Прочту.

— Не написал.

— Что ж так? — полковник не скрывал иронии. — Вкус потеряли к занятиям журналистикой?

Писарев дернул щекой, кинул быстрый взгляд на неожиданного посетителя. Сабанеев давненько не показывался.

— Скажите, господин полковник, — назвал как можно бесцветнее высокое звание, — что нынче происходит?

Он старался говорить равнодушно, но от того, что приходилось повышать голос, вопрос оказался заданным энергично, заинтересованно.

— Я могу узнать?

— Можете! — почти прокричал Сабанеев. Тут пушки наконец смолкли, и Сабанеев патетически произнес: — Прибытие в столицу невесты наследника престола, датской принцессы Дагмары. Много слез на Руси, да будет Дагмара им утешительницей и миротворицей. И вам, господин Писарев, надлежит окончательно раскаяться в содеянном. Раскаяться и покаяться, — добавил он, словно поп.

Писарев усмехнулся.

— Показать, например, о знакомстве с преступниками, злоумышленниками... Вы понимаете? Признание поможет смягчению участи вашей и, возможно, — Сабанеев даже цыкнул языком, — досрочному освобождению. В свя-

зи с предстоящим бракосочетанием цесаревича, возможно, последуют амнистии.— Сабанеев конфиденциально склонился вперед, словно боялся, что его подслушают,— а им, амнистиям, подлежать будут,— тут он выпрямился и закончил уже без обиняков,— заключенные сговорчивые и уважающие начальство. Уважьте, дайте какие-нибудь свежие показания, и я похлопочу. А?

На столе лежал все тот же хваленый Теккерей, больше ничего под рукою и быть не могло, и в физиономию Сабанеева полетел том «Библиотеки для чтения». Ветхая, зачитанная книга рассыпалась в воздухе, не долетев до цели, да и полковник вовремя успел отступить. Пол в камере усеяли белые листки. Сабанеев выскочил из камеры с легкостью, которую никак нельзя было ожидать в тучном его теле. Писарев, нагибаясь, начал подбирать листки с полу. Книжка журнала была безнадежно испорчена. Стопкой собрал книжку, положил опять на стол. «Что это Сабанеев вдруг принялся за старое?» — подумал почти без злобы. Мысли о возможной свободе не волновали: свобода представлялась ему далекой, почти нереальной, почти несуществующей...

А Сабанеев гениально прозревал будущее.

Перед экстренным заседанием Комитета министров по вопросу о манифесте, имеющем быть изданным в день бракосочетания Александра Александровича, Шувалов приехал к Валуеву домой. Валуев находился не в настроении — устал. В этот день он четыре битых часа обедал у великой княгини Елены Павловны и слушал разглагольствования ее свиты, перенести которые стоило ему большого труда. Шувалов вызывал у министра доверие: Шувалов был человеком дела. А все эти господа... Эти господа — негодяи, и единственное чувство, которое они внушают, это ненависть к тому, что они делают.

Он посмотрел на верного Шувалова, словно и тот нынче не понимал его.

— Ну, и что же вы предлагаете? — спросил раздраженно.

— Руководствуясь нравственным началом в таком великом событии, как бракосочетание цесаревича, полагаю снять военное положение в Западном крае и вернуть некоторых ссыльных.

— Нравственным началом? А здесь, у нас?

— Здесь — ничего, я полагаю. Правительство... — начал Шувалов и осекся.

Лицо Валуева ясно выразило раздражение. В раздражении министр уже собрался сказать, что принято считать, что всякое правительство, которое будет руководствоваться нравственными соображениями, мгновенно вылетит в трубу, что руководствоваться необходимо целесообразностью и расчетом при принятии важнейших в государстве решений и решений повседневных — одинаково. Здесь же налицо было дело, с одной стороны — повседневное, с другой — государственное. Но в настоящем случае — как и во всех других! — руководствоваться нравственностью означает именно то, что правительство руководствуется логикой и целесообразностью. Это самая выгодная политика, граф! — подумал. И, коль начали таковую политику, отступать от нее — смертельно. Смертельно.

Выпалил, дергая щекою, прямо в лицо Шувалову:

— Правительство не опирается ни на одном нравственном начале и не действует ни одною нравственною силою. Уважение к свободе совести, к личной свободе, к праву собственности, к чувству приличий нам совершенно чуждо. Мы только проповедуем нравственные темы, которые считаем для себя полезными, но нисколько не стесняемся отступать от них на деле, коль скоро признаем это сколько-нибудь выгодным. Мы забираем хра-

мы, конфискуем имущество, систематически разоряем то, что не конфискуем, ссылаем десятки тысяч людей, позволяем бранить изменою проявление человеческого чувства, душим, вместо того чтобы управлять, и, рядом с этим, создаем магистратуру, гласный суд и свободу или полусвободу печати... И мы толкуем о величии России!

Шувалов смотрел, выкатив глаза.

— Значит, все? — спросил Валуев, несколько сникая после вспышки нервного возбуждения.

— Еще надо просить о чрезвычайном кредите для Санкт-Петербургской полиции, — сказал Шувалов, не очень чувствуя, как связать бракосочетание наследника и собственные выгоды, но, как всегда, выкладывая то, что вертелось на языке.

Валуев, находящийся в либеральном приступе, хмыкнул:

— Да, это хорошо. И еще просить государя, чтобы срок заключения для всех, слышите ли — для всех, отбывающих наказание по приговору, уменьшить на одну треть. Пред государем, я полагаю, вы поддержите?

— Слушаю, — сказал Шувалов, помешкав, — слушаю.

В это невозможно было поверить сразу. Свобода? Свобода... Свобода!

Утром вслед за солдатом, унесшим миску и кружку, как обычно, вошел второй — с метлою, начал шаркать по полу. Дверь в таких случаях оставалась приоткрытой, и Митя сейчас отлично слышал поднимающуюся в коридоре суету, которая всегда сопутствовала появлению в куртине высокого начальства. Голос старшего наряда загудел, потом раздался топот нескольких ног, потом дверь отворилась и в проеме встал Сорокин. Митя с удивлением увидел на коменданте ордена и длинную

шпагу, как у гвардейца какого-нибудь Людовика. При шпаге был и цветной темляк. Смотрел комендант как-то странно. Митя встал.

— Вам оказана, — скрипуче сказал старик, — высокая... высочайшее... Гм.

Он не договорил, видимо, не желая смириться, что Писарев вот так просто покинет каземат, но и несколько — сам себе он сейчас в этом бы не признался! — несколько радуясь, что беспокойный господин литератор не будет более волновать желчь. Не договорил, повернулся, задев шпагой за стену. Ножны со скрежетом проволочились по стене...

Митя никак не решался выйти из крепостных ворот, ходил, вернее, почти метался по площади перед собором, явился домой к тюремному врачу Вильямсу, не застал, оставил супруге записку с благодарностью. Вильямс однажды спас его, да и потом не раз помогал.

Выйдя от Вильямса, снова остановился, кутаясь в принесенное пальтецо, на соборной площади, задрал голову. Показалось, что громада собора накрывается, падает... Вытаращив глаза, начал отступать, повернулся и, спотыкаясь, побежал прочь.

И все. Более ни разу в Петропавловке не был, случилось проходить или проезжать по набережной — отворачивался. Все.

А на самом-то деле — не все. Крепость не отпускала. В первые дни не выходил из квартиры, боялся открытого пространства. К нему самому ездили, как к святым мощам. Варвара Дмитриевна и Верочка сбились с ног, принимая гостей, радостные, веселые, оживлялась и обычно замкнутая Катя, а Митя, их веселый Митя в первые

дни молчал, сидел по углам. Благовосветлов завалил работой — с октября начал выходить сборник «Луч», — не писалось. Не писалось, почти и не писал.

— Митя, ты не работаешь? Можно к тебе?

Он повернулся, недовольный. Совсем незачем показывать ему самому, что он не работает. Он сам прекрасно знает, что не работает!

— Да, мама.

Барвара Дмитриевна вошла с письмом в руках.

— Раиса пишет, — краем глаза посмотрела, какое впечатление произведет имя Раисы, никакого не произвело. — Раиса пишет, что Маша Маркович едет из Москвы... Да ты Машу-то помнишь? Видались лет семь или восемь назад. Ты ведь и писал о ней, Митя! Марко Вовчок наш!

— Да, — сказал он без интереса.

— Я тебя прошу, — по-деловому сказала мать, не обращая внимания на бьющее в глаза равнодушие сына. Вчера она твердо решила вывести Митю из состояния спячки, смотреть на это более было невозможно. — Поезд сегодня, а встретить некому. Мы же самые близкие из родственников у нее. Никого нет ближе.

— Хорошо, — он со вздохом поднялся, посмотрел на улицу, пожегил. — Что, прямо сейчас надо отправляться?

Первым из вагона вышел господин в котелке, наступая на собственную шубу, спустился по железным ступенькам, потом сошли две чинные девочки с дамой в капоре. Митя стоял у вагона, думая, как бы не разминуться с Машей — вдруг, действительно, не узнают друг друга. Он уже начал шарить глазами по окнам, когда в тамбуре показалась статная черноволосая женщина необычайной, показалось ему, красоты. Спящее Митино сердце проснулось и дало резкий толчок в грудь.

— Маша? — спросил он неуверенно.

Жизнь Дмитрия Ивановича Писарева пошла по новому кругу, теперь — по последнему.

Мария Маркович, несколько лет назад широко известная как писательница Марко Вовчок, к концу 1866 года была основательно забыта. Почти четыре года в России ничего не выходило у нее. Она жила в Париже, печаталась на французском, переводила. А жизнь в России в те годы менялась быстро. Вернувшись в Петербург, Мария Александровна старые литературные знакомства начала восстанавливать — при живой помощи Писарева.

Зимой 1867 года Мария Александровна уехала по делам в Москву. Писарев томился в одиночестве. Сон стал беспокойным, сны — тяжелыми.

Снился пакетбот с полными парусами, белый андреевский плат, перекрещенный голубыми полосами, на корме. Один, второй, третий — вражеские брига окружают мирный корабль, растягивают перед ним сеть, словно бредень, и вот уже в ловушке корабль. Паруса сникли, корпус судна наполняется водой и стоит налитый до края, не тонет. А сам смотришь со скалы какой-то, что ли, сверху. Сам стоишь над кончиком мокрой мачты и понимаешь, что там, в глубине, люди, что они толпятся внизу, в трюме, и ждут помощи. «Помоги!» — «Сейчас!» Люди живы в глубине, под водой. Руки мокрые — хватался за мачту-то. Медленно вытягивается из бездны корабль, неохотно, со стоном выпрастывается тело из сна. Руки поднес к глазам — руки стали мокрые, все лицо в слезах, мокрая борода.

Боялся разлепить ресницы, — страшно проснуться на тонущем корабле. Но уже слышен сосновый запах печи — чистый, сухой, свежий. Дома! Дома. Фу ты, пропасть! Бело-голубые изразцы помнили вчерашнее тепло, отданное поленьями. Часы вызвонили девять раз. Девять! Тяжело просыпаться зимою, сладко проснуться.

Через полчаса был уже в сюртуке, выходил из дому, поехал к Вышнеградскому.

— Доложи: кандидат Петербургского университета Дмитрий Писарев.

— Извольте обождать, сударь.

Лакей повернулся и пошел по ступеням, а он остался в вестибюле, чувствуя себя заряженным электрической силой действий. Нервно прошелся по ковру, пряменький, напряженный.

— Извольте пройти, вас ждут-с.

Быстро вошел, надменно и коротко поклонился. Ноздри уже раздувало бешенство.

Начальник женских гимназий столицы вышел из-за стола и двинулся навстречу, протягивая руки.

— Ваше превосходительство, — сказал Писарев, не замечая руки, — ваше... превосходительство. Вам, вероятно, известно, какой неприятный случай заставил меня беспокоить...

— Прошу, Дмитрий Иванович, без чинов. Что это, право слово.

Вышнеградский сделал приглашающий жест в сторону кресел и поправил манжет, из которого высунулась при этом тонкая, в черных волосиках рука.

— Вам, вероятно, известно, что ученица четвертой гимназии Катерина Писарева — моя сестра — была избита...

— Дмитрий Иванович!

— ...Избита классной надзирательницей Анной Львовой. Насколько известно мне, — остановился на мгновение. — Насколько известно мне, «Правилами внутреннего распорядка», вами же, ваше превосходительство, и составленными, всякие телесные наказания категорически в гимназиях запрещены. В том числе и пощечины воспитанницам. Я не могу не сочувствовать взглядам вашим, Николай Алексеевич, однако же не могу и не заметить,

что их преломление в практике весьма своеобразно. Позвольте спросить: какой ход намерены вы дать этому делу?

Вышнеградский вздохнул.

— Я собирался писать вам сегодня, Дмитрий Иванович.

Он подошел к бюро, взял и быстро пробежал глазами уже, видимо, читанную ранее бумагу.

— Главная надзирательница гимназии сообщает о некотором... э-э... она пишет о недопустимом, знаете ли, о некотором не то чтобы свободомыслии... о некоторой вольности, постоянной вольности в поведении вашей сестры. Поверьте, я далек от желания сделать из женского учебного заведения аракчеевскую казарму. Но вы понимаете...

— Понимаю, ваше превосходительство. И понимаю также и знаю, что директриса, то есть главная надзирательница, Елизавета Николаевна Львова, — мать провинившейся классной дамы.

— Дмитрий Иванович! — Вышнеградский старался говорить как можно мягче. — Давайте же вопрос о провинившихся предоставим решать светлейшему суду. Принц приехал позавчера, и завтра он удостоивает вас и сестру вашу аудиенции в три часа дня-с. Ваше раздражение мне понятно. Но завтра от души, слышите ли от души советую вам сдержать оное. И сдержать вашу сестру, Катерину Ивановну, которая, — тут Вышнеградский улыбнулся, — высказывает все признаки ярой нигилистки: коротко стрижется, бойкая, дерзкая...

— Да, я питаю большое уважение к ее уму и характеру.

— В добрый час! Ивану Осиповичу тоже приказано явиться. Я надеюсь, что дело решится к обоюдному нашему и вашему удовольствию.

Иван Осипович Плянкель был инспектором гимназии, преподавал там же историю и географию. Если бы не

Плянкель, поклонник «Русского слова», Кате совсем не жилось бы в гимназии.

Принц Ольденбургский, попечитель и вот уже шестой год главноуправляющий IV Отделением собственной его величества канцелярии, ведавшей всеми благотворительными учреждениями, Плянкеля знал хорошо. Плянкель только и мог содействовать на пользу.

На следующий день, в понедельник, двадцатого, петербургский февраль опомнился и поддал морозцу. Смотрели по Цельсию — доходило до двадцати. В стекла била ледяная крупа, и Катя нервно оглядывалась на окна.

Ветер, почуяв свободу, совсем осатанел. Лошадь шла навстречу ветру, отворачиваясь и опуская голову. Полость саней едва закрывала ноги, Писарев старался хоть как-то заслонить собой сестру — пустое.

Зимой у него набиралось льду в бороде, дыхание оказывалось тяжелым, влага застывала смешными сосульками, даже когда он неторопливо шел по улице, а сейчас-то усы и борода смерзлись в сплошной ком. Катя, вся, не видно глаз, закутанная в платок, превратилась в сахарную голову: колкий снег засыпал ее, не скупясь. Невозможно было ни смотреть, ни разговаривать. В парадном принца Ольденбургского на швейцара, принявшего шубы, хлынул водопад. Топали ногами в паркет. Промерзли до костей. Ветер и снег сделали доброе дело: невесомое раздражение пропало, с ним пропал и некоторый страх Кати. Осталось невышибаемое морозом сознание правоты.

Вчера он думал, как сегодня говорить. Конечно же наскакивать и петушиться не имело никакого смысла, а тем более дерзить или говорить нелепости. Оставалось быть самим собою. Размышляя так вчера, он улыбнулся, потому что который уж месяц не мог толком разобрать-

ся, каков он теперь на самом деле. Быть самим собою казалось вовсе не простою задачей.

Приехав в редакцию, вытребовал общий редакционный фрак, держащийся Благосветловым для визитов. Евлампиев был куда выше и шире в плечах: черная пара, вставшая колом, придала Писареву необычайно представительный, внушительный вид. Хорош!

Теперь фрак совершенно обмялся под шубой и казался только что вынутым из дорожного мешка. Брюки шаркали по полу. Плянкель, уже стоящий тут же, поджал сухие губы, вобрал в себя подбородок, сдерживаясь, чтобы не засмеяться. Писарев сам собрался было засмеяться, оглядывая себя, но вовремя вспомнил о Кахас — не расхолаживать, не сбить ее с настроения! Плянкель перевел глаза на ученицу.

— Аллон, ма птит. Слушайте же, госпожа Писарева. Настоятельно вам рекомендую: первое — стоять смирно, второе — руками не махать, не жестикулировать...

— Иван Осипович! — Катя прижала руки к груди, где начинались кружева белого передника.

— Третье — не перебивать, если можно так назвать, противную, да-с, противную сторону, а только ждать и отвечать на вопросы.

— Мне Митя уже два раза это говорил.

— И вполне справедливо говорил. Если бы вы всегда слушались Мити, мы сейчас не удостоились бы чести быть принятыми князем Петром Георгиевичем, — последние слова Плянкель произнес со всей серьезностью, не дающей никак усомниться в его искреннем уважении к начальству. Лицо инспектора затвердело.

— Я всегда слушаю Митю, — она ответила это уже своим обычным, как называла мама, «спорящим» тоном.

— Ну-ну, не надо волноваться. Все будет хорошо. — Он нагнулся к Кате, на мгновение заглянул ей очками в очки и быстро прошептал: — Все будет хорошо. Я обещаю. Держаться твердо.

Они ступили на зеленое сукно приемной, затем на шахматный паркет кабинета. Обе дамы уже сидели в углу на диване, распустив по полу парадные розовые платья, атлас пускал блики по комнате.

«Тоже хороши,— злобно подумал Писарев,— как на свадьбу обе оделись».

Принц, если не искать его взглядом, не сразу был бы замечен в огромном кабинете. Здесь, неизвестно и зачем, стояло несколько столов, на каждом лежали стопки бумаги, чернильницы и приборы, будто бы сейчас выскочат, как черти из ящика, писаря, отлучившиеся на минуточку, и снова пойдут строчить. Последний стол, куда больших размеров и совершенно пустой, если не считать коробки с сигарами, целиком скрывал хозяина. Голова его торчала над полированным дубом стола, жила, казалось, сама по себе. Прежде чем поклониться, Писарев успел представить маленькие ручки и ножки сиятельной особы, хотя об истинном росте хозяина кабинета приходилось только гадать.

«Кланяйся Черномору»,— мелькнула мысль. Он нагнул голову. Хотел произнести заготовленную фразу, но сказал только:

— Дмитрий Писарев. Екатерина Писарева... ваше.. высочество.

Дома он явно перестарался и перетянул помочи, брюки резали в паху. С трудом сдерживался, не зная — засмеяться или рассердиться. Ни того, ни другого нельзя было. да и могло передаться его возбуждение. Взял себя в руки Смех победил, но не выплеснулся.

— Прошу садиться, милостивый государь, — принц показал ручкой на диван. Дамы сидели незыблемо, подняв носы, место оставалось рядом не более курьерского облучка. Писарев сел за один из столов. Брюки натянулись нещадно. — Садитесь, голубчик, Иван Осипович.

Кахас осталась одна посреди кабинета, как наказы

ваемая. Это надобно было сразу пресечь, сразу. Писарев сделал движение, но принц, чуть помедлив, уже сказал:

— Садись, милая. Тебе который год?

— Четырнадцатый, ваше... высочество, — так же, как и брат, делая паузу, скромно сказала Катя.

— Маловата для четырнадцатого годка, матушка, — безо всякого выражения на лице произнес принц Ольденбургский. Обе дамы произвели по смеху.

У Плянкеля ясно напряглись глаза под очками — стекла еще и увеличивали, — он, конечно, ждал, что девчонка сейчас отмочит что-нибудь. Возможно, попечитель и нарочно хитрил.

Катя вспыхнула, но произнесла только, не поднимая взгляда:

— Да, ваше... высочество.

— Это правда, что ты... э, вы... сказали наставнице, что, дескать, напрасно вы, э...

— Ваше высочество! — шурша платьем, надзирательница привстала.

— ...Простите, мадмуазель, — он склонил голову в сторону младшей Львовой, — напрасно вы, дескать, э... м-м... за женихами... — неуклонно продолжал Черномор, — а я, то есть вы, готовлюсь... готовитесь не к замужеству, а... э... м-м... к постижению наук?

— Ваше высочество! — вся красная, Львова встала. — Мадмуазель Писарева позволила себе более резкие выражения!

Высочество снова сделал из-за стола приглашающий жест ручкою. Львова села, излучая жар. Подбородок Плянкеля опять поехал к шее. Чтобы не засмеяться, Плянкель спрятался в воротнички.

— Да, ваше... высочество. Но госпожа Львова оскорбила меня первой.

— М-м, — сказал Черномор.

— Вы позволите, ваше высочество, — теперь вступила директриса.

— Да-с?

— Мадмуазель, — она произнесла это слово с величайшим презрением, — мадмуазель Писарева отличается безобразным поведением, не могущим не вызвать нареканий. Она восстановила против себя значительную часть воспитанниц. В дортуаре постоянно производится шум. Дерзит она перманентно. Компрене-ву: перманентно. Сэт ампосибль. Иль фо савуар са пляс. Невозможные платья, невозможная прическа, невозможная... — она запнулась, но произнесла это слово, — свобода!

Принц подчеркнуто повернул голову к Кате, словно желая сравнить характеристику с натурой.

— Ах! — сказала вторая. — Это она нынче причесалась!

— Еще более возмутительно — так приспособливаться! Простите, ваше высочество. Еще более возмутительно! Это звенья одной цепи!

— М-м-м.

— И не несколько пощечин, как писал господин Писарев, а только одна пощечина, да притом — маленькая.

Плянкель снова выкатил глаза.

— М-м-м... так. Одна? — принц Ольденбургский смотрел на Катю.

— Одна пощечина, ваше высочество! — звонко сказала Кахас, делая ударение на слове «пощечина». Писарев улыбнулся.

— А вы, — голова Черномора снова подчеркнуто повернулась, — вы служить изволите?

— Я литератор, ваше... высочество, и — не служу.

— В каких же изданиях работаете? Университетский, по всей вероятности?

— Кандидат Санкт-Петербургского университета. Сотрудничаю в журнале «Дело», — ответил и успел поду-

мать, что сотрудничества с Благодетелем, видимо, не получится.

Попечитель спрашивал так — просто не знал, что, собственно, спросить. Попечителю наплевать было и на Писарева, и на Кахас, и, это ясно читалось в его глазах, скользких по матери и дочери Львовым, на обеих наставниц. Единственное, что его действительно интересовало — это коробка с сигарами. В огромном кабинете явственно витал отличный запах «гаваны». Петр Георгиевич время от времени касался пухлой ручкой коробки, лежащей на столе, словно бы ласкал. Конечно же, он никак не мог закурить при дамах. Выучка благородного Николая Павловича была сильна.

— В журнале «Дело», — Писарев повторил чуть иронически, отрывисто. Вчера разработал целую программу поведения, заключающуюся, по сути, в желании представиться. Усмехнулся, когда думал об этом: в желании представиться самым благонамеренным и воспитанным молодым человеком. Теперь оставалось только придерживаться намеченной линии поведения. Кахас держалась блестяще. — В журнале «Дело»... Ваше... высочество.

— М-м-м. А... батюшка ваш, милостисдарь... служит где?

— Мой батюшка, ваше... высочество, тульский помещик, штабс-капитан в отставке. Состоит в мировых посредниках Новосильцевского уезда.

— Вот как? Мда-с... А матушка ваша, позвольте-с, какое же получила воспитание? В каком-либо императорском учебном заведении изволила состоять?

— Матушка, ваше... высочество, получила достаточное домашнее образование, — ответил как мог коротко.

Принц был вполне удовлетворен.

— Господин Писарев... Мадмуазель Писарева... можете идти.

Голова Черномора чуть наклонилась, Писарев в ответ

четко прижал бородку к накрахмаленным до жестяной твердости воротничкам. Катя юрко изобразила книксен. Плякель взглянул на них успокаивающе, видимо, все было в порядке.

К чему требовалось эдакое разбирательство — не ясно. Оно не только никак не могло привести к удовлетворительному результату, но и вообще казалось совершенно бессмысленным. Впрочем, обе Львовы оставались в кабинете. Возможно, теперь наступала их очередь отвечать на более, быть может, осмысленные вопросы прямого начальства.

— Странный какой господин, — сказала Кахас на лестнице довольно громко.

— Тише, тише! — Писарев беззвучно смеялся, все еще сдерживаясь. — Домой, дома.

— Митя, мне придется выйти из гимназии? — это она спросила уже в санях. Снег продолжал валить густо, и ранние зимние сумерки давно начали уплотняться.

— М-м-м, — произнес он, неосознанно копируя Черномора Ольденбургского. — Не знаю, Кахас. Завтра мы поговорим с Иваном Осиповичем. Потерпи.

— Ни в чем нельзя уступать, — неожиданно сказала Кахас. — Ни в чем. Никому. Уступать — себе уступить. Так поддашься — смерть. — Она смотрела совсем по-взрослому. — Я понимаю правильно, Митя?

— Да, маленькая, да. Ты моя самая верная ученица. — Укутал ее поплотнее. — Спасибо... И всегда говори и делай то, что считаешь нужным сделать и сказать. Так правильно.

Писарев с бесконечной нежностью положил руку на голову сестры, словно прозревая ее будущую жизнь, словно, уже ушедший за невидимые сейчас облака, не с ледяного неба, а с теплых синих небес зовя и признавая ее равной.

Через несколько месяцев Благосветлов вдумчиво изучал цензорские пометки на майском номере своего журнала «Дело», когда Писарев быстро вошел в редакторский кабинет.

— Здравствуй,— отрывисто сказал, садясь в кресло.— Отложи-ка свою корректуру — надо поговорить.

Благосветлов неохотно отодвинул бумаги.

— Ты сам объявление давал? Это вот?..

Писарев сунул под нос Благосветлову опубликованный список авторов «Дела».

— Вот: Марко Вовчок.

— Ну, так что же?

Писарев снова уселся, закинул ногу на ногу.

— Почти ничего, только надобно сперва спрашивать разрешения на подобные публикации, вот и все. Мария Александровна заканчивает новый роман, прекрасный роман, есть договоренность с издателем. Ты что? Не понимаешь, что ли, что можешь поставить ее в двусмысленное положение. Не валяй дурака.

Благосветлов тяжело усмехнулся.

— Что это ты так-то? И почему, собственно, ты представляешь интересы Маркович?

Он прекрасно знал почему.

— И вообще,— Евлампиев начинал волноваться,— что за допросы?

— А почему я не могу тебе допросы устраивать? Ты не начальник департамента, а я у тебя не коллежский регистратор. Мария Александровна,— вспыхнул,— моя родственница, тебе это прекрасно известно...

Благосветлов снова усмехнулся, и эта его усмешка погубила дело. Потом оказалось, что «Дело» погублено тоже. Без Писарева Благосветлов начал издавать второстепенный журнал.

— Словом, ты должен извиниться перед Марией Александровной и передо мной. Иначе сотрудничество наше впредь невозможно.

— Да что ты ультиматумы ставишь?! — Благосветлов вскочил. — Никто тебя не держит! — в волнении он нервно поправлял галстучную булавку огромной величины, с искусственным алмазом.

— Ну, тебе к моим ультиматумам не привыкать! — весьма громко сказал Писарев, и голос его зазвенел. — До сих пор ты мои ультиматумы всегда принимал к сведению!

— Ну, знаешь ли, — Благосветлов начал даже задыхаться от ярости. Еще минута, и друзья бросились бы друг на друга с кулаками. — Никто тебя не держит, если твои отношения к журналу зависят от такой чепухи! У меня нет времени на расшаркивания! Кренделя-то я ни перед кем выделывать не стану и под каблук ни к кому залезать тоже не буду! Так и знай! Изволь — я напишу к ней. Пожалуйста! Напишу, что у меня слишком много работы, чтобы надевать фрак и перчатки.

Удар пришелся не в бровь, а в глаз. К тому времени Мария Александровна уже веревки вила из Писарева, он второй раз в жизни оказался полностью во власти женщины. Поэтому летом, сидя у нее в квартире, он писал в вологодскую ссылку Шелгунову:

«...Когда я увидел из его слов, что он считает себя за олицетворение журнала и смотрит на своих главных сотрудников, как на наемных работников, которых в одну минуту можно заменить новым комплектом поденщиков, то я немедленно раскланялся с ним... Вы, может быть, скажете, Николай Васильевич, что из любви к идее мне следовало бы уступить и уклониться от разрыва. Может быть, это действительно было бы более достойно серьезного общественного деятеля. Но признаюсь вам, что я на это не способен. Я решительно не могу, да и не хочу,

сделаться настолько рабом какой бы то ни было идеи, чтобы отказаться для нее от своих личных интересов, желаний и страстей...»

Остались Писарев с Маркович на чрезвычайно мелких бобах. А Писареву надо было содержать мать и сестер, Марии Александровне — сына.

Переводы — «Жизнь животных» Брема и «Происхождение человека» Дарвина — по 7 рублей за печатный лист. Работали вдвоем, словно на рояле играли в четыре руки. Потом начались разговоры об «Истории цивилизации в Германии» Шерра.

Роман же с Машей развивался тяжело.

— Не везет мне, — говорил Писарев в 1867 году каждому встречному и поперечному. — Опять влюбился в дальнюю родственницу, и опять неудачно, черт возьми! И почему бы ей не полюбить меня!

К лету же все наконец устроилось, все изменилось к лучшему. Они поселились вместе.

— Митя, звонят, звонят!

Писарев вышел к посетителю в халате. Час стоял ранний. Через пять минут разговора Митя влетел в комнату Маши сияющий: книгопродавец Звонарев приглашал приехать к Некрасову для переговоров об участии вготавливаемом им сборнике. Вернувшись от Некрасова, Митя повертел перед Машею запиской, по которой в любой момент Дмитрий Иванович Писарев имел получить 200 рублей. С осени Некрасов начал издавать «Отечественные записки». И Писарев, и Марко Вовчок были приглашены.

Летом 1868 года Писарев получил разрешение Шувалова отлучиться из Петербурга, выехать на лето в Дуббельн. Просились за границу — не разрешил. В Дуббельн, на укрепляющие морские ванны, — ладно, поезжайте.

Они отправились втроем, с ними ехал и пятнадцатилетний сын Маши Богдан. С Богданом у Мити установились приятельские отношения.

Все было наконец прекрасно! Он любит! Он любим! Он издается! Его знает вся читающая Россия! И он молод! И купание! Отдых! Блаженство!

В первые дни по приезде им понравилось заходить в кофейню толстого, добродушного немца Земмеля, стоящую прямо на берегу.

— Оле ¹! — закричал Земмель, когда они пришли в первый раз. — Каффе!

— Ее зовут Оля? — шепотом спросил Богдан, отлично знавший французский и польский, но плохо немецкий, указывая подбородком на быструю служанку. — Да?

— Майн кляйн ², — говорила та, ставя на столик дымящийся кофе, — о, майн кляйн.

Богдан обиженно нахмурил брови.

— Ее зовут «Майн-кляйн», — смеясь, сказал Писарев.

В первые дни не купались, но вскоре развиднелось. Море открылось Писареву, словно новая жизнь — далекая и прекрасная.

Пляж тянулся, не прерываясь, до кофейни Земмеля под тремя соснами — в одну сторону и далеко-далеко, до Гамбурга, что ли, — в другую. Белесый песок переходил в белесую морскую гладь; дымка, сворачиваясь и растягиваясь по небосклону, на глазах снова сворачиваясь и растягиваясь, жила над водой, ветерок посвистывал за спиной, на косогоре. Когда проглядывало солнце, на миг все обливалось янтарным, выкатывающимся из нутра природы светом, море тогда легко блестело, иглы сосен загорались, прутья из песка нити корней, прошивающие косогор, светлели, казалось, сами по себе, и пляж видимо

¹ Восклицание типа русского «эй!» (нем.).

² Малыш, малютка (нем.).

тяжелел, наливался здоровой желтизной, силой, и тень пробегала по нему, словно по лицу человека, песок снова бледнел, и сразу вновь чувствовался ветер открытого взморья, Балтики.

Они сбежали по откосу, осыпая песок. Богдан песку набрал в сандалию, запрыгал на одной ноге, уронил полотенце, чертыхнулся. Тут солнце, словно бы желая показать, каким прекрасным может быть божий свет, выпустило на них пучок лучей. Над белой крышей кофейни осталось облако, там не развиднелось. Видно было, как «Майн-кляйн» выносит на воздух скамеечки. «Цвай кафе?»

— Холодно, Митя. Не надо, а?

— Да я только туда и обратно, — Писарев побежал в раздевальню, тут же выскочил в плавательном костюме, — а ты не хочешь, так не купайся. Иди к Земмелю, я сейчас.

Он развел и энергично, по системе Мюллера, скрестил перед собою руки. Несколько раз присел, выставив бородку, потом пружинисто сжал и подбросил к плечам, разжал и снова сжал и подбросил к плечам кулаки. Зеленая точка на далеком обресе воды подмигнула на солнце, слабая пена приборя зашипела. В установившемся в этот миг свете вода почему-то показалась красной, как донское вино. И красноватой, кровавой пеной пузырился прибор.

Писарев пошел, поворачиваясь телом при каждом шаге, преодолевая сопротивление не желающего впускать его в себя моря. Отмель все не кончалась, но наконец кончилась, он бросился и поплыл английским кролем. С морем, как и с жизнью, можно было только враждовать, побеждать, ежеминутно преодолевать сопротивление спрессованной толщи влаги. Только так — преодолевая, преодолевая, преодолевая — можно было двигаться вперед. Жизнь — движенье, примирения с нею нет.

Наслаждаясь, он отталкивал от себя море, шумно, словно кит, отфыркиваясь и выдыхая, с всхлипом набирая в легкие воздух вместе с брызгами растворенной соли. Следя со стороны, он представлял себя гренландским китом, разбивающим головую волны, да что китом — пароходом, пароходом с железными руками-лопастями, перемальывающими, наотмашь бьющими по воде. Словно машина, он равномерно выбрасывал руки, резко вел их под себя, чувствуя, как от этого приподнимается и рывком продвигается вперед тело, ноги неустанно двигались, пиная и пиная сдающееся лоно тугой влаги. Наконец колени ударились о дно, и тут же руки въехали в ребристый поддон Дуббельна. Началась вторая отмель.

Он поднялся — счастливый, задышающийся, обернулся и помахал рукой Богдану, все еще стоящему на старом месте с полотенцем на плече, сделал ему знак — иди, мол, иди, хотел даже показать ему «цвай каффе» на пальцах, но не было терпенья — побежденное море ждало, море, как однажды покоренная женщина, теперь уже требовало его к себе, возбуждающе ласкало. Не было сил терпеть. Он побежал, с шумом поднимая каскад сверкающих капель, через отмель и, как только дно чуть пошло под уклон, снова поплыл к далекой зеленой точке на горизонте, радуясь чувству победы, уже много дней не покидающему его. Богдан не видел, как Митя выбрался еще на одну, третью по счету, отмель, как снова побежал, задирая белые пятки, через нее, снова бросился и прокричал что-то. Оттуда уже не было слышно.

Богдан подошел к Земмелю, заранее улыбаясь «Майн-кляйн».

— О, майн кляйн! — она бросила тряпку на стол. — Хойте бист ду дер эрст. Гуттен морген! Унд варум бист ду аллейн? ¹

¹ — Ты первый сегодня. Доброе утро! А почему ты один? (нем.)

Тут Богдан обернулся, все еще улыбаясь, показывая рукой на светлую точку посреди моря.

— Майн готт! Во ист эр ден? ¹

— Митя! — закричал Богдан. — Митя! Ми-и-и-тя!

Истощный крик, удаляясь, запрыгал по неглубоким волнам и погас...

¹ — Боже мой! Где же он? (нем.)

Тарасевич И. П.

Т19 Примирения нет: Повесть о Д. Писареве. — М.: Политиздат, 1990. — 381 с.: ил. — (Пламенные революционеры).

ISBN 5—250—00835—6

Т $\frac{0503020300 \cdot 021}{079(02) - 90}$ 146—90

ББК 84Р7+87.3(2)

**ИГОРЬ ПАВЛОВИЧ
ТАРАСЕВИЧ**

ПРИМИРЕНИЯ НЕТ

ПОВЕСТЬ О ДМИТРИИ ПИСАРЕВЕ

Заведующий редакцией В. Е. Вучетич

Редактор Л. Б. Родкина

Младший редактор М. В. Водолагина

Художник В. А. Бондарев

Художественный редактор В. И. Терещенко

Технический редактор Т. Н. Полунина

ИБ № 7123

Сдано в набор 08.08.89. Подписано в печать 30.11.89
А 00172. Формат 70×108¹/₃₂. Бумага типографская № 2.
Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая.
Усл. печ. л. 17,41. Усл. кр.-отт. 19,08. Уч. изд. л. 17,53.
Тираж 200 000 экз. Заказ № 459. Цена 1 р. 30 к.

Политиздат. 125811, ГСП,
Москва, А-47, Миусская пл., 7.

Типография изд-ва «Уральский рабочий».
620151, г. Свердловск, пр. Ленина, 49

Scan Kreyder - 14.10.2018 - STERLITAMAK

